

БОРИС
КОРНИЛОВ

БОРИС КОРНИЛОВ

БИБЛИОТЕКА
ПОВНА

Советский
издатель

Q

БИБЛИОТЕКА ПОЭТА

ОСНОВАНА М. ГОРЬКИМ

Редакционная коллегия

*В. Н. Орлов (главный редактор), В. Г. Базанов,
Б. И. Бурсов, Б. Ф. Егоров (зам. главного редактора),
В. М. Жирмунский, В. О. Перцов, А. А. Прокофьев,
А. А. Сурков, А. Т. Твардовский, Н. С. Тихонов,*

С. И. Чиковани, И. Г. Ямпольский



Большая серия

Второе издание



С О В Е Т С К И Й П И С А Т Е Л Ъ

БОРИС КОРНИЛОВ

**СТИХОТВОРЕНИЯ
И ПОЭМЫ**

*Вступительная статья
Л. А. Аннинского*

*Составление,
подготовка текста и примечания
М. П. Берновича*

МОСКВА—ЛЕНИНГРАД • 1966

Стихи и поэмы Бориса Корнилова (1907—1938), яркого, талантливого советского поэта, выдержали испытание временем; многие из его произведений обогатили нашу поэзию, вошли в ее золотой фонд.

Настоящее издание является наиболее полным собранием стихотворений и поэм Корнилова. Наряду с такими широко известными стихами, как «Соловьяха», «Вечер», «Гроза», «Песня о встречном», поэмы «Триполье» и «Моя Африка», читатель найдет в этом издании стихи и поэмы, которые не входили ни в одну из книг Корнилова, как прижизненных, так и посмертных.



БОРИС КОРНИЛОВ

Облик Бориса Корнилова двоился в глазах современников.

Он был комсомольским поэтом, автором боевых массовых песен, певцом революционной героики и интернациональной солидарности. И он же был — по определениям тогдашней критики — апологетом темного биологизма, адвокатом мещанского захолустья, защитником кулацкой анархии и певцом стихийности, от которого вечно ждали идеологических срывов.

Как положительный герой критики он писал гражданственные эпические поэмы, которые считались прочно вошедшими в золотой фонд советской литературы: автора «Триполья» ставили наравне с автором «Думы про Опанаса», «Мою Африку» равняли со «Спекторским». И он же ходил в беспросветно узких лириках, плутал в гнилых болотах темной ремизовской природности, гнезвился где-то на эмоциональных окраинах поэзии, так что считалось само собой разумеющимся и раз навсегда доказанным: Борису Корнилову — по причине его стихийности, неустойчивости и недостаточной просвещенности — просто не дано участвовать в интеллектуальном обсуждении высоких проблем века.

Он был признан, как поэт здоровой силы и свежести; его четкая предметность, резкость рисунка, ударная определенность ритмики заставляли подозревать его в учебе не то что у акмеистов, а чуть ли не у левовских и конструктивистских проповедников деловитости. И он же, Борис Корнилов, был расплывчат и темен, и вечно в стихах его стоял фантазмагорический туман, и критики, восторгавшиеся его простотой и естественностью, на завтра разносили его за тяжелую театральность, фальшь и надуманность.

Взаимоисключающие оценки пестрели вокруг имени Корнилова на протяжении всего десятилетия его поэтической работы. Критик, писавший о нем как о поэте, далеком от всякой меланхолии, тут же наткнулся на демонстративную меланхолию; в одной и той же статье Корнилова упрекали в вопиющей небрежности и объявляли первоклассным мастером; в одном и том же абзаце его могли назвать поэтом оборонной темы и злостным пацифистом.

Его облик противоречив, но еще более — нечеток. Противоречия никогда не становились для него темой специальных раздумий; противоположности не терзали его, но как-то странно уживались в нем; он никому не казался загадочным, а многим казался даже простоватым, но этот простоватый контур был постоянно чуть размыт. За неясностью никто не предполагал душераздирающей бездны, однако к сюрпризам все были готовы постоянно. Корнилов был человек неожиданный. И вот: одни запомнили застенчивого провинциала в косоворотке, другие — напористого «пролетпозта» в кожанке, третьи — скандального столичного литератора в бобровой шубе; и все были отчасти правы: сбросив шубу, Корнилов мог оказаться в какой-нибудь провинциальной, семеновской косоворотке; его облик, казалось, исчерпывался двумя-тремя элементарными штрихами, но эти штрихи невозможно было поймать и зафиксировать прочно.

В его стихах непрестанно находили чужие влияния. Известно было, что Корнилов следует Багрицкому и Есенину. Кроме того, его непосредственными учителями считались Тихонов и Саянов, первый — как признанный лидер тогдашней ленинградской поэзии, второй — как человек, который в 1927 году ввел двадцатилетнего Корнилова в эту ленинградскую поэзию. Молодой поэт считался последователем акмеистов (по другим свидетельствам, он относился к акмеизму отрицательно). Критика сигнализировала далее, что у Корнилова есть элементы инфантильной эстетики Заболоцкого и обереутов; «кое-что» в корниловских стихах «заставляло вспомнить Клюева», и это тоже должно было служить поэту «предостережением». Еще на Корнилова влияли: Блок и Гумилев, Пастернак и Асеев, Бабель и Гейне, Пушкин и Лермонтов, Тютчев, Прокофьев и Браун... Я собрал здесь только те влияния, которые были замечены тогдашней критикой. Нет сомнения, что влияний оказалось бы намного больше, если бы теперь поискать их специально. В стихах Корнилова обнаруживались воздействия невообразимо разных, несовместимых поэтов, однако, при всей этой подверженности влияниям, ни у кого никогда не возникало сомнений, что по любой вырванной странице самостоятельную поэтическую руку Корнилова можно узнать мгновенно.

Один из рецензентов в период наивысшего взлета корниловской популярности, в 1935 году, заметил¹, что если из постоянных достоинств корниловских стихов вычтешь постоянные же их недостатки, то получится тот самый мизерный остаток, тот средний баланс посредственности, о котором, кажется, не стоит и разговаривать, однако у «неуспевающего» Корнилова этот остаток несет такую качественную своеобразность, что критика, из года в год читающая ему мораль, никак не хочет оставить его без внимания. Это очень точное наблюдение: вечно отстающий от требований, вечно неуспевающий, он никак не мог быть сброшен со счета, — в его отставании угадывалась какая-то неясная логика, за двоящимся контуром таилась последовательность, и, хотя постоянно попадал Корнилов в чужие, более резкие контуры, у него, безусловно, была своя судьба.

Корнилов все время казался «вторым». Он был комсомольским поэтом, — но его заслоняли фигуры Безыменского и Жарова, фигуры более завершенные, безостаточно завершенные! Корнилов мог писать комсомольские стихи лучше их, но не мог продвинуться дальше звания их последователя: чтобы стать апостолом, нужно было укладываться в линию целиком, в Корнилове же оставалось слишком много неорганизованной материи. Он был поэтом плоти, поэтом органической целостности бытия, — но здесь его заслоняла гигантская фигура Багрицкого. Наконец, когда четче выявилась в жизни Корнилова драма столкновения двух этих начал: драма гибельности слепой буйной плоти, — и здесь выступила на первый план более резкая фигура Павла Васильева, который, казалось, воплотил ту же драму ярче и понятнее. Рок вторичности преследовал Корнилова даже после его гибели: двадцать лет его имя было под запретом, а когда после Двадцатого съезда подняли Корнилова из забвения, — рядом же был восстановлен и Павел Васильев; критические молнии 1957 года вновь скрестились над «кулацкой» поэзией Васильева; Корнилов остался без такого внимания, как вариант того же самого, но менее яркий.

Между тем в поэтической судьбе Бориса Корнилова заключен уникальный урок. В своем внутреннем пути он не повторил никого, хотя, казалось, он непрестанно повторял всех и вся. Неотчетливость общей линии, невообразимость его поэтического существа в многочисленные схемы, сама эта неспособность завершиться — как раз и была той темой, которую он решал своей жизнью.

¹ Г. Хохлов, Новая поэма Б. Корнилова. — «Литературная газета», 1935, 15 июля.

В его лице сразу замечаешь чувственные губы, узкий разрез глаз, общее выражение какого-то заторможенного колебания. Это выражение лица — «глаза с поволокой» — проходит через все дошедшие до нас портреты Корнилова. Спокойная посадка головы, тяжелые веки, ленивая ухмылка. Кажется, о нем были стихи: «Ты — я знаю — прошел и не кинул скользящего взгляда...» Скользящий взгляд, но не легкий, а скользяще-тяжелый, неуловимо пристальный, невнятный и останавливающий.

Борис Корнилов писал стихи в Ленинграде, в многообразно культурной, блестящей среде ленинградской поэзии 20—30-х годов. Чем выделялся он? Один украинский критик заметил в ту пору: блестяще отточенной формой многие ленинградские поэты напоминают друг друга; Корнилов же всегда может написать плохое стихотворение, он сплошь и рядом пишет мутно, дурно, невнятно, но притом — именно он выделяется на общем блестящем фоне. Вот он — корниловский парадокс! Фигура, смутной неприкаянностью своей по-своему решившая вопрос о человеке, висевший в поэтическом воздухе обеих столиц конца двадцатых годов.

1

Строка: «Я родился в деревне Дьяково, от Семенова — полверсты» — неточна. Борис Петрович Корнилов родился в селе Покровском, Семеновского уезда, Нижегородской губернии, 29 июля 1907 года.

Семенов — уездная глушь. Маленький чугунолитейный заводик, несколько тысяч жителей, большинство кормится промыслом: режут из дерева ложки. Дьяково — еще большая глушь. И еще большая глушь — Покровское. Старая, кондовая, старообрядческая Русь, гнездовье раскола, родина Мельникова-Печерского. Полуразрушенные монастыри, замшелые часовни, дремучие леса, древние сказания: о невидимом граде Китеже, о Батыевой тропе; отсюда, из этой вековой и безмолвной толщи, выйдет Корнилов и назовет эти места: «Моя непонятная родина».

Из этой глуши он выбирался медленно.

До трех лет он прожил в Покровском; потом семья переехала в Дьяково, поближе к Семенову. От трех лет до пятнадцати он жил в Дьякове. В 1922 году семья переехала в Семенов, купив домик на Крестьянской улице. Семенов звался городом, но название улицы было ближе к истине. Быт был не городской: лошадь, поле, огород. «Я вот этими вот руками землю рыл и навоз носил, и по Керженцу

и по Каме я осоку-траву косил. . . Упрекните меня в изъяне, год от году мы всё смелей, все мы гордые, мы, крестьяне, дети сельских учителей». В этой автохарактеристике есть оттенок программности: Корнилов всегда чувствовал в себе скрещение двух влияний — старомужицкого и интеллигентского. Мужичьи корни уходили вглубь: предков помнили до пятого колена, предки были кряжистые. Дед Корнилова — Тарас — дожил до ста лет, пешком ходил в Нижний, носил продавать лапти; о его униженной нищете Корнилов напишет потом стихи. Напишет и о прадеде Якове, разбойнике, безобразнике и бабнике, напишет — задумавшись: «Я такой же — с надежной ухваткой, с мутным глазом и песней большой». Интеллигентность была молодым побегом на этом вековом корявом стволе. Отец Корнилова, Петр Тарасович, был в большой семье единственным и чуть ли не случайно получившим образование отпрыском; образование это было: псалтырь — начальная школа — училище в Семенове — учительские курсы в Нижнем. Потом учительство в деревне, до конца жизни. Мать поэта была из семьи приказчика, где детей было двенадцать, выжило семеро и лишь двое выбились к образованию: окончив в Семенове второклассную школу, Таисия Михайловна получила право преподавать в приходе.

В дьяковской школе учитель занимался с тремя классами сразу. Пятилетний сын местных учителей Борис Корнилов присутствовал тут же и усваивал все подряд. Школьная библиотека была маленькая и непритязательная, но книги были хорошие: Пушкин, Лермонтов, Гоголь, — и прочитаны они были вдоль и поперек. Начав писать стихи, Корнилов прятал их в смущении: к литературным увлечениям сына в семье относились очень серьезно, и он робел. Впоследствии поэт писал об отце: «сельский учитель, самый хороший человек и товарищ для меня». Родители внушили сыну благоговение перед литературой, это благоговение Корнилов вобрал в себя с детства, — наряду с кержацкой неуютностью, именно это уважение к профессии писателя определило его судьбу.

Ставши в городе Семенове одним из первых пионеров, а потом пионерским работником укома комсомола, Корнилов начал писать в стенгазеты. Писал он и для местного молодежного театра — «Синей блузы», писал много, охотно и часто экспромтом. Он был «легкий сочинитель»: друзья-комсомольцы распевали его песни на улице. Когда в Семенов приехал нижегородский писатель Павел Штатнов, он обнаружил в одной из стенгазет корниловское стихотворение. «Оно было не совсем грамотно, но в авторе чувствовалось что-то свое. . . — вспоминал позже П. Штатнов. — Я послал парню письмо с просьбой прислать стихи для нашей газеты. Парень откликнулся

быстро, прислал стихотворение, а также просьбу снабдить его каким-нибудь учебником стихосложения. Стихотворение было напечатано под псевдонимом Борис Вербин».

Это было 28 апреля 1925 года: нижегородская комсомольская газета «Молодая рать» опубликовала стихотворение Б. Корнилова «На моря». Оно не вошло в настоящее собрание; ни одно из стихотворений, опубликованных «Борисом Вербиным» в «Молодой рати» в течение 1925 года, Борис Корнилов не включал потом в свои издания.

Как огонь жгут слова:

— «На моря!»

Словно вихорь повсюду несется:

— Гей, братва Октября,

Пусть повсюду волна разольется!..

Это стихотворение написано по заказу: оно приурочено, как уведомляла газета, ко дню выхода Красного Флота в море «для летнего практического плавания». Этот профессиональный подход к литературе обнаружился в Корнилове очень рано. Он пишет в «Молодую рать» стихи: к семилетию комсомола, к окончанию сева, к открытию избы-читальни. Элементы хрестоматийной школьной литературности простодушно соединяются в его первых опытах с гиком, грохотом и гулом «Синей блузы»; «плащ туманный» — с проклятиями «капиталу», нежная гармонь и машущее хвостом солнце — с «властью труда», «рассветом зари», «комсой от машины». Простодушное соединение разнородных элементов, живая податливость ритма, песенная музыкальность — в этом едва угадывается будущий Корнилов. Поэт еще не родился из этого изначального хаоса.

Нижегородские публикации решили его судьбу. Летом 1925 года инспектор бюро юных пионеров города Семенова Б. П. Корнилов подал в укомол заявление с просьбой «об откомандировании его в институт журналистики или в какую-нибудь литературную школу». Уком ходатайствовал об этом перед губкомом, губком просьбу удовлетворил, «так как у тов. Корнилова имеются задатки литературной способности».

В конце 1925 года Корнилов отправился в Ленинград с тайной надеждой найти в Ленинграде поэта Сергея Есенина и прочесть ему стихи из заветной тетрадки. Есенина Корнилов не застал в живых. Но он не пропал в огромном городе.

Каким мог показаться тогдашний Ленинград восемнадцатилетнему семеновскому комсомольцу?

Пестрота и неустойчивость, литературные платформы, группы, рабочие клубы и комсомольские мобилизации в литературу, споры о есенинщине, резкость фронтовиков, принесших опыт гражданской войны, древние счеты акмеистов с символистами, группы ликбеза на заводах, живые газеты, синие блузы, красные косынки, инфантильная заумь обереутов и чубаровщина, диспуты в Доме печати на Фонтанке и полотна «филоновской школы» на стенах, и — описанная впоследствии Ольгой Берггольц — яростная любовь к поэзии всей комсомольской массы. А главное — невиданные масштабы огромной каменной столицы, «тот октябрьский, сутулый, вечерний сумрак города, сеть огней...»

Что в сознании молодого парня должно было стать с милой стариной, с его мохнатой лесной родиной, с хрестоматийными стихами из школьной сельской библиотеки? «Дни-мальчишки, вы ушли, хорошие, мне оставили одни слова...»

И здесь впервые проявилась в характере Бориса Корнилова удивительная черта: с необычайной легкостью устремился он именно на те пути, которые, казалось, должны были отпугнуть его. Кругом громили есенинщину — он схватился за есенинщину. В блестящем и возбуждающем водовороте культурной столицы он не потерял себя — он уберег в себе семеновскую провинциальность. Ту самую, от которой в этом вихре должны были, казалось, остаться «одни слова». Разлет столицы заставил его собрать воедино — что было в нем: поэт родился в тот момент, когда Корнилов, беззащитно улыбаясь и демонстративно называя себя в стихах «дураком», отважился внести в гул столицы свой ржаной, уездный, бесхитростный опыт:

Усталость тихая, вечерняя
 Зовет из гула голосов
 В Нижегородскую губернию
 И в синь Семеновских лесов.

С этими стихами в феврале 1926 года Корнилов явился на Невский проспект, в дом № 1, где под самой крышей собиралась литгруппа «Смена». Здесь Виссарион Саянов работал с пролетарским и студенческим молодняком. «Провинциальные» стихи Корнилова произвели фурор, и с этого момента началось его стремительное восхождение по столичной литературной лестнице.

Чтобы понять логику этого стремительного восхождения, надо себе представить обстановку литературного Ленинграда той поры

и — шире — атмосферу советской поэзии середины 20-х годов. Существует схема, в которую с относительной точностью укладывается пестрое многообразие тогдашних поэтических поисков: от «Пролеткультов» к «Кузнице», а затем к комсомольским группам и пролетарским ассоциациям — вот одна линия; другая: футуризм и лефы, имажинисты, конструктивисты... И — утверждение социалистического реализма как целостного направления, подготовленного крупнейшими художниками, преодолевшими групповую замкнутость.

Борис Корнилов застал в поэзии последнюю фазу разнородного и хаотического анализа новой действительности, когда повсюду чувствовалось приближение всеобщего синтеза, но было еще неясно, какие формы он примет в поэзии. Старые аналитические варианты отпадали один за другим. У всех на памяти было низвержение «Кузницы»: в романтизме Кириллова и Герасимова, в их вещании от имени планетарного Пролетариата проявилась безличность; их низвергли молодые комсомольские поэты «Октября» Безыменский, Жаров — они провозгласили конкретность, вещьность, реализм, вместо Прометея в стихи вошел простецкий парень Петр Смородин. Безыменский призвал: «Довольно неба!.. Давайте больше простых гвоздей!» В стихи влился комсомольский и газетный жаргон. К середине 20-х годов обнаружилась внутренняя безличность и этой «реалистической» доктрины: «Ты выслушан, взвешен, оценен в рублях», — заявил Э. Багрицкий в 1925 году. Между тем доктрины множились: конструктивисты анализировали технологический процесс производства, лефы призывали мастеров литературы обрабатывать факты, мир был фабрика или лаборатория, человек — стройматериал, кругом шумели «миров приводные ремни». Маяковский властно возвышался на полюсе «работающей» поэзии. Его антипод Есенин покончил с собой, но на смену ему с другого конца России шел Багрицкий, наследник есенинского органического жизнечувствования, изумления миру как живому чуду. В этом мире цифр, вещей и теорий ощущалась тоска по весомости, тяга к синтезу, к человеческой целостности. Эта жажда прорывалась сквозь «деловые» платформы ручейками «красного интима», «интим» шел отдельно от «гражданственности», но неслышанно росла популярность Иосифа Уткина, — морщились, но понимали: быт надо как-то примирить с бытием. Пестрые и шумные ручьи поэзии 20-х годов должны были слиться в единый и всеобъясняющий поток.

На ленинградской почве этот поиск синтезирующего личного начала получил несколько иные формы, чем в Москве. Существование ленинградской поэзии как особого, имеющего свое лицо отряда

советской поэзии было в 20-е и 30-е годы признанным фактом: на Первом съезде писателей ленинградским поэтам был посвящен особый доклад. В 30-е годы на творчество ленинградцев влияло положение приграничного города в предвоенную пору (вне этой специфической атмосферы мы не поймем, к примеру, появления оборонных, красноармейских, спортивных, боевых песен Корнилова 30-х годов). Но была еще глубинная, старая, от интеллигентского Петербурга идущая специфика. Ленинградские поэты, как правило, лучше владели стиховой техникой¹; их отличали большая поэтическая культура и большая книжность. Интуитивное стремление преодолеть книжность было постоянной заботой ленинградской поэтической школы. Ни имажинисты, ни футуристы, столь сильные в Москве, не играли здесь решающей роли, зато сильно было воздействие символистов и акмеистов и Николая Тихонова, вождя ленинградской поэзии, чей «праздничный, веселый, бесноватый» стих покорял молодежь, — его называли «самым умным учеником акмеистов».

Литературная группа «Смена», куда попал Корнилов, считалась ленинградским вариантом московской комсомольской группы «Октябрь». «Это была рапповская группа... в которую входили Друзин, Гитович, Корнилов, Берггольц, Рахманов, Лихарев... — вспоминал позднее участник «Смены» Ю. Берзин. — У нас в группе... существовало деление на «формалистов» и «натуралистов». Мы очень увлекались тогда импортной литературой: Полем Мораном, Жаном Жироду, и с Пьером Мак-Орланом мы носились тогда, как некоторые снобы носятся теперь с Джойсом и Хемингуэем. Нам нравился внешний блеск их выхоленной фразы, их ирония, небрежная их эрудиция. «Манхэттен» Дос-Пассоса стал нашей настольной книгой... Когда я вспоминаю, как мы тогда пыжились, как во что бы то ни стало хотели казаться снобами и новаторами, мне все это кажется смешным... Мы тогда очень любили литературу, любили болезненно. Но эта любовь к литературе, которая породила нас как писателей, грозила многих из нас убить. Неравнодушие к литературе грозило превратиться в равнодушие к жизни»².

Тяга к культуре и одновременно отталкивание от книжной культуры — вот что составляло психологический комплекс этой среды.

«Коренастый парень с немного нависшими веками над темными, калмыцкого типа глазами, в распахнутом драповом пальтишке, в косоворотке, в кепочке, сдвинутой на самый затылок... сильно

¹ «Нельзя себе представить ленинградцами таких поэтов, как Жаров или Алтаузен!» — саркастически писал Д. Мирский в 1935 году («Литературная газета» от 24 апреля).

² «Литературный Ленинград», 1936, 8 апреля.

по-волжски окая, просто, не забывая, как тогда было принято... читал стихи»¹.

... Потому ты не поймешь железа,
Что завод деревне подарил,
Хорошо которым
Землю резать,
Но нельзя с которым говорить...

В стихах Корнилова было то, чего «сменовцы» добивались с помощью хитрых акмеистических приемов, с помощью изощренной книжности: простая предметность, жизненная, некнижная весомость, здоровая свежесть. Корнилов добивался этого наивнейшими средствами: даже откровенные реминисценции из Есенина (а тогда это считалось большим грехом) казались у него обезоруживающими. Он имел именно то, чего все жаждали: весомость простоты.

Молодежные издания: «Смена», «Резец», «Юный пролетарий» — начали широко печатать Корнилова. Через год его уже называли самым талантливым поэтом «Смены», надеждой ЛАППовского молодняка. Виссарион Саянов сам взялся редактировать первый сборник стихов Бориса Корнилова «Молодость» и выпустил его в свет под рубрикой «Книжная полка „Резца“». Книжку отрецензировали молодежные газеты и журналы Ленинграда. Отрецензировала профессиональная литературная «Звезда». Отрецензировал московский «Октябрь».

Борис Корнилов нашел свое место в литературном мире.

3

Но и книгу «Молодость» Б. Корнилов впоследствии отказался признать подлинным началом своей работы. «Первой книгой» он назвал сборник, вышедший позднее, в 1931 году, и объединивший лирику 1927—1931 годов как нечто целое. 1931 год (год выхода также и сборника «Все мои приятели») — этапный момент в эволюции Корнилова, но этот этап условен. Его эволюция лишена четких граней и жестких поворотов; переезд из нижегородской глуши в столицу был в жизни Корнилова единственной резкой поворотной точкой, обозначившей, собственно, начало творчества; далее лежало

¹ О. Берггольц, Продолжение жизни. — В книге: Борис Корнилов, «Стихотворения и поэмы», Л., 1960, с. 7.

десятилетие профессионального писательства, ровного столичного быта, прерываемого разве что поездками на курорт или в родные места, участием в разного рода ударных писательских бригадах (поездка в Азербайджан в 1932 году) или литературных совещаниях (поездки в Москву, в Минск). Поэтические сборники Б. Корнилова, выходившие в ту пору с известной размеренностью (две книжки в 1931 году, две книжки и поэма в 1933 году, детская поэма в 1934, две книжки в 1935, избранное, чуть было не вышедшее в 1936), — дают неточное представление о внутренней эволюции Корнилова, потому что он составлял свои сборники обычно не столько с целью отразить последний этап работы, сколько с целью отразить свой путь в целом¹. Современная Корнилову критика, судившая поэта по сборникам, постоянно расходилась во времени с его внутренним состоянием: в середине 30-х годов его разносили за «ремизовские» стихи о природе, написанные за пять лет до этого; а за пять лет до этого, как раз когда Корнилов начинал писать о природе в темном «ремизовском» ключе, критика продолжала поощрять его за бодрость и свежесть романтической книжки «Молодость». Поиск себя, мучивший Корнилова, был прикрыт пестротой запоздалых оценок и попреков, извне его путь казался непроясненным, его противоречия — чуть ли не мистификацией, его повороты — чуть ли не демонстративным кручением на месте.

И все же 1931 год можно отметить как принципиально важный момент: Б. Корнилов почувствовал исчерпанность чисто лирического начала и сделал первую неловкую попытку приблизиться к эпосу. Его лирическое творчество предстало в собственном его сознании как внутренне завершенный этап, предполагающий после себя другой этап. Грань и здесь размыта; даже написав две прославившие его поэмы, что в представлении критики было безусловным шагом вперед, Корнилов тем не менее сплошь и рядом «отступает» в чистую лирику, отступает до последнего мгновенья; лирическое открытие, сделанное им — создавшее его как поэта, — остается ключевым на всю жизнь.

В трех кардинальных ракурсах предстает мироощущение Бориса Корнилова-лирика: отношение к природе, отношение к миру людей и — отношение к самому себе.

¹ Один из критиков возмутился в 1934 году: «Всего опаснее для Бориса Корнилова то, что он цепляется за каждую выскользнувшую из-под пера строку. Отсюда и бесчисленные перепечатки. «Все мои приятели» на $\frac{3}{4}$ повторяли «Первую книгу», а «Стихи и поэмы» (изданы в 1933 году. — Л. А.) снова включают половину тех же произведений» («Художественная литература», М., 1934, № 5, с. 23).

В ранних нижегородских опытах Корнилова природа как нечто противостоящее человеку еще не существует вовсе. «Плач дождя» в этих ранних опытах — такой же условный знак, как «комса от машины», строка «в лето шумное воткнула осень нож» — такой же плод школьного чтения, как «власть труда». Природа как самостоятельное начало выделилась в сознании Корнилова в тот момент, когда первоначальная эта целостность разорвалась между старым и новым берегом: понадобились «каменные скульпы Ленинграда», «туман, перешибленный огнями», чтобы родная «волость» приобрела для поэта символический смысл. Первые годы пребывания в столице пронизаны у Корнилова смутным чувством двойного существования: в своем городке он вспоминает про «город каменный», в каменном городе мечтает о провинциальных пельменях и геранях; в Семенове он бредит гумилевскими викингами, радужными парусами и алыми вымпелами; в Ленинграде пишет: «Мне тяжко... Грохочет проспект, всю душу и думки все вымуча. Приди и скажи нараспев про страшного Змея-Горыныча...»

Поэт ощущает в себе как бы две крови: смешанность начал, — и, уходя от естественных родных корней, бросая старый берег, словно рвет от сердца: «Я пошел вперед, не взглянув назад — на соломенной покрытые хаты».

Уйдя от есенинской беззащитно-провинциальной красоты и твердо уже решившись остаться на берегу каменном, Корнилов будет все время чувствовать в душе какой-то нездешний остаток, он так и не растворится до конца в каменных кварталах, он сохранит ощущение неверности, смутной ненадежности, сдвоенности своего пути, — такое, как будто «был и не был», такое — когда «все люди — как люди, поедут дорогой, а мы пронесем стороной...»

Эти строки написаны в 1927 году, когда обаяние столицы еще подстегивало в Корнилове романтическое воображение; через год должна была выйти первая книжка, а там — интерес литературной критики, и все, казалось, «пронесет стороной!» Но к 1929 году, когда первый возбужденный интерес критики к «семеновскому Есенину» сменился пастороженным ожиданием дальнейшего, Корнилова охватило тайное и смутное отчаяние. Он не умел осознать этого состояния, но инстинктивно отшатнулся в свою оставленную глушь. Его путешествие в природу показалось критикам эпизодом, «охотничьим» антрактом: Корнилова долго потом прорабатывали за «ремизовщину», и сам он предварял эти свои «пейзажи» лукаво-извиняющейся рубрикой: «Описание природы». Но понимать эту корниловскую «природу» надо более широко: перед нами описание всеоб-

щего неистребимого и смутного природного начала, которое лирический герой принес с собою в человеческий мир, и продолжат носить в себе, и не может от него освободиться:

Деревья клубятся клубами —
ни сна,
ни пути,
ни красы,
и ты на зверье над зубами
свои поднимаешь усы.

Ты видишь прижатые уши,
свиньячьего глаза свинец,
шатанье слежавшейся туши,
обсосанной лапы конец. . .

И грудь перехвачена жаждой,
и гнилостный ветер везде,
и старые сосны —
над каждой
по страшной пылает звезде.

Что в этих стихах сугубо корниловское? Азарт? Нет, это есть и у Багрицкого. Смертельная схватка? Нет, у Заболоцкого это было ярче. Мотив «страшности»? Нет, это — характернее для Павла Васильева. Корниловское — смутность природы. Клубящиеся клубы. Гнилостный ветер. Прижатые уши, свиньячья полуслепота, шатающаяся туша. . . Природа — шальная, глухая, душная; природа — это: «берлоги, мохнатые ели, чертовы болота, на дыре дыра»; природа — это омуты, логова и темные провалы. У молодого Багрицкого природа — чудо, пьянящая свежая песня, властное рождение молодого, восхождение растущего. У Корнилова природа застывает на грани разложения, распада плоти. У Заболоцкого распад плоти — тема для раздумья о высшем смысле, о соединении таинств жизни и смерти. У Корнилова природа погружена в себя: это — своевольные дремлющей, полусонной, неуправляемой плоти.

Драма отрыва от родных корней, испытанная Корниловым в начале пути, отложилась в его существе вечной смутой: он носил в себе неукротенное и неутоленное природное начало, — природа, преданная человеком, как бы предавала его в отместку, она осталась в нем ненадежной, качающейся основой, она смешала и спутала в его сознании звуки, краски, ощущения. Так создавался непо-

вторимый корниловский стиховой рисунок, угадывающийся почти в любом его стихе.

Какие звуки слышит в мире лирический герой Корнилова? Шум деревьев. Гул голосов. Гам толпы. Звуки смешанные, неясные, неотчетливые: голоса хрипят, режут, мычат, визжат, воют, и точно так же ревет и воет ветер, трещат раздробленные кости, клокочет кровь, шипит догорающий костер, шлепают весла...

Какие цвета воспринимает он? Дымная синь лесов. Грязно-серое небо. Вечернее небо цвета самоварного чада. Пыль, седая пыль, замутненность, смешанность. Цвет патоки, цвет кофе, цвет растоптанной вишни. Апоплексическая багровость тела, синевя крови, чернота крови, лиловая тяжесть крови — цвета задыхающейся, мертвой, рвущейся плоти. Желтизна мозолей, сыпь звезд на небе, пятнистая вода в Неве...

Какие запахи? Тяжкие, пьянящие, густые. «Протухший творог» мозга, воняющие болота, «тошнотворный черемухи вызов» — запахи давят, душат, точно так же, как давят ухо звуки и давят глаз цвета.

Ключевой контакт с миром в корниловском стихе — осязание. Вспоминает рыженькую лошадь и ярче всего — мягкие ее губы, в которые расцеловал на прощанье. Что такое плуг? Железо, «хорошо которым землю резать, но нельзя с которым говорить». Корнилов лучше всего чувствует мир на ощупь. Податливые, пенные, пузырящиеся поверхности. Тесто размытых дорог. Липкость пропитанной потом рубашки. Давление крови в жилах, «пушистую пылью набитые бронхи», «глаза заплывшие мои», теплые плечи женщины («А душа — я души не знаю. Плечи теплые хороши. Земляника моя лесная, я не знаю ее души...»).

Очень легко представить себе мир Бориса Корнилова в отталкивающем, неприятном варианте, — Корнилов нарочито подчеркивает в своей поэзии нахрап и муторность плоти и не без эпатажа рисует себя: «я, мятущийся, потный и грязный до предела, идя напролом, замахнувшийся песней заразной, как тупым суковатым колом». Это — темная сторона качающегося, неустойчивого природного начала корниловской лирики. Упоительная прелесть его ликующих стихов немыслима без этого начала, только теперь оно оборачивается светлой стороной.

Возьмем «Песню о встречном», самое популярное произведение Корнилова (положенная на музыку Д. Шостаковичем, прозвучавшая в 1932 году с экрана, эта песня настолько укоренилась в массах, что даже двадцатилетний запрет на произнесение имени Корнилова не погасил ее — в 40-е годы эту песню продолжали исполнять и

издавать с безошибочным примечанием: «слова народные»). Чисто корниловское в ее стилистике: кудрявость, гомон утра, и это — главное, лучшее, неподдельно корниловское —

За нами идут октябрюга,
Картавые песни поют. . .

Возьмем «Качку на Каспийском море», колдовское ощущение качающейся, колобродящей, празднично-пьяной природы, — его не мог бы подделать ни один мастер, — и в этом стихе отразилась та же неумная, добродушная, озорная природа корниловского дара.

Возьмем «Соловьиху», высшее достижение лирики Корнилова, лениво-щедрое, переполненное готовностью любви, лукавое и нежное стихотворение:

Соловьиха в тишине большой и душевной. . .
Вдруг ударил золотистый вдалеке,
видно, злой и молодой и непослушный,
ей запел на соловьином языке:
— По лесам,
на пустырях
и на равнинах
не найти тебе прекраснее дружка —
принесу тебе яичек муравьиных,
нащиплю в постель я пуху из брюшка. . .

Это пушистое, трепетное описание, это чувство незащитной живости самой малой твари — от того же щедрого, перемешанного с озорством ощущения полноты жизни, от «самой что ни есть раскучерявой», зыбкой и неистребимой основы корниловской поэзии — от ее своевольной природности.

«Корнилов — он талант, но. . . дикий»¹, — в этой строке, пародирующей отношение критики к Корнилову, уловлено основное. Борис Корнилов всю жизнь прислушивался к своему «дикому» таланту и всю жизнь пытался совладать с ним; доверчиво внимая критическим указаниям, охотно втискивал мятущуюся свою стихию в разнообразные социальные сюжеты — от действительных до фантастических. Непрерывный поиск социального эквивалента смутному и неустойчивому состоянию души составляет вторую важную сторону лирики Бориса Корнилова.

¹ А. Флит, Начало боя. Впечатления на поэтической дискуссии. — «Литературный Ленинград», 1936, 8 января.

Природа поэтического темперамента Бориса Корнилова в известном смысле символизирована местом его рождения и жительства: вековая российская глушь как бы совместилась в его судьбе с тревожным ритмом предвоенной, приграничной столицы. Социальная характеристика поэзии Корнилова в такой же степени символически определяется временем его рождения. Корнилов был моложе Багрицкого на двенадцать лет, моложе Тихонова — на одиннадцать, моложе Прокофьева и Суркова — на семь и восемь, моложе Саянова, Светлова и Уткина — на каких-нибудь четыре года. Он был моложе их всех на одну и ту же величину: на участие в гражданской войне. Рубеж — 1904 год рождения. Это водораздел. Родившиеся позднее не успели войти в то поколение, которое само себя называло впоследствии «счастливым», «пришедшим вовремя», попавшим на исторический стрежень. Поколение Николая Островского и Виктора Кина не знало чувства зависти: история опьянила их событиями мировой важности, когда они были еще достаточно молоды, чтобы поверить в свою звезду, но уже достаточно взрослые, чтобы поверить сознательно. Чувство зависти они оставили следующему поколению, и в этом следующем поколении одним из старших был Корнилов.

Он не поспел к гражданской войне. Участие Корнилова даже в отрядах ЧОНа опровергается его матерью: нет, и этого не успел! Только по рассказам знал о боях, походах, перестрелках и всю жизнь завидовал тем, кто родился на каких-нибудь три года раньше. И героя своего в поэме «Моя Африка» награждал тем, о чем тосковал сам: «зимой восемнадцатого года семнадцать лет герою моему...» Самому поэту в то время было — десять. «Как мало испытали мы в сравнении с отцами», — такая жалоба невысказана, скажем, у В. Саянова. Саянов писал сверстникам, «родившимся в 1903 году»: «Вы запомнили пули и топот», — они и впрямь «съели соли куль... знали столько пуль...» Младшие лишь ожидали своей ноши; они дождались ее в 1941 году, — тогда настал час для Ольги Берггольц, и для Маргариты Алигер, и для Алексея Недогонова, и для Константина Симонова... Борис Корнилов был бы среди них и был бы в самом расцвете сил, — но он не дождал. Всю свою жизнь Корнилов проходил в «молодых». Смутно чувствуя катаклизмы, скрытые для него в прошлом или будущем, томясь от сил и чувств, Корнилов постоянно вываливался из строго очерченных социальных тем «мирной передышки» в какие-то фантастические сферы. Отсюда — противоречивость, смутная неустойчивость его социальной проблематики.

Тихая уездная Россия была, наверное, единственным органичным для его судьбы этапом. Чайки, падающие с откоса в Нижнем Новгороде, оравы поющих парней в Ивано-Марьине, простая грусть этих песен: «Ах, Сормовска больша дорога вся слезами залита...» — родная эта провинциальность до самого конца сообщала поэзии Б. Корнилова какой-то пронзительно личный отзвук. Большинство «уездных» стихов написано в первое ленинградское пятилетие: в конце 20-х годов критика улавливала в корниловской «провинциальности» программность, нарочитость, чуть ли не вызов.

«Наша губерния». «Наша волость». «Наш уезд». Тишина, трели соловья в душной ночи. Быт и уют: гитара, герани на окнах, цветочки на обоях, гудит самовар, гоняют чай с вареньем, штопают дешевые носки, едят сытно, медленно, метут половички веником, подтягивают гирьку на ходиках... Черемуховый, трогательный быт. Первоначально Корнилов стыдился этой красоты; описывая «мещанские» углы, он клялся: «Ушла эта Русь, — такому теперь не поверим»; «Вы знаете? Это теперь — пустяк, но чудятся тройки и санки...»; «Замолчи! Нам про это не петь!» — но эти чурания неловки, и, всячески кляня себя, Корнилов все-таки пел «про это». Он так и не избавился от мутного чувства двойственности, только со временем сумел перевести его в иронический план. От «уездной» лирики Б. Корнилова остаются в памяти не картинки быта — они элементарны, — остается ощущение колобродящего беспокойства, самоиронии, ощущение драмы, прикрытой озорством: «— Ты помнишь? — мы сидели под сиренью, — конечно же, вечернею порой...» Даже извинения перед критикой приобретают все более глумливый оттенок: «Так вспоминать теперь никто не может: у критики характер очень крут... — Пошлятина, — мне скажут, уничтожат и в порошок немедленно сотрут...» Ухмылка в сторону критики — всегдашний прием Б. Корнилова. Но в 1932 году он мог еще не бояться зоилов. Беспокойство имеет другую причину: его поэзия выламывается из тихой провинциальной изгороди; тишина обманчива; тяжелая тревожность, владеющая Корниловым, никак не может улечься в реальные контуры.

В 1930 году он пишет стихотворение «Дед». Тарас Корнилов, рваный и пищий, ползает на животе перед баринном. Распаренная, оплывшая, розовая барская туша и рядом — «морда» деда, «синеватая, тяжелая, заспанная» морда, «выставленная напоказ». В этой сцене есть элемент чисто корниловского куража. Но за нарочитой фразой: «это злобу внука, ненависть волчью дед поднимает в моей крови» — угадывается реальное душевное состояние поэта, это состояние позднее вызвало к жизни и корниловского «Прадеда» —

образ мутноглазого, косматого безобразника, о котором поэт вспомнил, чтобы признаться: «я себя разрываю на части за родство вековое с тобой». К этим стихам трудно отнести как к объективным автобиографическим свидетельствам. Но это свидетельства, ценные в ином смысле. Тихая уездная Русь постепенно улетучивается из стихов Корнилова. Ирония, разъедавшая его «провинциальные» картинки, оборачивается в «Прадеде» свирепой и глухой яростью. По наблюдению одного из критиков, «свой неправильный, трудный характер Корнилов пытается объяснить, углубляясь в далекие дебри своей социальной родословной»¹. «Неправильный, трудный характер» — главная ценность, ибо характер этот как раз и есть знаменательнейшее порождение времени. Сконцентрировав в себе тревогу своей эпохи, Корнилов не умел ни объяснить ее, ни даже поставить на сколько-нибудь прочный фундамент социальности. Все явные социальные битвы представлялись ему либо в прошлом, либо в будущем. В настоящем оставалась только смутная тревога, и она гнала Корнилова от темы к теме.

В 1932 году он обратился к конфликтам, связанным с ликвидацией кулачества. В таких стихах, как «Сыновья своего отца», «Семейный совет», «Убийца», Корнилов достиг предельной резкости в показе кровавой, полуслепой, злобной плоти, разгул которой преследовал его воображение. Кулак у Корнилова — нажравшийся мутноглазый убийца с обрезом, «мясистая сажень в плечах, а лоб — миллиметра четыре», это «набитая ливером кожа», «голубая опухоль» морды, пятнами пошедшей от злобы и ярости. Этой остервеневшей плоти Корнилов не может найти в своем сознании никакого противовеса; бескровные сентенции («приговор приведен в исполнение», «скоро грянет начало боя», «мы, убийца, тебя разыщем») не могут обмануть даже его самого; проклиная кулака, Корнилов пожимает плечами: «Только он не поймет меня...» Борьба в деревне остается для него жуткой войной плоти против плоти, замкнутым кругом насилия. Достаточно представить себе ту остроту, с какой стояла на рубеже и в начале 30-х годов в литературе и политике деревенская тема, чтобы понять, чем чревато было для Корнилова подобное отношение к проблеме перестройки села. В «яростной кулацкой пропаганде» его обвинили немедленно, не дожидаясь публикации стихов, едва он только прочел «Семейный совет» в писательской столовой. Стихотворение это так и не появилось в периодике. Деревенские стихи Корнилова вышли только в

¹ Г. Цурикова, Борис Корнилов. Очерк творчества, М.—Л., 1963, с. 10—12.

1933 году в его книжке «Стихи и поэмы», — их спасло появление «Триполья». И все-таки в начале десятилетия «невольная апологетика кулацкого избытка и деревенской ограниченности» за Корниловым закрепилась прочно.

Кулацкая тема не была для Корнилова органичной: сын сельского интеллигента, он должен был, конечно, специально «вживаться» в «идиотизм деревенской жизни». Плакатный кулак с обрезом был для него очередной фигурой, в которую вселился его мятущийся характер. Б. Корнилов, постоянно попадая в колею «опасных» для себя тем, с такою же истовостью обращался и к темам прямо противоположного звучания.

Параллельно с «апологетикой кулацкого избытка» возникает в поэзии Б. Корнилова совершенно новая для него и по всем внешним показаниям прямо противоположная тенденция, встреченная критикой одобрительно: Корнилов начинает писать массовые песни, лихие, яркие, запоминающиеся. Фантастический успех «Песни о встречном» окрыляет его. Одну за другой Корнилов пишет «Песню революционных казаков», «Октябрьскую», «Интернациональную», песню физкультурников, песню комсомольцев-краснофлотцев... В этих нарочито простых песнях — колдовская заразительность: словно высвобождается заложенная в даровании Корнилова органическая музыкальность, своевольная, внутренне свободная ритмика, которая прежде расшатывала романсовые декорации его «провинциальных» стихов, а теперь будто вырвалась на простор:

Синеет палуба — дорога скользкая,
качает здорово на корабле,
но юность легкая и комсомольская
идет по палубе, как по земле.

Кипит вода, лаская
тяжелые суда,
зеленая, морская,
подшефная вода...

В певучей стихии Корнилова предметы и краски легчают; Корнилов искусно влетает в песенный ритм злободневные мотивы, слегка даже иронизируя над тою легкостью, с какою являются в его поэзию «подшефная вода», «звание центра-хава», «ать-два» и даже серьезные лозунги: «Да здравствует планета рабочих и крестьян». Веселая, грубоватая лихость песенной лирики Корнилова заставляет вспомнить фольклор, использованный поэтом.

Интонационный строй Корнилова сравнивали с песенной интонацией у А. Прокофьева, но у Прокофьева народно-песенный

элемент играет скорее мировоззренческую, нежели практическую роль, — стихи Прокофьева музыкальны, но не поются. Стихи же Корнилова, в отличие от прокофьевских, поются на самом деле.

В корниловских песнях оживает массовое, новое, коллективное сознание, которое к середине 30-х годов все полнее и шире осваивалось советской поэзией. Вскоре появились песни М. Исаковского, В. Лебедева-Кумача, А. Суркова, появилась целая «песенная школа» — второй половины 30-х годов. Песни Корнилова были ее началом. Неуязвимая популярность «Песни о встречном», вся логика развития лирики 30-х годов подтвердила, что Борис Корнилов был одним из зачинателей жанра, определившего лицо предвоенного десятилетия советской поэзии.

Репутация песенника, поэта комсомольских масс, певца марширующих колонн значительно смягчила отношение к Корнилову критики, раздраженной его «кулацкими» и «природными» зарисовками, — в ее глазах одно как бы искупалось другим.

Между тем во внутренней эволюции Корнилова угадывается необходимость: «биологизм», стихийные мотивы деревенских стихов, написанных *вперемежку* с массовыми праздничными песнями, в которых торжествует внеиндивидуальное, массовое сознание, — это не сосуществование двух начал, а скорее два полюса той драматичной коллизии, которую воссоздает Корнилов. Только драма эта не становилась для него предметом философских раздумий: он искренне и убежденно писал и то и другое. Опоздавший к одной войне и не доживший до другой, он инстинктивно улавливал подспудный драматизм времени, но не мог опереть его на скольконибудь ясные событийные впечатления своей «мирной» биографии: не находил прямого ответа на свою тревогу.

Может быть, с наибольшей рельефностью корниловский душевный комплекс выразился в его стихах о гражданской войне. О войне он стал писать интенсивно с 1927 года, когда «провинциальные» и есенинские мотивы обнаружили и для него свою ограниченность, и продолжал писать до конца дней. В теме гражданской войны Корнилов черпал духовные силы, здесь томившее его беспокойство обрело более отчетливые формы.

Тема гражданской войны на глазах у Корнилова из живого исторического свидетельства превращалась в литературную легенду. Когда Корнилов начинал, еще свежо и выразительно звучали стихи Н. Тихонова, М. Светлова, Э. Багрицкого, рожденные прямым участием их авторов в боях. В 30-е годы, по мере того как воцарялась в лирике массовая праздничность, — тема гражданской войны все больше обрастала литературными решениями; все активнее стано-

вилась проза: в начале 30-х годов в этой теме ощущалось сильное влияние «метельного» стиля орнаментальной прозы — И. Бабеля, А. Веселого, Б. Пильняка, М. Шолохова. Корнилов причудливо совместил прозаические, литературные элементы с лихой, певучей романтикой, долетевшей до него вместе с последними отзвуками сражений. Фактура стиха у Корнилова тяжелая, предметная, реалистическая. Свист клинков, оскал оркестров, конвульсии умирающих, черная жижа окопов, оторванные ноги, лопающиеся глаза и победные звуки трубы — все смешивается в полуфантастическом видении, качается, как дымовая завеса. Здесь с наибольшей яркостью выявился лирический герой Корнилова, «аховый парень-вырви-гвоздь»; именно здесь возникло у этого парня неясное предчувствие гибели.

«Налетели подобные туру — рана рваная и поджог — на твою вековую культуру, золотой европейский божок», — это один полюс. А это другой: «Вот и вижу такое дело, как выводят меня поутру, загоняют мне колья в тело, поджигают меня на ветру». Между этими двумя настроениями нет противоречия: человеческий мир остается для Корнилова фантастическим карнавалом, то праздничным, то гибельным. Отсюда — театральность стихов Корнилова о войне. Он везде говорит от себя и еще от имени некоего выдуманного героя, повествующего, вспоминающего, красующегося... В лучших стихах Корнилова спасает ирония; там же, где это не удается, стихи оставляют впечатление искусственности. Никогда не задумываясь ни о логике, ни о причинах, ни об исторических категориях, Борис Корнилов тем не менее воссоздал своим смутным поиском определенную и очень драматичную картину мира.

Мир природы в его стихах — царство неизменности, непокорности, стабильной жизненной силы. Мир людей — царство текучести и изменчивости, царство движущихся масс, в поведении которых Б. Корнилов не умел понять закономерности (в лучшем случае он вставлял в стихи формулы из газет), но улавливал какую-то всеокрушающую подвижность.

Лирическое самосознание Бориса Корнилова было производным от двух этих сталкивающихся начал.

5

Самобытность корниловской лирики необъяснима с точки зрения отвлеченных достоинств: эта лирика не блистала ни книжной культурой, ни философской тонкостью, — напротив, она часто была груба, неряшлива, неправильна; удивительнее всего, что в самой

этой не­правильности лирика Корнилова оставалась необычайно своеобразной. Секрет обаяния корниловской поэзии таился в неповторимой судьбе героя, в прихотливом и странном его самоощущении, в необыкновенно личной корниловской интонации.

Подвижность социальных чувств, напоминающая смену костюмов, непрестанная готовность Корнилова к освоению новых социальных тем, быстро меняющийся внешний рисунок его пристрастий — все это сталкивалось где-то в глубине с инертным и неподатливым природным остатком. Стабильности этот инертный остаток не давал, но заставлял смотреть на все с какой-то новой точки зрения. Два начала в поэтической личности Корнилова словно иронически подыгрывали друг другу.

Ирония — вот ключ к своеобразию корниловской лирики. Не ядовито-саркастическая, как у Маяковского, не грустно-утонченная, как у Блока, и даже не раблезиански-добродушная, как у Багрицкого (поэта, наиболее близкого Корнилову). Корниловская ирония — легка, грубовата, глумлива, она не столько добродушна, сколько простодушна, но и лукава в этом простодушии. Лукавство это выявилось еще в ту пору, когда на каменных проспектах столицы кержацкий простак вздумал воспевать свою захолустную волость: ее «бездорожье, бревенчатый дом на реку. — И нет ничего и не сыщешь дороже такому, как я, — дураку...» Отсюда берет начало та лубочная манера, в которой пишет свой портрет Корнилов: герой-простак, «шпана и пистолет», ухажер с провинциальной вывески, рубаха-парень, наряженный в пиджак «довоенного и тонкого сукна», несущий «полкило конфет медовых» румяной простушке Кате и «заливающий» ей про то, «как над городом Ростовом пролетает самолет». Элементарные и естественные чувства, слишком «низкие» с точки зрения исторических и социальных идеалов борющейся массы, рядятся у Корнилова в карнавальные одежды; по наблюдению одного из исследователей, это — «подлинность чувства и одновременно — насмешка над ним»¹; это, конечно, недопустимая «сентиментальность», но... Хитрость корниловской интонации в том, что демонстративная ирония, направленная на низкий, природный «чувствительный» уровень сознания, словно отражаясь от него, освещает каким-то лукавым, неверным отсветом и высокие абстрактные понятия.

От этой сдвоенной, встречной ухмылки возникала в стихе Б. Корнилова неповторимая, качающаяся интонация, по которой его узнавали мгновенно. В редких случаях, когда владеющее Кор-

¹ См.: Г. Цурикова, Борис Корнилов, с. 140 и следующие.

ниловым состояние как-то произвольно оборачивалось формулой (произвольно — потому что формулы, афористика и вообще внешняя точность не были свойственны его таланту), — это вызывало резкую реакцию критики. Фраза: «я пока еще сентиментален, оптимистам липовым назло» — была предметом яростных нападок вплоть до последних дней Корнилова. Но, как правило, он ничего не формулировал; между тем двойная самоирония сообщала его стихам ощущение удивительной раскрытости, обнаженности души.¹

Какими средствами добивался Корнилов этого эффекта? «Фартовый» словарь, густо смешанные краски — все это было на поверхности и легко поддавалось пародированию. Да ведь эти черты были свойственны многим молодым поэтам того времени. Корниловская ирония таилась в структуре фразы.

Я приведу здесь пародию, которую в 1934 году посвятил Корнилову А. Архангельский: в пародии схвачен секрет корниловской интонации. Внешний контур стиха (жаргонные словечки: «стрибаю — рубаю», лиловые глыбистые краски) — это не главное. Главное — блестяще спародированный Архангельским синтаксис:

...Жеребец стоит лиловой глыбой,
пышет из ноздрей его огонь,
он хвостом помахивает, ибо
это преимущественно конь.
...Без разгону на него стрибаю,
зрю на географию страны,
непрерывно шашкою рубаю
личность представителя шпаны. . .

Это вот ироническое наращивание словес, выявляющее в абстрактных понятиях их зыбкость, эти «ибо», ернически вынесенные на край строки — в рифму, эта характерная ухмылка и есть неповторимо корниловское. Его словесные повторы, сначала казавшиеся небрежностью: «хорошо которым землю резать, но нельзя с которым говорить», — выявили свой секрет: главным оказывалось не внешне употребительное значение слова, а его сдвоенное, качающееся место в стихе, само ощущение этой качки, этой озорной прихотливости.

¹ Видимо, здесь разгадка странной тенденции сближать Корнилова с Гейне, имевшей место в конце 20-х годов. Тогда писали о «традициях иронической лирики Гейне, поэта, умевшего ходить в литературе нагишом» (см. сб. «Молодая поэзия», Л., 1930, с. 44).

И через все стихотворение ухмылка проходит, будто рассказывает все парень «с дымком», свойский, простецкий, непритязательный:

В голос песни пели,
каблуками стукали,
только от мороза на щеке слеза.
Васька Молчанов —
ты ли мне не друг ли?
Хоть бы написал товарищу разá.

Упрямая естественность чувства, скрытая за озорной, ернической маской, собственно и породила лирику Бориса Корнилова как нечто неповторимое и самобытное.

6

Корнилов явился в советскую поэзию в конце 20-х годов, когда бурная поэтическая эпоха расцвета, эпоха безумных теорий и великих дискуссий уже уходила в прошлое. Было что-то общее в многочисленных теориях той эпохи: в лэфовской «инструментовке лозунгов», в конструктивистской «технологии процессов» и даже в укоренившейся на ленинградской почве тяге к «выпяченной предметности» как панацее от абстракций. Функции грозили вытеснить в человеке целостное и органическое начало; инстинктивно опасаясь этого, поэзия тянулась к непосредственности и здоровой живости. В этом смысле нарочитый инфантилизм обереутов был парадоксальной, интеллигентской формой того же самого всеобщего стремления к органичности чувств, которое сделало широчайше популярным в народе имя Есенина.

Борис Корнилов принес в литературу именно то, чего искали в ту пору. Он стал преемником органической, непосредственной, «природной» линии в поэзии. Недаром вез он Есенину тетрадку своих семеновских стихов. Есенина он в живых не застал, и тогда потянулся к Багрицкому, крупнейшему после Есенина певцу жизни — как чуда, в ее органичной целостности.

Творчество Корнилова пало на переходный период в истории советской поэзии, когда старые формы обесценивались, а новые только определялись. Судьба Корнилова по-своему отразила этот период великого перевооружения лирики.

На рубеже 20-х и 30-х годов стали много писать о кризисе лирического жанра. Поэзия явно «отставала от прозы» в глазах

всех ценителей. Даже та запальчивость, с которой защитники лирики писали о том, что «кризиса нет», выдавала и с их стороны глубокое беспокойство. Вся первая треть наступившего десятилетия насыщена дискуссиями о поэзии, о том, какой она должна быть, о том, как она должна выражать самосознание масс, строящих социализм. Первым этапом этой гигантской дискуссии было обсуждение «распавшихся аспектов» лирики: газетная, политическая лирика была резко отделена от интимной, — поэзия «красного интима» была попыткой примирить эти начала, дать традиционной интимной лирике вид на жительство в новых условиях. Но речь пошла далее даже не о том, чтобы примирить чистую лирику с эпическим или публицистическим началом, — речь шла о новом содержании самого понятия «лирика». И если в начале 30-х годов чаще всего можно было увидеть в печати негативный лозунг: нам не нужна «комнатная поэзия»¹, то по мере развития дискуссии начинал преобладать позитивный вариант: нам нужна качественно новая лирика! Речь шла, как видим, не о каком-либо очередном «направлении» стиля, а о создании принципиально «нового стиля», больше того — о создании нового принципа творчества¹.

Переворужение лириков — так назвал весь этот период Н. Тихонов в своем докладе на Всесоюзном поэтическом совещании 1934 года. «У нас в Ленинграде, — сказал он, — вместо термина «интимная лирика» Браун предложил другой для определения лирики: „новое качество личного“». Н. Тихонов привел в своем докладе сравнение, очень точно передающее общий характер происходившей в то время «чистки» поэзии: «Когда Микель-Анджело спросили, как проверить работу, он сказал: очень просто, скатите статую с горы, — то, что не нужно, отлетит. Мы сейчас скатываем нашу поэзию с горы, и то, что не нужно, отлетает».

В докладе Н. Тихонова было точно предсказано и другое — период перевооружения завершался: «Мне кажется, что очередной собирательный период... период подготовительный, в советской поэзии приходит к концу. Сейчас уже можно ждать не новых деклараций, новых дискуссий, а новых работ»².

И действительно, с 1936 года чисто лирическая терминология возродилась и в поэзии и в критике. Любовь, интимность, индивидуальность — вдруг возродились. Волна «вечных тем» прокатилась

¹ См. об этом, например, в статьях сборника «Борьба за стиль», Л., 1934.

² Н. Тихонов, Поэзия большого плана. — «Литературная газета», 1934, 30 мая.

по журналам. Пародисты добродушно вышучивали возвращение поэтов к «любовным стихам». В преддверии пушкинского юбилея 1937 года заговорили о классической ясности, о гармонии, о личном начале. Личное начало вернулось в терминологию, но оно несло в себе уже иное качество. Лирический герой всецело и безостаточно ощущал себя элементом массы. Теперь уже не было деления на политическую и интимную поэзию, на эпос и лирику. Интимная лирика являлась теперь частным проявлением политического сознания. Лирика и эпос проникали друг в друга. Советская поэзия создала именно то, что потребовал от нее победивший новый коллективистский, общественный строй, — она дала «лирический эквивалент социализма»¹.

Творчество Бориса Корнилова многими своими конкретными чертами отразило этот новый период. Недаром массовые песни Корнилова были столь популярны.

Его поэмы были признаны в критике благотворным примером «проникновения эпоса в лирику».

И все же он так и не постиг до конца наступившей эпохи.

Смутная, противоречивая поэзия Б. Корнилова с неповторимой силой выразила драматичнейший процесс становления нового, социалистического, массового сознания.

Для того чтобы выразить новое состояние, Корнилову не хватало внутренней ясности и последовательности.

7

Поворот к эпическим замыслам с новой остротой дал Корнилову почувствовать скудость его внешней биографии.

Для первой² поэмы Б. Корнилов избрал источником рассказ И. Бабеля «Соль», появившийся еще в 1923 году и посвященный, как известно, тому эпизоду на станции Фастов, когда женщина пыталась провезти в теплушке под видом младенца куль соли и была за это застрелена конармейцами. Маленький рассказ Бабеля имитирует письмо в редакцию конармейца Никиты Балмашова;

¹ Эта формула принадлежит М. Серебрянскому. См. «Знамя», 1935, № 6.

² Из дошедших до нас. Архив Б. Корнилова погиб; мы не знаем многих его рукописей и многих ранних попыток в жанре поэмы. Не дошла до нас, например, драматическая поэма, которую Б. Корнилов писал для театра В. Э. Мейерхольда (Мейерхольд относился к поэзии Б. Корнилова с большим интересом).

полуграмотный, кособязычный малый, который, «сняв со стенки верного винта», взял на мушку «вредную гражданку» и «смыл этот позор с лица трудовой земли и республики», клялся у Бабеля «товарищу редактору» и «всем сотрудникам редакции» впредь поступать так же. Фигурально о простом и просто о страшном — так был написан рассказ Бабеля; безмерный трагизм эпохи звучал в этом рассказе.

Корнилова поразил у Бабеля искусный рисунок простонародного говора, и он пространно переложил стихами бабелевскую прямую речь, взяв ее в рамку лихо написанной «Песни революционных казаков». При этом от бабелевского трагизма мало что осталось: в поэме Корнилова на первый план выступило куражистое молодечество рубаки, который унижает старика железнодорожника, образно изъясняется перед взводом, а потом уверенно добывает спекулянтку и, наконец, присоединяется к хору, поющему революционную скаковую песню. Когда критика обрушилась на поэта за то, что он «не преодолел Бабеля», это было верно лишь отчасти: Корнилов к Бабелю и не приблизился.

Переполненный энергией, Корнилов ищет в разных направлениях и берется за самые неожиданные сюжеты. Он начинает работать над поэмой-сказкой для детей. Неожиданный успех сказки «Как от меда у медведя зубы начали болеть» сделал Корнилова приверженцем детской литературы; впрочем, он не успел осуществить своих планов, да и не считал это главной задачей.

Главным для него становилось стремление воплотить окружающий мир в большое социально-историческое полотно.

Поразительный пример этого изнутри рождающегося эпического сознания — «Тезисы романа». Первоначальный набросок его, опубликованный в 1932 году в ленинградской комсомольской газете, — типичное лихое повествование для газетной полосы: картины отчаянной рубки, драки, атаки, именуемые поэтической историей комсомола. Корнилов доработал этот набросок для «Книги стихов». Что он сделал? Вписал, казалось бы, самые «партикулярные» переходы и связи, ввел (как бы в скобках) фигуру современного ему «мирного» литератора, который, лежа на кровати и «распустив пояс», перебирает в сознании бурные эпизоды истории, доверчиво разговаривает с читателем («Растет роман... Главой управясь, я все еще заглядываю в тьму — меня ненужная снедает зависть к потомку будущему моему. Во всех моих сомнениях и вопросах он разберется здорово, друзья, и разведет туры на колесах талантливой, чем предок, то есть я...»), и произошло чудо: из бредовых видений возникла поэма. В этот смутный вихрь естественно вошло





эпическое сознание. Корнилов ввел в текст себя, свое действительное бытие. Он не утаил своей слабости, своего бессилия. Но эта правда о себе и составила силу поэмы. Лирическое начало оживило готовую «эпичную» декорацию поэмы; словно живой водой sprysнули газетные развалины. Возникло ощущение действительного познания. Сначала — шуточные уходы от ответа: «это всё в дальнейшем, когда немного поумнею я...». Потом мучительные поиски ответа: «ты пишешь о великом человеке — ты в кровь свою обмакивай перо». И, наконец, венчающее все ощущение родины:

Офицерье отброшено, как ветошь,
последние, победные бои...
Советская республика, а это ж
вам не Россия, милые мои...

«Тезисы романа» пронизаны влиянием русской классики: Некрасов, Блок и более всего — Пушкин. Пушкинское начало, светлое и гармоническое, легко вошло в смутную корниловскую душу и отозвалось мгновенно — податливая колобродящая душа поэзии Корнилова была, в сущности, беззащитно доброй. В предсмертных стихах Корнилова, четыре года спустя, еще суждено было в последний раз проявиться пушкинскому началу... Но в 1933 году он, видимо, был еще не готов к этому; пушкинские блики, скользнув по «Тезисам романа», исчезли в темном хаосе мучивших Корнилова картин и сцен.

Следующая поэма, которую принялся писать Корнилов, называлась «Агент уголовного розыска» и должна была представить собой жизнеописание одесского беспризорника, перевоспитываемого новой жизнью. Поэму Корнилов не дописал; дошедшее до нас начало есть смутный и хаотический набросок картины драк и предательства, крови и грязи, зловонной мути и беспросветной тупости полуживотного бандитского существования. Б. Корнилов как бы вернулся от Пушкина на низший уровень бытия; он словно хотел разделаться с этими мутными безднами раз и навсегда. Трудно представить себе, чем стала бы поэма об уркагане, будь она закончена. Но во всяком случае, это был шаг к тематике «Триполья».

Сюжет, на котором суждено было Борису Корнилову создать главное, лучшее и сильнейшее свое эпическое произведение, был им найден в истории гражданской войны на Украине. Этот маленький кровавый эпизод лета 1919 года вошел в летопись тех лет под названием «Трипольской трагедии»: восстание кулацкой банды атамана Зеленого, захват села Триполье на Киевщине, киевский

комсомольский отряд, с трехдневным боем выбивший банду из села, а затем не удержавший позиций и уничтоженный бандой. Только шестеро комсомольцев спаслись. Они рассказали: командир красного отряда, бывший царский офицер, изменил; бандиты напали врасплох, во время отдыха; отряд был прижат к Днепру; пленных казнили зверски, но — мало оказалось пленных. . .

К тому времени, когда Корнилов отправился на Украину собирать материалы для поэмы, о трипольской трагедии были уже написаны повести и стихи, снят кинофильм. Но корниловская поэма была признана лучшим в советской литературе художественным памятником трипольским героям. Именно в этой поэме с наибольшей для Корнилова яркостью и драматизмом выразилось все его мировидение. «Триполье» стало своеобразным фокусом, собравшим воедино всю поэтическую стихию поэта.

Зеленые и красные — таково символическое противостояние двух начал в поэме: тупая, звериная, сытая сила кулацкой плоти и — героическое войско красных, предмет вечной зависти и тоски опоздавшего родиться поэта.

От жирного, сытого быта Тимофеевых — к дикой, полупьяной толпе кулацкого торжища и затем — к жуткой фигуре остервенелого сектантского «бога», идеолога и вдохновителя восстания, — развивается в поэме тема разгула зеленых. Если и можно найти во всем творчестве Корнилова предельное выражение мучившей его стихии озверевшей плоти, — то это, конечно, «кулацкая» половина поэмы «Триполье»: чашоба и туман, полусонная блевотина, пятнистые от злобы морды, дым, навозное тесто, вонь, зараза, падаль. . .

И — каменные, стальные квадраты красного отряда. Люди, сбитые в кусок, люди темные, как колья. . . Впереди — комиссар, свирепый, чахоточный. Нерасчленимая, подвижная масса, из которой не выпадает ни одного вмятого лица, а если и выпадает — то в этом индивидуально обозначенном герое опять улавливает Корнилов то самое, неукротимое, свирепое начало: «Звали его Припадочным Ваней, был он высок, перекошен, зобат, был он известен злобой кабаньей, страшною рубкой и трубкой в зубах. . .»

В страшной схватке сшибаются два отряда. Великая вера столкнулась в непроходимой животной дикостью и осталась — на краю гибели — моральной победительницей. Допрос пленных — сильнейшая сцена поэмы: «Пять шагов, коммунисты, кацапы и жида! . . . Коммунисты, вперед — выходите вперед! . . .» — и дальше потрясающее описание, цитированное десятки раз в посвященной поэме критике:

Ой, немного осталось,
ребята,
до смерти...
Пять шагов до могилы,
ребята,
отмерьте!

Вот она перед вами,
с воем гненьим,
с окончанием жизни,
с распадом,
с гниением.

Что за нею?
Не видно...
Ни сердцу, ни глазу...
Так прощайте ж,
весна, и леса, и снег!..

И шагнули сто двадцать...
Товарищи...
Сразу...
Начиная — товарищи —
с левой ноги.

Эта героическая сторона «Триполья» была широко освещена критикой. Но почти не писали о другой стороне поэмы — о ее скрытом трагизме. Между тем тревожное предчувствие надвигающейся гибели пронизывает поэму насквозь, возникая то в образе темной, запутанной, многоглавой войны, где не понять, кто с кем; то в тягостном ожидании «пули из-за угла»; то в отчаянном пророчестве: «я скоро погибну в развале ночей. И рухну, темнея от злости, и белый, слюнявый обьест меня червь, — оставит лишь череп да кости. Я под ноги милой моей попаду омытою костью нагою, — она не узнает меня на ходу и череп отбросит ногою...» Тревожное ощущение непрочности яростного мира, гибельности его выразилось в главе, которую Корнилов не сумел напечатать в тогдашней периодике, а включил лишь в книгу — в главе «Измена». Корнилов бросил вслед предателям страшные проклятья, он знал, что «бесславному — ползти дальше срока червями, а бессмертным — осталось прожить до утра», — но и прокляв их, он не мог успокоиться. Над струсившими, предавшими отряд

вожаками поставил Корнилов душераздирающий образ преданной ими революции:

И стояла над ними
с душой захолонувшей
Революция,
матерью нашей скорбя,
что таких прокормила
с любовью
гаденышей,
отрывая последний кусок от себя.

Лучшая поэма Бориса Корнилова сконцентрировала весь сложный и противоречивый внутренний мир его — отражение мира великих социально-исторических потрясений, в котором чуткая душа поэта уловила трагические черты.

8

Бурный успех «Триполья» переменял жизнь Корнилова. Из поэта ленинградского он сделался всесоюзным, повсеместно и официально признанным. «Триполье» Корнилов читал перед Центральным Комитетом комсомола, в присутствии самого Косарева, который и распорядился печатать поэму в «Молодой гвардии». Поэму широко обсуждали в комсомольской массе. Литературная печать сразу ввела «Триполье» в центр всесоюзной дискуссии; в самом факте эпизации лирики усматривали символический смысл: Корнилов, этот «дикий» лирик, этот «безпризорный» реалист, доказал, что он способен ответственно подходить к темам большой социально-исторической значимости. Автора «Триполья» ставили в один ряд с авторами «Думы про Опанаса», «Спекторского», «Улялаевщины».

В августе 1934 года для Корнилова наступает момент настоящего триумфа: главный докладчик о поэзии на Всесоюзном съезде писателей объявляет автора «Триполья» надеждой советской лирики. В течение последующего года Корнилов публикуется в «Известиях». Крупные его произведения печатает журнал «Новый мир». Б. Корнилов разъезжает по стране с красной книжечкой сотрудника «Известий», что (по воспоминаниям знавших его людей) переполняет его безмерной гордостью.

Наверное, никогда еще Корнилов не писал так легко, много и охотно, как в этот период. Обо всем, что требовалось: о физкультурниках, о съезде писателей, о спасении челюскинцев, о двадцатилетии первой мировой войны, о пятнадцатилетии разгрома Деникина, о восемнадцатилетии Октября.

Меняется в эти годы и образная структура лирики Корнилова. «Все по-другому в этом синем мире». Самые цвета, вся гамма — переменялась. На смену смешанным, буро-коричневым, замутненным краскам приходят тона яркие, чистые. «И вышли из тяжелых подземелий вот в эту голубую красоту». Голубизна и золото — вот теперь два главных цвета корниловской лирики, но кроме них — еще бездна красок, ясных, промытых: зеленое, синее, сиреневое, красное — все молодое, звонкое и веселое. И ярче, звонче всего — голубизна и золото — небо и солнце. «Я радуюсь — мне весело и любо... А песня непонятна и легка», — пишет он. «Быть может, легче жизни этой мне, дорогая, не найти», — догадывается Корнилов и, ликуя, носится в этом своем многоцветном, узорном мире, где «голубое от воды, все золотое, расписное, большое, легкое, лесное, на гичке острой, на траве, на сквозняке, на светлом зное и в поднебесной синеве...».

Меняется и психологический контур: где была мучительная самоирония — теперь щедрая улыбка, доверчивое ликование, колобродящее веселье. Именно теперь написаны Корниловым поразительные стихи, изумляющие нас острым, сверкающим, слепящим ощущением солнца и свежести:

Яхта шла молодая, кося,
серебристая вся от света —
гнутым парусом срезая
тонкий слой голубого ветра.
В ноздри дунул соленый запах —
пахло островом, морем, Лахтой...
На шести своих тонких лапах
шли шестерки ровень с яхтой.
Не хватало весел и лодок —
с вышек прыгали прямо в воду,
острой ласточкой пролетая
над зелеными островами,
и дрожала вода золотая,
вся исколотая прыгунами...
Пойте песню.
Она простая.
Пойте хором и под гитару.
Пусть идет она, вырастая,
к стадиону,
к реке,
к загару.

Пусть поет ее, проплывая
мимо берега, мимо парка,
вся скользящая,
вся живая,
вся оранжевая байдарка.

Выстрел в Кирова внезапно разорвал эту узорно-звонящую мелодию. Потрясенный Корнилов откликнулся на убийство мгновенно. Он и потом еще не раз возвращался в своих стихах к человеку, символизировавшему для ленинградцев светлое и победоносное шествие социализма. Но никогда потом не удавалось Корнилову создать ничего, что могло бы сравниться с первым его непосредственным откликом на гибель Кирова, с душераздирающей силой «Ленинградских стихов», написанных в декабре 1934 года. Мгновенно возник холодный, черный, склизкий от дождя город, воющий ветер, пятнистая от злобы Нева, глухой туман. Нервным разрядом идет тревога: на плотине, «с боков седая, вся смятение и беда, сквозь гребенку летит, рыдая, перекошенная вода...» В финале — последний аккорд: «И когда вся страна сказала про любовь свою, про тоску, — поезд с Кировым от вокзала, задыхаясь, пошел в Москву, — всех заводов сирены, воя, звука тонкое острие в небо бросили про роковое, про несчастное, про свое...» Так прорвалась тревога сквозь голубое сверканье...

Узорный, звонкий, небесно-золотой, дневной абрис лирики Корнилова последних лет отвлекал его от подспудной, ушедшей в глубину тревоги; в редкие минуты одиночества, в тишине, автор «Яхты» «по ночам проклиная себя», и смутно чувствует: «упаду в тяжелый, вечный сон», и герою своему посылает сон, полный предчувствий: «приснился сон хозяину, идут за ним, грозя, и убедать нельзя ему, и спрятаться нельзя...» Эти темные, призрачные мотивы теряются в ликующей лирике, — и тем не менее нельзя их сбрасывать со счета при характеристике корниловской поэзии последних лет: даже в самый безмятежный и «голубой» период его лирики поэт не терял ощущения драматизма, просто драматизм принял иные формы: трагичность «Ленинградских стихов» не была случайной.

Это новое его состояние сильно и глубоко выразилось в поэме «Моя Африка», написанной в течение 1934 года и напечатанной полностью в 1935.

«Однажды один ленинградский художник... рассказал Борису Корнилову о том, как на фронтах гражданской войны добровольцами дрались с белогвардейцами семь отважных героев-сенегаль-

цев»¹. Этого было достаточно. Поразившее Корнилова видение стало обрастать подробностями.

Посреди черно-белого Петрограда явился новый герой: скрипя снегами, ремнями и сапогами, сверкая и блистая золотом шашки, серебром отделки, в лиловых штанах, с алой звездой на папаче, с белозубой улыбкой; проплыло «вместилище оружия и звона, земли здоровье, сбитое в комок», — красный чернокожий командир, фантастический и экзотический герой новой поэмы Корнилова.

Многоцветная гамма «Моей Африки»: зеленая кровь, синее небо, золотой песок, малиновая попона, синие щеки, слепящее сверкание золота во всем — так же характерна для Корнилова 1934—1935 годов, как грязно-коричневая, смешанная гамма «Триполья» — для Корнилова предшествующих лет.

Поэма — жаркий, непрерывный бред художника Добычина, свалившегося в тифу: негр Вилан, проплывший мимо Добычина по метельной петроградской улице, породил в воображении больного художника цепь галлюцинаций... Негры-носильщики идут цепочкой по золотой африканской пустыне — негра линчуют американские ковбои — негры в кавалерийских шинелях проходят парадом... Эта цепь видений увенчивается финальным и завершающим дело эпизодом — рассказом «юркого конноармейца» о том, как в бою налетел на белого полковника их красный полковник — на белом коне под малиновой попоной черный негр — и развалил врага золотой шашкой, но сам погиб тут же от геройских ран...

Своеобразие новой поэмы Корнилова и ее отличие от «Триполья» было в том, что из бутафорских элементов Корнилов воздвигал здание, предназначенное нести великую и позитивную идею о времени. При всей невероятной фантастичности средств, Корнилов твердо выводил свое здание под купол, которым должен был увенчать его. Идея интернациональной солидарности, во имя которой погиб негр за русскую революцию, а русский поэт клялся погибнуть — чтоб дали «капиталистам африканским... как и у нас в России, по шеям», — идея эта действительно стала в поэме сквозным дыханием. В творчестве Корнилова, всегда смутном от внутренних противоречий, обнаружилось нечто новое: желание выстроить художественное произведение целесообразно и одухотворенно. В «Моей Африке» действительно подкупал позитивный пафос; многое из того, что не удавалось Корнилову прежде, получилось здесь. Великолепен, например, стилизованный рассказ конноармейца. В «Соли» такая

¹ Из письма Л. Басовой — вдовы Корнилова — Л. Безрукову. — «Литература и жизнь», 1962, 14 октября.

стилизация «под народ» вышла искусственной, — теперь же, в «Моей Африке», трогательное косноязычие рассказчика — прекрасный психологический переход, ступень от мучающего героя хаоса чувств к ясной, резкой и пафосной концовке, венчающей поэму;

Нет места ни печали,
ни бессилью,
ни горести...
Как умер он в бою
за сумрачную
за свою Россию,
так я умру за Африку мою.

Интернациональный пафос поэмы Б. Корнилова получил немедленный резонанс. Ромен Роллан воспринял «Мою Африку» как довод в международной дискуссии о будущем цивилизации и сослался на поэму в своей статье «Европейский дух»: «отказ от национальных предрассудков... всемирный гуманизм... новое человечество...» — так характеризовал он смысл поэмы. Статья Роллана появилась в «Нувель литерер» в ноябре; через неделю она была перепечатана «Правдой». Этот момент стал для Корнилова высшей точкой признания. Шел к концу 1935 год.

9

В декабре 1935 года Б. Корнилов в газете «Литературный Ленинград» рассказал о своих творческих планах. Он собирался писать новые стихи и поэмы, собирался писать прозу. Он познакомился с Николаем Островским и намеревался писать о нем. Он хотел сделать пьесу «для гениального Мейерхольда...» Ирония судьбы была даже не в том, что столь обширные планы оборвались какой-нибудь год спустя. Ирония судьбы более всего заключалась в том, что первым, отдаленным сигналом личной трагедии Корнилова было именно всеобщее признание его на писательском съезде 1934 года: в тот момент, когда докладчик, он же редактор «Известий», назвал Корнилова среди лучших, а потом взял его под свое начало в газету.

Драматизм последнего периода его жизни был настолько же следствием внешней травли, сколько и внутреннего распада творчества, и это самое страшное.

Между тем этапом, когда в 1935 году критика, всяко оговаривая свое несогласие с автором «Моей Африки», всё же посвящала

Корнилову свои серьезные статьи, и тем этапом, когда литературные оценки вдруг сменились в 1937 году стереотипными формулами, а потом, под занавес, прозвучало недоуменное: «подвизался в литературе и... некий Борис Корнилов»¹, после чего на двадцать лет воцарилось молчание, — между двумя этими состояниями лежит целый год.

В 1936 году имя Корнилова уже вычеркнуто из «серьезной» литературы. Что происходит в течение этого года? Поэт продолжает писать и публиковать стихи, и критика отвечает ему. Чем? Какими-то мимолетными щипками, пренебрежительными пощечинами, фельетонными остротами на бегу. «Набор слов», «торопливейшая и безграмотная мазня», «пошлость и беспардонная болтовня»² — таковы оценки, даваемые литературной прессой трем последним поэмам Корнилова («Последний день Кирова», «Начало земли» и «Самсон»), появившимся в самом конце 1935 и в 1936 годах. Эти оценки имели некоторое основание.

Три последние поэмы Корнилова, да и лирика этих последних месяцев, действительно производят впечатление усталого движения по инерции. Вымученный оптимизм «Начала земли», натужная экспрессия «Последнего дня Кирова», усталая пестрота красок в «Самсоне» — все это какие-то полусонные отсветы творчества Корнилова лучших лет, обрывки давно минувших буйно-романтических или даже полузабытых провинциально-есенинских мотивов. Усталость и апатия звучат в набросках, найденных через много лет в бумагах Корнилова: «Пиво горькое на солоде затопило мой покой... Все хорошие, веселые — один я плохой...» И еще: «Вы меня теперь не трогте — мне ни петь, ни плясать — мне осталось только локти кусать...» И еще: «Всё уйдет. Четыреста четыре умных человеческих голов в этом грязном и веселом мире — песен, поцелуев и столов...» Обаятельная когда-то неправильность корниловского «говора» переходит в безвольное и апатичное косноязычие: «Ахнут в жижу черную могилы, в том числе, наверно, буду я. Ничего — ни радости, ни силы, ты прощай, красивая моя... Сочиняйте разные мотивы... Всё равно недолго до могилы...»

Печать болезненности улавливается во всем, что написано Корниловым в последний период. Однако следует точно определить, что в этом замкнутом круге является причиной, а что следствием.

¹ А. Н. Тарасенков, На поэтическом фронте. — «Знамя», 1938, № 1.

² В. Эрлих, На правах рецензии. — «Литературный Ленинград», 1936, 17 сентября.

Разумеется, пьянство, дебоши, богомщина, сделавшиеся под конец настоящим проклятием в жизни Корнилова, подорвали окончательно его творческие силы. Но водка и дебоши, в свою очередь, были следствием глубокой и нараставшей неудовлетворенности Корнилова собой, все усиливавшегося чувства опустошенности. Корнилов ощущал неопределенность своего положения в поэтическом потоке 30-х годов. Время, которое даровало ему яркую творческую судьбу, уходило в прошлое, новая эпоха предъявляла новые требования; Корнилов искал новых путей — безуспешно, и отсюда столь болезненное у него (тридцати лет отроду!) ощущение преждевременной завершенности его творческой судьбы, законченности его пути.

Корнилов и в последний год жизни старался поспеть за временем. Но все как-то не поспевал. Ни в поэзии, ни в поведении. Когда от него требовали объясниться по поводу пьяных скандалов, — он молчал. Когда он решал объясниться, — было уже поздно, потому что уже требовалось не объяснение, а покаяние. Когда он начинал каяться, было уже поздно, потому что вопрос об его исключении из Союза писателей был предрешен. При его исключении (октябрь 1936 года) фигурировали чисто нравственные мотивировки.

И все же последнее мгновенье гаснущей поэтической судьбы Бориса Корнилова оказалось неожиданным. Вдруг опять лихорадочно вспыхнул свет: заговорило начало, о котором никто не подозревал, да и сам поэт, может быть, тоже, — начало пушкинское. Светлая пушкинская гармония, поразившая когда-то Корнилова при детском чтении, была начисто развеяна в его поэзии тяжелыми и смутными метаниями. Мимолетным озарением прошли пушкинские мотивы в «Тезисах романа» и отступили, чтобы несколько лет спустя возникнуть вновь: сначала деталью в фантастической симфонии «Моей Африки», а затем предметом напряженного и последнего раздумья о жизни. С Пушкиным вошла в сознание Корнилова идея целостности человеческого бытия; пушкинская анкета, проведенная в конце 1935 года журналом «Литературный современник», показывает, что поэзия и жизнь Пушкина сделалась уже тогда для Корнилова предметом глубоких нравственных размышлений: о совести, о долге, о смысле и человечности жизни. Б. Корнилов писал в анкете журнала: «Период, когда... Николай I после аудиенции, данной Пушкину, громогласно заявил: «Он теперь мой», интересуется меня почему-то больше всего. Ведь тут ломалась творческая и биографическая личность Пушкина, и я очень хотел бы знать: какое закрытое письмо послал Пушкин Николаю, когда ему инкриминировали написание «Гавриилиады»? Сознался он?.. Сослался, спасая свое будущее, на покойника Горчакова?»

Весь этот противоречивый комплекс интереса к пушкинской поэзии, как и к выявлению его нравственной личности со стороны Б. Корнилова — человека диаметрально противоположного психологического типа, — и выразился в последнем, «пушкинском» цикле стихов Корнилова.

Пушкин в этих стихах увиден типично корниловским взором. Веселый, задорный, кудрявый, повеса и бильярдист, бретер, забияка, юбочник, безобразник, — он пьет вино, ест балыки, дерется плеткой, стреляет хлебом в потолок, въезжает верхом прямо на крыльцо, озорничает, потом, напившись, плачет... Б. Корнилов не пошел в понимании Пушкина дальше этих внешних, и то весьма проблематичных деталей быта, он не воспринял в Пушкине гения, вместившего всю Россию в своей судьбе. Корнилов даже не поставил вопроса о Пушкине как о явлении русской культуры, как о вехе в мировом духовном развитии... Но изобразив Пушкина упрощенно, Корнилов тем не менее испытал на себе его мощное влияние, он воспринял в пушкинской поэзии и впервые сознал сам какое-то глубинное, светлое и гармоническое начало жизни; подспудное влияние пушкинского гения вдруг ощутилось в самой структуре корниловского мышления — так, словно потаеннейшие основания его поэзии вдруг пошатнулись и стали обновляться. И он, буйный, «дикий», оробел перед святыней пушкинской гармонии: «И прекрасен, и разнообразен, мужество, любовь и торжество... Вы простите — может, я развязан? Это — от смущенья моего! Потому что по местам окрестным от пяти утра и до шести вы со мной — с таким неинтересным — соблаговолили провести...» Сама эта интонация вряд ли возможна была у прежнего, «озорного» Корнилова. Самое дыхание его поэзии вдруг обнаружило готовность к перемене — от смутной эмоциональности к ясности мышления. Даже сумрак одиночества пишет Корнилов другими, новыми словами, охватывая это одиночество как целое, пытаясь осознать его, понять... «И конь храпит, с ветрами споря, темно, и думы тяжелы, не ускакать тебе от горя, от одиночества и мглы. Ты вспоминаешь: песни были, ты позабыт в своей беде, одни товарищи в могиле, другие — неизвестно где...» Удивительна в этих строках проглянувшая из сумрака графичность, структурность переживания, невероятная у прежнего Корнилова попытка формулировать, осознать, преодолеть хаос.

Пушкин словно открыл в Корнилове возможность принципиально иной поэзии: поэзии гармонической, духовной, поэзии осознанного единства с миром. Корнилов успел почувствовать в себе это новое лишь как возможность. Он заразился тем неповторимым,

чисто пушкинским мироощущением, которое и название для нас сохранило пушкинское: светлой печалью:

День ударит об землю копытом,
Смена на посту сторожевом.
Думаю о вас, не об убитом,
А всегда о светлом,
О живом.
Всё о жизни,
Ничего о смерти,
Всё о слове песен и огня. . .
Легче мне от этого,
Поверьте,
И простите, дорогой, меня.

Трудно сказать, какие плоды могло бы дать в творчестве Б. Корнилова это последнее просветление. Он был человек неожиданный.

Цикл стихов о Пушкине успел появиться в журнале «Литературный современник» в январе 1937 года.

В 1938 году Борис Корнилов погиб.

Л. Аннинский

СТИХОТВОРЕНИЯ

1

Усталость тихая, вечерняя
Зовет из гула голосов
В Нижегородскую губернию
И в синь Семеновских лесов.

Сосновый шум и смех осиновый
Опять кулигами пройдет.
Я вечера припомню синие
И дымом пахнувший омет.

Березы нежной тело белое
В руках увижу ложкаря,
И вновь непочатая, целая
Заколыхается заря.

Ты не уйдешь, моя сосновая,
Моя любимая страна!
Когда-нибудь, но буду снова я
Бросать на землю семена.

Когда хозяйки хлопнут ставнями
И отдых скрюченным рукам,
Я расскажу про город каменный
Седым, угрюмым старикам.

Познаю вновь любовь вечернюю,
Уйдя из гула голосов
В Нижегородскую губернию,
В разбег Семеновских лесов.

1925

2. ЛОШАДЬ

Дни-мальчишки,
Вы ушли, хорошие,
Мне оставили одни слова, —
И во сне я рыженькую лошадь
В губы мягкие расцеловал.

Гладил уши, морду
Тихо гладил
И глядел в печальные глаза.
Был с тобой, как и бывало,
Рядом,
Но не знал, о чем тебе сказать.

Не сказал, что есть другие кони,
Из железа кони,
Из огня. . .
Ты б меня, мой дорогой, не понял,
Ты б не понял нового меня.

Говорил о полевом, о прошлом,
Как в полях, у старенькой сохи,
Как в лугах немятых и некошенных
Я читал тебе
Свои стихи. . .

Мне так дорого и так мне люблю
Дни мои любить и вспоминать,
Как, смеясь, тебе совал я в губы
Хлеб, что утром мне давала мать.

Потому ты не поймешь железа,
Что завод деревне подарил,
Хорошо которым
Землю резать,
Но нельзя с которым говорить.

Дни-мальчишки,
Вы ушли, хорошие,
Мне оставили одни слова, —
И во сне я рыженькую лошадь
В губы мягкие расцеловал.

1925

3. ОКНО В ЕВРОПУ

Мне про старое не говори.
И в груди особенная радость —
Щупают лучами фонари
Каменные скулы Ленинграда.
Я ходил и к сердцу прижимал
Только что увиденное глазом,
А по серым улицам туман,
Перешибленный огнями, лазил.
Много неисхоженных кругов,
Много перехваченного боком —
У крутых гранитных берегов
Не шуршит зеленая осока.
Пусть зеленых снов не пощадят,
Но одно так дорого и просто —
На больших холодных площадях
У людей упористая поступь.
Мажут трубы дымом дочерна,
Лезет копоть в каждый переулок,
Стонет Выборгская сторона
От фабричного большого гула.
Над Невой отчаянно, когда
Фабрики гудками выли —
Вспоминать ушедшие года

И дворец,
Расстрелянный навывлет.
Гудки по-новому зовут,
Кричат в тумане о победе,
А всадник, скомканный из меди,
Хотел скакать через Неву.
Хотел заводов не понять,
Но врезан в глаз
Матросский вырез —
Матрос у конской морды вырос
И спутал поступь у коня.
И был приглушен медный топот,
А ночью Пушкин прокричал,
Что здесь продавлено сейчас
Окно
В рабочую Европу.

<1926>

4

Так хорошо и просто,
Шагнув через порог,
Рассыпать нашу поступь
По зелени дорог.

В улыбочивое лето
Бросать среди путей
Задумчивость поэта
И шалости детей.

Луна — под вечер выйди,
Чтоб, как бывало, вновь
У девушки увидеть
Смущенье и любовь.

Любовная зараза —
Недаром у меня
Заходит ум за разум
При увяданьи дня.

Но от нее я просто
Шагну через порог,
Чтобы рассыпать поступь
По зелени дорог.

1926

5. ТРОЙКА

Не целуй меня на улице, —
Целуй меня в сенях;
Не целуй меня в сенях, —
Целуй на масленой в санях,

Жить по-старому Русь моя кончила,
Дней былых
По полям не ищи.
На степях отзвенел колокольчик
И отпел свои песни ямщик.
А давно ли цыганки и ухари,
И бубенчик, как радость, дрожал,
Не грустили там — пели и ухали. . .
Всё же мне тебя, тройка,
Не жаль!
Вот как хочешь,
И кажется, словно
Я не буду жалеть никогда,
Что ямщик не споет про любовное,
Колокольчик —
Про тихий Валдай.
Что на сердце разгул не шевелится,
Что не ухарь задорный с лица,
Что в степи красавица девица
Не целует в санях молодца.
Ой ли, тройка,
Разгульная тройка, —
Свищет ветер,
Поет и скулит, —
Пронеслась ты, лихая и бойкая,
Как бывшее, пропала в пыли,
Отоснилась бывшая красавица.
Скоро в степь,
В беспредельную степь

Чтоб девушку эту
 никто не сберег —
Ни терем и ни охрана,
Ее положу на седло поперек,
К кургану помчусь от кургана,
И будет вода по озерам дрожать
От конского грубого топота.
Медвежьёю силой
И сталью ножа
Любимая девушка добыта. . .
Ну, где им
 размашистого догнать? . . .
Гу-уди, непогодушка злая. . .

Но, срезанный выстрелом из окна,
Я падаю, матерно лаясь.
Горячая и кровавая река,
А в мыслях — про то и про это:
И топот коня,
И девичья рука,
И сталь голубая рассвета,
А в сердце звериная, горькая грусть, —
Качается бешено терем. . .

И я просыпаюсь.
Ушла эта Русь, —
Такому теперь не поверим.

1926

7. ДЕВУШКЕ ЗАСТАВЫ

Не про такое разве
Песня в родимых местах, —
Девочки голубоглазые,
Девочки наших застав.

Я погляжу и, спокоен,
Горечь раздумья маня,
Поговорю про такое,
Что на душе у меня:

В позеленелом затишье
Ласковых деревень
Пахнут получше вишни,
Чем по садам сирень.

Где дорогое наречье,
Ласки никак не новы,
Любят не хуже под вечер,
Чем комсомолки с Невы.

Всё же себя не заставить
Позабывать и вдруг
Девочек из-за заставы,
Лучших из наших подруг.

Мы под могильным курганом
Всю тишину бережем,
Может, угробят наганом
Или же финским ножом.

Ты исподлобья не брызни
Струйками синих очей,
Нам еще топать по жизни
И в переулках ночей.

1926

8

Под равнодушный шепот
Старушечьей тоски
Ты будешь дома штопать
Дешевые носки.

И кошка пялит зенки
На ленточку косы,
И тикают на стенке
Жестяные часы.

И лампа керосином
Доверху налита.

По вечерам, по синим
Ушли твои лета.

И вянет новый веник,
Опять пусты леса,
Для матери и денег
Забывтая краса.

А милый не дивится,
Уже давно одна.
Ты — старая девица
И замуж негодна.

Болят худые пальцы,
И дума об одном, —
Что вот седые зайцы
Гуляют под окном.

Постылые иголки,
А за стеной зовут,
Хохочут комсомолки,
Хохочут и живут.

И материнский шепот...
Уйти бы от тоски, —
Но снова будешь штопать
Дешевые носки.

1926

9. КНИГА

Ползали сумерки у колен,
И стали бескровными лица.
Я книгу знакомую взял на столе
И стал шелестеть страницей.
Придвинул стул,
Замолчал и сел,
И пепельницу поставил.
Я стал читать,
Как читают все,
Помахивая листами.

Но книга разбегалась в голове,
И мысли другие реже.

.
И вот —
Насилуют и режут,
И исходит кровью человек.
Вот он мечется,
И вот он плачет,
Умирает, губы покривив,
И кому-то ничего не значит
Уходить запачканным в крови.
Отойдет от брошенного тела
Так задумчиво и не спеша
И, разглядывая, что он сделал,
Вытирает саблю о кушак.
Он теперь по-мертвому спокоен,
Даже радость где-то заперта.
Он стоит с разрубленной щекою,
С пеною кровавою у рта.
Но враги бросаются навстречу,
И трещат ружейные курки.
Защищаться не к чему
И нечем —
Сабля, выбитая из руки,
И не убивая и не раня,
Всё равно его не пощадят,
А подтаскивают на аркане
И прикручивают к лошадям.
Он умрет,
Как люди — не иначе,
И на грудь повиснет голова,
Чтобы мать, пригнутая казачка,
Говорила горькие слова.
И опять идут рубить и прыгать,
Задышаться в собственной крови.

.
А Гоголь такой добродушный на вид,
И белая,
Мертвая книга.

1926

10. КОРАБЛИ

Ветер в песню навеки влюблен,
Пойте ж эту над кораблем
Каждый в сердце своем...

Н. Асеев

И воля, и волны
Гуляют кругом,
С них пена летит полукругом,
Но море не вечно бывает врагом, —
Порою бывает и другом.
А чтобы руки сильнее гребли
И не дрожали при этом,
Тебе доверяются корабли.
О море зеленого цвета,
В далеком пути
Корабли береги
Иль щепками на берег выкинь,
Но не поклонится вперегиб
Самоуверенный викинг.
В открытое море
Уходит вперед,
В туманы глаза свои вперив,
Звериные шкуры с собою берет
С оттенками радужных перьев
И хмурым товарищам
Громкую речь
Промолвит, торжественно кланяясь:
— Нас боги обязаны
В море беречь
За жертвенные заклания.
Соленою пеной
Плюется волна,
Но, сердце,
В спокойствии выстынь,
Пусть там,
 где земля,
 как бочонок вина,
Нам будет надежная пристань.
Товарищ оставшийся,
Береги,
Как преданный воин и труженик,
И наши домашние очаги

И боевое оружие.
И мы уплывем,
 а куда? —
 невесть...
Ты громко рассказывай людям,
Что мы забываем
Отцов и невест
И матерей позабудем... .

В ответ —
Не жалеют друзей голоса,
О родине — словно о мачехе,
И хлопают бешеные паруса
На черной, захватанной мачте.
Надежные снасти,
И плещет весло.
Но вот на десятой неделе
Большое ненастье —
Коварство и зло
Показывает на деле,
Ни выслушать слово,
Ни слово сказать, —
Скрипят корабельные доски,
А волны зачесывали назад
Седеющие прически,
А после взлетали,
Шипя и дразня,
Кидались
И падали в пене... .
— Глядите, товарищи и друзья,
Молите богов о спасенье!
Глядите, — валы подступают к валам,
Вздывается ярус на ярус,
И мачта ломается пополам,
Распарывая парус... .

У викинга рот перекошен со зла
С прокушенною губою... .

— О море!
Свобода меня принесла

О смерти поспорить с тобою.
Я вижу —
От берегов земли
По зыби коварной и топкой
Проводит невиданные корабли
Рука моего потомка.
Он песню поет на своем корабле,
Он судно ведет к далекой земле.

* * * * *

Волна ударяет,
Злобна и верна,
И пляшут у берега серого
Резные борты,
И резная корма,
И весла из лучшего дерева...
Волна ударяет,
И тысячи дней

Спеша ударяют за ней.
И викинга правнук
Повел корабли,
Звенящие словно рубли.

Свободою предка он напоен...
И буйно перед валами
Мы песню поем,
Молодую поем
Под алыми вымпелами.
И нынче и завтра
На бурный парад
Пройдет бронированный крейсер.
Гудит он товарищу

Судна «Марат»:
— У песен и топок погрейся...

Гудит он, что парень,
Как дед, напоен
И моря и песен валами.

Мы песню поем,
Молодую поем
Под алыми вымпелами.

1926—1927

Семенов — Ленинград

11. В НАШЕЙ ВОЛОСТИ

По ночам в нашей волости тихо,
Незнакомы полям голоса,
И по синему насту волчиха
Убегает в седые леса.
По полям, по лесам, по болотам
Мы поедем к родному селу.
Пахнет холодом, сеном и потом
Мой овчинный дорожный тулуп.
Скоро лошади в мыле и пене,
Старый дом, принесут до тебя.
Наша мать приготовит пельмени
И немного поплачет любя.
Голова от зимы поседела,
Молодая моя голова.
Но спешит с озорных посиделок
И в сенцах колобродит братва.
Вот и радость опять на пороге —
У гармошки и трели и звон;
Хорошо обжигает с дороги
Горьковатый первач-самогон.
Только мать поглядит огорченно,
Перекрестит меня у дверей.
Я пойду посмотреть на девчонок
И с одною уйду поскорей.
Синева. . .
И от края до края
По дорогам гуляет луна. . .

Эх ты, волость моя дорогая
И дорожная чашка вина! . .

<1927>

Засыпает молча ива.
Тишина
И сон кругом. . .
Ночь, пьяна и молчалива,
Постучалась под окном.

Подремли, моя тревога,
Мы с тобою подождем,
Наша мягкая дорога
Загуляла под дождем.

Надо мной звереют тучи. . .
Старикашкой прихромав,
Говорит со мною Тютчев
О грозе и о громах.

И меня куда помнят,
А когда уйдет гроза,
В темноте сеней и комнат
Зацветут ее глаза.

Запоеет и захохочет
Эта девушка — и вот. . .
Но гроза ушла,
И кочет
Утро белое зовет.

Тяжела моя тревога
О ненужных чудаках —
Позабытая дорога,
Не примятая никак.

И пойму,
Что я наивен.
Темнота —
Тебе конец,
И опять поет на иве
Замечательный синец.

<1927>

18. ОЛЬХА

Очень я люблю
И маму и поляну,
Звезды над водою по рублю.
Поискал бы лучше, да не стану —
Очень я люблю.
Потому не петь иные песни,
Без любви, в душе окоченев, —
Может быть,
На этом самом месте
Девке полюбился печенег.
Отлюбила девушка лесная,
Печенега полоня. . .
Умерла давно-давно, не зная
О глазах нерусских у меня.
Только я по улицам тоскую,
Старику бы не скучать так — старику. . .
Не сыскать мне девушку такую,
Вот такую —
На моем веку!
Запевай от этого, от горя,
Полуночная птица соловей,
Все края от моря и до моря
Трелью расцарапанной обвей,
Чтобы я без пива и без меда. . .
Чтобы замутило по краям. . .
Привела бы непогодка-непогода
На поляну, к молодым ручьям,
Где калина да ольха-елоха
Не боится бури и грозы,
Чтобы было на душе неплохо,
Может быть в последние разы.
Проходи, косой весенний дождик,
Поливай по тропке полевой.
И не буду я, тоскуя, позже
О деревья биться головой.
Только буду, молодой и грубый,
И заботливый, как наша мать,
Целовать калину, будто в губы,
И ольху любовно обнимать.

.

(И у времени много прити)
Старый день угас
 И румянец щек,
Умирая, на памяти вытер.

Только тихий дом
Мне в стихи залез.
Ничего не пишу я,
 кроме,
Что за лесом — дол,
А за долом — лес
И в лесу — удивительный домик.

<1927>

15

Айда, голубарь,
 пошевеливай, трогай,
Бродяга, — мой конь вороной!
Все люди —
 как люди,
 поедут дорогой,
А мы пронесем стороной.
Чтобы мать не любить
 и красавицу тоже,
Мы, нашу судьбу не кляня,
Себя понесем,
 словно нету дороже
На свете меня и коня.
Зеленые звезды,
 любимое небо!
Озера, леса, хутора!
Не я ли у вас
 будто был и не был
Вчера и позавчера.
Не я ли прошел —
 не берег, не лелеял?
Не я ли махнул рукой
На то, что зари не нашел алее?
На то, что девчат не нашел милее?
И волости — вот такой?





А нынче почудилось:
 конь, бездорожье,
Бревенчатый дом на реку, —
И нет ничего,
 и не сыщешь дороже
Такому, как я, — дураку. . .

1927

16. НОЧЬ КОМБАТА

Знакомые дни отцвели,
Опали в дыму под Варшавой,
И нынче твои костыли
Гремят по панели шершавой.

Но часто — неделю подряд,
Для памяти не старея,
С тобою, товарищ комбат,
По-дружески говорят
Угрюмые батареи.

Товарищ и сумрачный друг,
Пожалуй, ты мне не ровесник,
А ночь молодая вокруг
Поет задушевные песни.

Взошла высоко на карниз,
Издавна мила и знакома,
Опять завела, как горнист,
О первом приказе наркома.

И снова горячая дрожь,
Хоть пулей навеки испорчен,
Но ты португею берешь
И Красного Знамени орден

И ночью готов на парад,
От радости плакать не смея.
Безногий товарищ комбат,
Почетный красноармеец,
Ты видишь:

Проходят войска
К размытым и черным окопам,
И пуля поет у виска
На Волге и под Перекопом.

Земляк и приятель погиб.
Ты видишь ночную порою
Худые его сапоги,
Штаны с незашитой дырою.

Но ты, уцелев, на парад
Готов, улыбаться не смея,
Безногий товарищ комбат,
Почетный красноармеец.

А ночь у окна напролет
Высокую ноту берет,
Трубит у заснувшего дома
Про восемнадцатый год,
О первом приказе наркома.

1927

17. ОЖИДАНИЕ

Грудь слезами выпачкав,
Снова к вербе, к омуту
Ты уйдешь на цыпочках,
Покидая комнату.

Только хлопнут двери там,
Где кончалась комната, —
Ходит ветер берегом
К омуту от омота.

И приносит вести он,
И уйдет назад, —
На лице невестином
Полыхнет закат.

Руки сломит надвое,
Плача и любя,
Волны встанут, падая,
Прямо на тебя. . .

Криками совиными
В ельники игольчатые. . .
Только за овинами
Дрогнут колокольчики.

Никого в овинах нет, —
Может, тройка дикая
На поляну вымахнет,
Звякая и гикая.

Кручами и срываами,
А над нею вороны —
Пристяжные гривами
Машут в обе стороны.

Тропками забытыми
На лугах и насыпях
Коренник копытами
Рвет поляну наспех.

Недолга у девушек
И тоска и жалоба.
Где она? Где уже?
Сам жених пожаловал.

Постели ему постель
Без худого словушка, —
Сбоку ходит коростель,
В головах — соловушка.

Убаюкай, успокой,
С новой тревогой
Тихо ласковой рукой
Голову потрогай.

Высоко заря горит,
Скоро утро будет,
Ветер ходит, говорит
И тебя разбудит.

Никого в долинах нет,
И путями новыми
Вороной не вымахнет,
Стукая подковами.

Не дрожали у реки
Кони, колокольчики,
Где шумят березники,
Ельники игольчатые.

Не любили, не могли, —
Нива колосистая, —
Милый водит корабли,
Песенку насвистывая.

На веселый хоровод
У реки, у хутора
Милый больше не придет,
Уходя под утро.

Не твои картузы
И сапожки лаковые,
Не в последние разы
Глазыньки заплаканные.

1927

18. СТАРИНА

Скажи, умиляясь, про них,
Про ангелов маленьких, набожно,
Приди, старину сохранив,
Старушка седая, бабушка...

Мне тяжко...

Грохочет проспект,
Всю душу и думки все вымуча.

Приди и скажи нараспев
Про страшного Змея-Горыныча,
Фата и девический стыд,
И ночка, весенняя ночь моя. . .

Опять полонянка не спит,
Не девка, а ягода сочная.
Старинный у дедов закон, —
Какая от этого выгода?
Все девки растут под замком,
И нет им потайного выхода.

Эг-гей!

Да моя старина, —
Тяжелая участь подарена, —
Встают на Руси терема,
И топают кони татарина.

Мне душно,
Окно отвори,
Старушка родимая, бабушка,
Приди, шепелявь, говори,
Что ты по-бывалому набожна,
Что нынче и честь нипочем,
И вера упала, как яблоко.

Ты дочку английским ключом
Замкнула надежно и наглухо.
Упрямый у дедов закон, —
Какая от этого выгода?
Все девки растут под замком,
И нет им потайного выхода. . .

Но вот под хрипенье и дрожь
Твоя надвигается очередь.
Ты, бабушка, скоро умрешь,
Скорее, чем бойкие дочери.
И песня иначе горда,
И дни прогрохочут, не зная вас,
Полон,

Золотая орда,
Былины про Ваську Буслаева.

1927

19. НА КЕРЖЕНЦЕ

Мы идем.
И рука в руке,
И шумит молодая смородина.
Мы на Керженце, на реке,
Где моя непонятная родина,
Где растут вековые леса,
Где гуляют и лось и лиса
И на каждой лесной версте,
У любого кержачьего скита
Русь, распятая на кресте,
На старинном,
На медном прибита.
Девки черные молятся здесь,
Старики умирают за делом
И не любят, что тракторы есть —
Жеребцы с металлическим телом.
Эта русская старина,
Вся замшѣнная, как стена,
Где водою сморѣна смородина,
Где реке незабвенность дана, —
Там корежит медведя она,
Желтобородая родина,
Там медведя корежит медведь.

Замолчи!
Нам про это не петь.

1927

20. ЛИРИЧЕСКИЕ СТРОКИ

Моя девчонка верная,
Ты вновь невесела,
И вновь твоя губерния
В снега занесена.

Опять заплакало в трубе
И стонѣт у окна, —
Метель, метель идет к тебе,
А ночь — темным-темна.

В лесу часами этими
Неслышные шаги, —
С волчатами, с медведями
Играют лешаки,

Дерутся, бьют копытами,
Одежду положа,
И песнями забытыми
Всю волость полошат.

И ты заплачешь в три ручья,
Глаза свои слепя, —
Ведь ты совсем-совсем ничья,
И я забыл тебя.

Сижу на пятом этаже,
И всё мое добро —
Табак, коробочки ТЭЖЭ
И мягкое перо —

Перо в кавказском серебре.
И вечер за окном,
Кричит татарин на дворе:
— Шурум-бурум берем. . .

Я не продам перо, но вот
Спасение мое:
Он эти строки заберет,
Как всякое старье.

1927

21. ОБВИНЯЕМЫЙ

Не лирике больше звенеть. . .

В конвульсиях падаю наземь я,
Миражи ползут по стене,
По комнате ходит фантазия.

И очень орать горазд,
В теоретическом лоске
Несет социальный заказ
Довольный собой Маяковский.

Любимая, извини,
Но злобен критический демон.
Я, девочкам изменив,
Возьму нелюбовную тему. . .
И вот —
Из уютных квартир
К моей односпальной кровати
С улыбкой дешевых картин
Идет пожилой обыватель.
Он, вынув мандаты свои,
Скулит о классической прозе,
Он в тему встает
И стоит
В меланхолической позе.
Он пальцами трет виски
И смотрит в глаза без корысти. . .
Я скромно пощупал листки
Служебных характеристик,
И, злобою ожесточен,
Я комнату криком пронзаю:
— Тут лирика ни при чем,
И я, извини,
Не прозаик,
А радость вечерних икот
Совсем не хочу отмечать я.
Вот —
Каждый прошедший год
Заверен у вас печатью.
Житье вам нетрудно нести,
И месяц проносится скоро.
Зарплату по ведомости
Выписывает контора,
И вы, хорошо пообедав,
Дородной и рыхлой жене
Читаете о победах
Социализма в стране.
А ночью при синих огнях,

Мясистое тело обняв...

И мучает, туго старея,
Хроническая гоноррея.
Вам эта болезнь по плечу,
У вас не тощает бумажник,
Но стыдно явиться к врачу,
Боясь разговоров домашних...

Вдали розовеет восток,
Неискренне каркает ворон, —
Хохочет и пляшет восторг
В бреду моего разговора.
Глядит на бумаге печать
Презрительно и сурово.
Я буду суду отвечать
За оскорбление словом,
И провожает конвой.
У черной канвы тротуара,
Где плачут над головой
И клен и каналья гитара.

1927

22. МУЗЫКА

1

Она ходила Волгою,
Она ходила Доном
За брякавшей двуколкою,
За легким эскадроном.

И из оркестра нашего
Летело на простор:
— Валяй, давай — вынашивай
Отвагу и упор...

Украинская ведьма,
Шалишь и не уйдешь,

Даешь, даешь Каледина,
Юденича даешь. . .

Но я теперь постарше,
И по полям окрест
Не бьет походным маршем
Оскаленный оркестр. . .

Не звякает железо,
Вокзальные звонки,
Отпела «Марсельеза»,
Не грохают клинки. . .

Приду и руки вымою
От гари заводской, —
Хорошую, любимую
Встречаю за рекой.

И петь себя заставлю,
Как не певал давно, —
За Невскою заставою
По вечерам в кино.

И под шальную музыку
Почудилось сквозь дым —
Родная сабля узкая
И кольчики узды.

Не потому ль, товарищи,
Лицо мое бело?
Товарищи, давай еще
Припомним о былом.

Почет неделям старым, —
Под боевой сигнал
Ударим по гитарам
«Интернационал».

И над шурум-бурумом
В неведомую даль
Заплавала по струнам
Хорошая печаль.

Лицо в крови не мокло,
И сердце не рвалось, —
Пропели пули около
В дыму седых волос. . .

Спокойная уже у нас
Отбитая страна.
За эту задушевность
Благодарю, струна!

Уходит наше старое
И бьет перед концом
Задумчивой гитарю
И девичьим лицом.

Дай эту ласку милую,
Как девушку весной,
Сегодня этот мир — ее
И даже я — не свой.

2

Ах, бога ради — арию
Из оперы! . .
И вот
Страдает Страдивариус,
Любимую зовет.
Шелка бушуют вместо выюг, —
Она идет ко мне,
И декорации встают,
И рампа вся в огне.
Поет она,
Горит она,
Руки заломив,
Татьяна, Маргарита,
Тамара, Суламифь.
И ждет уже венков она,
Чтоб слава зашипела:
Под звуками Бетховена,
Шуберта, Шопена.
Мне душно. . .

.
Гадалка, прости,
Мы не очень просты,
И мы не зеленые дети.
А наше житье —
Не обед, не кровать, —
К чему мне такие враки?
Я часто от голода околевать
Учился у нашей собаки.
Напрасно, цыганка, трясешь головой,
А завтра. . .

Айда спозаранок. . .

Я уйду с толпой цыганок
За кибиткой кочевой,

Погуляем мы на свете,
Молодая егоза,
Поглядим, как звезды светят
И восточные глаза.

Чтобы пели,
Чтобы пили, —
На поляне визг, —
Под гитару бы любили
На поляне вдрызг,

И подковками звеня,
Не ушла бы от меня. . .
Вы знаете?
Это теперь — пустяк,
Но чудятся тройки и санки,
Отчаянно гикают и свистят,
И любят меня цыганки.

<1928>

25. ПРОВИНЦИАЛКА

Покою и скромности ради
В краю невеселых берез
Зачесаны мягкие пряди
Твоих темноватых волос.

В альбомчиках инициалы
Поют про любовь и про Русь,
И трогает провинциалок
Не провинциальная грусть.
Но сон промаячит неслышно,
И плавает мутная рань, —
Всё так же на солнышко вышла
И вянет по окнам герань.

Ты смотришь печально-печально,
Цветок на груди теребя,
Когда станционный начальник
Намерен засватать тебя.
И около маленьких окон
Ты слушаешь, сев на крылец,
Как плещется в омуте окунь
И треплет язык бубенец,
А вечером сонная заводь
Туманом и теплой водой
Зовет по-мальчишески плавать
И плакать в тоске молодой.

Не пой о затишье любимом —
Калитка не брякнет кольцом,
И милый протопадет мимо
С упрямым и жестким лицом.
Опять никому не потрафив,
Он тусклую скуку унес,
На лица твоих фотографий
Глядит из-под мятых волос.
А ночь духотою намокла,
И чудится жуткая дрянь,
Что саваны машут на окнах
И душит за горло герань. . .

Но песня гуляет печально,
Не нашу тоску полюбя, —
Пока станционный начальник
Не смеет засватать тебя.

<1928>

26. ГЛАЗА

День исчезает, догорев,
Передо мной вечерний город,
И прячет лицо барельеф
Исаакиевского собора.

И снова я
В толпе гуляк
Иду куда-то наудачу,
И вот —
Топочет краковяк
И шпоры звякают и плачут.

Летят бойцы
И сабли вниз.
Шумит прибрежная осока. . .
Играет странный гармонист,
Закинув голову высоко.

И деньги падают, звеня,
За пляску, полную азарта.
Со взвизгиванием коня,
С журчаньем рваного штандарта.

Но гармонисту. . .
Что ему?
Он видит саблю и уздечки.
Опять в пороховом дыму
Зажато польское местечко.

И снова зарево атак. . .
Но лишь уходят с поля танки,
Разучивает краковяк
На взвизгивающей тальянке. . .

Но как-то раз,
Стреляя вниз,
Свистели на седле рубаки,
И пел взволнованный горнист
О неприятельской атаке.

Лошадей задирая, как волки,
батыри у Батыя на зов
у верховья ударили Волги,
налетая от сильных низов.
Татарин,

конечно,

верна́ твоя
обоженная стрела,
лепетала она, пернатая,
неминуемая была.
Игого,

лошадиное иго —
только пепел шипел на кустах,
скрежетала литая верига
у боярина на костях.
Но уже запирая терем
и кончая татарскую дань,
царь Иван Васильевич зверем
наказал

наступать

на Казань.

Вот послушай, отцовская сила,
сивая твоя борода,
как метелями заносило
все шляхетские города.
Голытьбою,
нелепой гульбою,
матка бозка и панове,
с ним бедовати —
с Тарасом Бульбою —
восемь весен
и восемь зим.

И колотят копытами в поле,
городишки разносят в куски,
вот высоких насилуют полек,
вырезая ножами соски.
Но такому налету не рады,
отбивают у вас казаки,

поджигают полковника, гады,
над широким Днепром гайдуки.

Мы опять отшуруем угли,
отпоем, отгуляем сполна —
над Союзом Советских Республик
поднимает копыто война,
небывалого роста, клыката,
черной бурей задрожав,
интервенция и блокада
всех четырнадцати держав.
Вот и вижу такое дело —
кожу снятую на ноже,
загоняют мне колья в тело
поджигают меня уже.
Под огнями
каменьями становья
на ножи наскочила она,
голова молодая сыновья
полетела, как луна.
Голова —
молода и проста ты,
не уйдешь в поднебесье луной —
вровень подняты аэростаты
с этой белою головой.
Под кустами неверной калины
ты упала, навеки мертва, —
гидропланы и цеппелины
зацепили тебя, голова.

Мы лежим
локоть об локоть,
рядом,
я и сын,
на багровом песке;
люизитом —
дымящимся ядом —
кровь засушена на виске.
Но уже по кустам молочая,
колыхая штыки у виска,
дымовые завесы качая,
регулярные вышли войска.

Налетели, подобные туру —
рана рваная

и поджог —

на твою вековую культуру,
золотой европейский божок.

Только штофные стены музея,
где гремит бронированный танк,
шпага черная на портупее,
томагаук

и бумеранг. . .

Обожженное дымом копыто. . .

Только стены музея стоят
невеселым каталогом пыток,
что горели полвека назад.

Орды синие и золотые
в нем оставили бурю подков,
и копье и копыто Батыя,
Чингисхана пожары с боков.

<1928>

28. ХОЗЯИН

Об этой печали, о стареньком,
о дальней такой старине
июньская ночь по кустарникам
лепечет на той стороне.

Невидная снова, без облика,
лепечет об этом — и вот
хозяин, хозяин, как облако,
как мутная туша плывет.

И с ямочкою колено,
и желтое темя в поту,
и жирные волосы пеной
стекают по животу.

Опять под сиренями сонными
идет, пригибая одну,
гуляет, белея кальсонами,
гитару берет за струну.

он омрачен,
со сна сердит,
он мерина берет за челку
и в зубы мерину глядит.
Он мерина шатает, валит
и тычет под бока перстом. . .
Хозяин хвалит не нахвалит,
клянется господом Христом.
Его глаза горят, как сажа,
он льстит, воркует и поет —
такая купля и продажа
вгоняет в жар, озноб и пот.
А доводы — горох об стену,
и вот, довольный сам собой,
последнюю назначив цену,
как бы отходит конобой.
Хозяин же за ним бегом,
берет полою недоуздок,
мокроты изумрудный сгусток
втирает в землю сапогом,
по мерину ревет, как сыч,
и просит ставить магарыч.

А рыбы пресных вод России
лежат — и щука, и сомы.
Горячей водкой оросили
свои большие плавники,
укропом резаным посыпали
и луком белые бока. . .
— Поешьте, милые сударики,
она не тухлая пока!

Барышник бронзовой скобою
намащенных волос горит,
барышник хвастает собою —
бахвал —
с конями говорит.
Дрожат и пляшут табуны,
ревут и пышут жеребцы,
опять кобылы влюблены,
по гривам ленты вплетены,
с боков играют сосунки —

визжат веселые сынки,
и, как барышник, звонок, рыж,
поет по кошельам барыш.

А водка хлещет четвертями,
коньяк багровый полведра,
и черти с длинными когтями
ревут и прыгают с утра.
На пьяной ярмарке,
на пышной —
хвостун,
бахвал,
кудрями рыж —
за всё,
за барышню барышник,
конечно, отдает барыш.
И улетает с табунами,
хвостами плещут табуны
над сосунками,
над полями,
над появлением луны.

Так не зачти же мне в обиду,
что распрощался я с тобой,
что упустил тебя из виду,
кулак,
барышник,
конобой.
И где теперь твои стоянки,
магарычи,
со свистом клич?
И на какой такой гулянке
тебя ударил паралич?

Ты отошел в сырую землю,
глаза свои закрыл навек,
и я тебя
как сон приемлю —
ты умер.
Старый человек.

<1928>

Похваляясь любовью недолгой,
растопыривши крылышки в ряд,
по ночам, застывая над Волгой,
соловьи запевают не в лад.

Соловьи, над рекой тараторя,
разлетаясь по сторонам,
города до Каспийского моря
называют по именам.

Ни за что пропадает кустарь в них,
ложки делает, пьет вино.
Перебитый в суставах кустарник
ночью рушится на окно.

Звезды падают с ребер карнизов,
а за городом, вдалеке, —
тошнотворный черемухи вызов,
весла шлепают на реке.

Я опять повстречаю ровно
в десять вечера руки твои.
Про тебя, Александра Петровна,
заливают всю с соловьи.

Ты опустишь тяжелые веки,
пропотевшая,
тяжко дыша. . .
Погляди —
мелководные реки
машут перьями камыша.

Александра Петровна,
послушай, —
эта ночь доведет до беды,
придавившая мутною тушей
наши крошечные сады.

Двинут в берег огромные бревна
с грозной песней плотовщики.

Я умру, Александра Петровна,
у твоей побледневшей щеки.

Но ни песен, ни славы, ни горя,
только плотная ходит вода,
и стоят до Каспийского моря,
засыпая вовсю, города.

Февраль 1929

31. РУСАЛКА

Медвежья дорога — поганая гать,
набитая рыбой река —
и мы до зари запекаем опять
медвежьи окорока.

В дыму, на отлете, режут комары
и крылышками стучат,
от горя, от голода, от жары
летит комарье назад.

Летит комарье,
летит воронье
к береговым кустам —
и слушают русалки там
охотничье вранье.

Один говорит:
— На Иванов день
закинул невода.
Вода не вода, а дребедень,
такая была вода.

Ребят промысловые омута,
качают поплавки,
туманом покрытые омута
охотнику не с руки.

Рябая вода — рыбаку беда, —
иду снимать невода.

Наверху, надо мною, тонет луна,
как пробковый поплавок,
в мои глаза ударяет она,
падая на восток.

Звезда сияет на всех путях —
при звездочке, при луне
упала из невода
и на локтях
добыча ползет ко мне.

Вода стекает по грудям,
бежит по животу,
и я прибираю ее к рукам —
такую красоту.

Теперь у желтого огня,
теперь поет она,
живет на кухне у меня
русалка как жена.

Она готовит мне уху,
на волчьем спит меху,
она ласкает кожей свежей
на шкуре вытертой медвежьей.

Охотник молчит.
Застилает сосна
четыре стороны света,
над белой волною гуляет весна
и песня русалочья эта.

А я, веселый и молодой,
иду по омутам,
я поджидаю тебя над водой,
а ты поджидаешь там.

Я песни пою,
я чищу ружье,
вдыхаю дым табака,
я на зиму таскаю в жилье
медвежьи окорока.

Дубовые приготовлю дрова,
сложу кирпичную печь,
широкую сделаю кровать,
чтоб можно было лечь.

Иди, обитательница омутов,
женщина с рыбьим хвостом,
теперь навеки тебе готов
и хлеб,
и муж,
и дом.

Но вот —
наступает с утра ветерок,
последний свист соловья,
я с лодки ночью сбиваю замок,
я вымок,
я высох
и снова намок,
и снова высохну я.

Тяжелые руки мои на руле.
Вода на моей бороде.
И дочь
и жена у меня —
на земле,
и промысел —
на воде.

Февраль 1929

32. НАЧАЛО ЗИМЫ

Довольно.
Гремучие сосны летят,
метель нависает, как пена,
сохатые ходят,

рогами стучат,
в тяжелом снегу по колено.

Опять по курятникам лазит хорек,
копытом забита дорога,
седые зайчихи идут поперек
восточного, дальнего лога.
Оббитой рябины
последняя гроздь,
последние звери —
широкая кость,
высоких рогов золотые концы,
декабрьских метелей заносы,
шальные щеглы,
голубые синцы,
девчонок отжатые косы...

Поутру затишье,
и снег лиловатый
мое окружает жильё,
и я прочищаю бензином и ватой
центрального боя ружье.

1929

33. ЛЕС

Деревья, кустарника пропасть,
болотная прорва, овраг...
Ты чувствуешь —
горе и робость
тебя окружают...
и мрак.

Ходов не давая пронырам,
у самой качаясь луны,
сосновые лапы над миром,
как сабли, занесены.

Рыдают мохнатые совы,
а сосны поют о другом —
бок о бок стучат, как засовы,
тебя запирая кругом.

Тебе, проходимец, судьбою,
дорогой — болота одни;
теперь над тобой, под тобою
гадюки, гнилье, западни.

Потом, на глазах вырастая,
лобастая волчья башка,
лохматая, целая стая
охотится исподтишка.

И старая туша, как туча,
как бурей отбитый карниз,
ломая огромные сучья,
медведь обрывается вниз.

Ни выхода нет, ни просвета,
и только в шерсти и зубах
погибель тяжелая эта
идет на тебя на дыбах.

Деревья клубятся клубами —
ни сна,
 ни пути,
 ни красы,
и ты на зверье над зубами
свои поднимаешь усы.

Ты видишь прижатые уши,
свинячьего глаза свинец,
шатанье слежавшейся туши,
обсосанной лапы конец.

Последние два шага,
последние два шага. . .

И грудь перехвачена жаждой,
и гнилостный ветер везде,
и старые сосны —
над каждой
по страшной пылает звезде.

1929

84. ЛЕСНОЙ ПОЖАР

Июлю месяцу не впервой
давить меня тяжелой пятой,
ловить меня, окружая травой,
томить меня духотой.

Я вижу, как лопнула кожура
багровых овощей, —
на черное небо пошла жара,
ломаю уклад вещей.

Я задыхаюсь в час ночной
и воду пью спеша,
луна — как белый надо мной
каленный край ковша.

Я по утрам ищу. . . увы. . .
подножный корм коню —
звон кругом
от лезвий травы,
высохшей на корню.

И вот
начинает течь смола,
обваривая мух,
по ночам выходит из-за угла
истлевшей падали дух.
В конце концов
половина зари
отваливается дрожа,
болото кипит —
на нем пузыри,
вонючая липкая ржа, —
и лес загорается.
Дует на юг,
поглубже в лес ветерок,
дубам и осинам
приходит каюк —
трескучей гибели срок.

Вставай,
поднимайся тогда,

ветлугай,
с водою иди на огонь,
туши его,
задуши,
напугай,
гони дымок и вонь.
Копай топорами широкие рвы,
траву губи на корню,
чтобы нельзя по ключьям травы
дальше лететь огню.
Чтобы между сосновых корней
с повадкой лесного клеща
маленькое семейство огней
не распухало, треща.

Вставай,
поднимайся —
и я за тобой,
последний леса жилец,
иду вперед с опаленной губой
и падаю наконец.

Огонь проходит сквозь меня.
Я лег на пути огня,
и падает на голову головня,
смердя,
клокоча
и звеня.

Вот так прожить
и так умереть,
истлеть, рассыпаясь в прах,
золою лежать
и только шипеть,
пропеть не имея прав.

И новые сосны взойдут надо мной,
взметнут свою красу,
я тлею и знаю —
всегда под сосной,
всегда живу в лесу.

35. ОДНАЖДЫ НОЧЬЮ

Вот сумрак сер,
и соловьи
в кустарниках
и там —
за мной,
где я,
где песни мои, —
летают по пятам.
По вечерам
по пустырям,
по всей земле кругом
в обычном счете — тарарам,
в конечном счете — гром.
И, вдохновляем соловьем,
гремящим при луне,
я запеваю о твоём
отношении ко мне.
И снова на бумаге клочок
моих любовных стихов,
идет высокопарный слог
до первых петухов.
До первых петухов — затем
перемена тем.
Курятника тяжелый дух,
встает во тьме петух.
Раздуто горло,
страшен вид,
изнеможден вконец,
пернатый зверь ревет, хрипит,
герой,
божок,
самец.
Хвостов огромные костры
летят на страх врагам,
и перья падают, пестры,
чадя, к моим ногам.
Его судьба — моя судьба,
в лесу моя страна,
и злом набитые зоба,
и хрипнет горло, как труба,

и сосны
и луна.
И утро белое встает
сегодня, как вчера, —
сегодня, как вчера, и вот
достоинство утра.
В работе наших рук оно,
а руки — вот они,
оно порой заключено
в зажиме пятерни.
А руки — вот они. С пяти,
с пяти часов утра
они в работе, как в пути,
до вечера, до десяти,
сегодня, как вчера.
И снова над столом моим,
над бестолочью снов
бессонницы табачный дым,
основа всех основ.
Моей страны высокий дух,
стихи
и, наконец,
тяжелый, пламенный петух,
герой,
божок,
самец.
Потом и он идет во тьму
и пропадет совсем,
огромный,
золотой, — кому
я здесь обязан всем.

1929—1930

36. ЧАЕПИТИЕ

Блаженство сельское — попить чайку. . .

В. Нарбут

Как медная туча, шипя и сгорая,
на скатерти белой владыча с утра,
стоит самовар — и от края до края
над ним деревенские дуют ветра.

Последняя чаша багрового чая —
над чашею дым, пузырьки по бокам,
фигуры из пара, томясь и сучая,
гонимы ветрами, идут к облакам.
Блаженство тяжелое — яйца и масло,
холодные крынки полны молока,
и пот прошибает, пока не погасло
светило или не ушло в облака.
Пока не свистят над стеною деревья
о жизни иной, о любви городской,
пока опаленная солнцем деревня
объята работой и смертной тоской.
Но вечер настанет — и в этом пейзаже
все краски темны, очертанья слабы,
и скучно презрение выразить даже
ленивым движением нижней губы.
Во веки веков осужденный на скуку,
на психоанализ любовных страстей,
деревня — предвижу с тобою разлуку, —
внезапный отлет одичавших гостей.
И тяжело подумать — бродивший по краю
поемных лугов, перепутанных трав,
я все-таки сердце и голос теряю,
любовь и дыханье твое потеряв.
И жизнь тяжела — наступает кончина
благих помышлений, юдоли земной,
твоей бороды золотая овчина,
как облако зноя, стоит предо мной.
Стоят омота с лиловатым отливом,
речные глубоко мерцают огни,
в купанье, в тоске, в разговоре шутилом
проходят мои безвозвратные дни.
Деревня российская — облик России,
лицо, опаленное майским огнем,
и блудного сына тропинки косые —
скитанья мои, как морщины, на нем...

<1930>

87. ВОЙНА

Я снова тебя беспокою, жена,
Неслаженной песней, не славной,
И в черные дебри несчастий она
Уходит от буквы заглавной.
Жена моя!
Видишь ли — мне не до сна,
Меня подозренье тревожит.
Жена моя!
Белая полночь ясна,
Она меня спрятать не может,
Она застывает, над миром вися,
И старые ставни колышет,
Огромная вся и ненужная вся,
Она ничего не услышит.
И звякнет последняя пуля стрелка,
И кровь мою на землю выльет;
Свистя, упадет и повиснет рука,
Пробитая в локте навывлет.
Или — ты подумай —
Сверкнет под ножом
Моя синеватая шея.
И нож упадет, извиваясь ужом,
От крови моей хорошея.
Потом заржавеет,
На нем через год
Кровавые выступят пятна.
Я их не увижу,
Я пущен в расход —
И это совсем непонятно.
Примятая смертью, восходит трава,
Встает над полянами дыбом,
Моя в ней течет и плывет голова,
А тело заброшено рыбам.
Жена моя!
Встань, подойди, посмотри,
Мне душно, мне сыро и плохо.
Две кости и череп,
И черви внутри,
Под шишками чертополоха.
И птиц надо мною повисла толпа,

Гремя составными крылами.
И тело мое,
Кровожадна, слепа,
Трехпалыми топчет ногами.
На пять километров
И дальше кругом,
Шипя, освещает зарница
Насильственной смерти
Щербатым клыком
Разбитые вдребезги лица.
Убийства с безумьем кромешного смель,
Ужасную бестолочь боя
И тяжкую злобу, которая здесь
Летит, задыхаясь и воя,
И кровь на линючие травы лия
Свою золотую, густую.
Жена моя!
Песня плохая моя,
Последняя,
Я протестую!

<1930>

38. ВОЕННАЯ ПЕСНЯ

Как на ворога, на гада,
через дым, через поля
вышла конная бригада,
прахом по полю пыля.

Ну — скажу вам — публика!
Ей ли тужить?
За спиной республика
продолжает жить.

Зарево кровью
заливает их,
Советская Республика,
сыновей твоих.

Покачнулись конники,
охнули бойцы,

грянули гармоника
тогда во все концы.

— Юнкера-голубчики,
напомажен чуб,
чубарики, чубчики,
вам карачун.

Мало мы трепали вас,
господа паны,
стукнем черепами вас,
сукины сыны.

Айда, бойцы,
заряди наганы,
во все концы
шевели ногами. . .

Так летели вдаль они,
через все мосты,
нарядив медалями
конские хвосты.

Нарядив погонами
собачьи зады —
хвастая погонями
на всякие лады.

Лошадей не пятили,
падая в дыму,
все мои приятели —
один к одному.

Ну — скажу вам — публика!
Ей ли тужить?
За спиной республика
продолжает жить. . .

1930

До земли опуская длани,
сам опухший, как бы со сна,
он шагает — управделами, —
и встречает его жена.

Голубые звенят тарелки,
половик шелестит под ногой,
на стене часовые стрелки
скучно ходят одна за другой.

И тускнеют цветы на обоях
от клопиной ночной беды —
вы спокойны,
для вас обоих
время отдыха и еды.

Сам поест
и уйдет за полог,
сон приходит, сопя и гремя,
этот вечер недорог и долог,
этот сумрак
стоит стоймя.

Что за черт...
За стеной фортепяно,
звезды ползают,
сон в саду,
за твоею тоской, Татьяна,
неожиданно я приду.

Намекну, что хорошее лето,
замечательно при луне,
только знаю, что ты на это
ничего не ответишь мне.

Что же ты?
Отвечай со зла хоть,
стынут руки твои, как медь, —

научилась ли за год плакать,
разучилась ли за год петь?

Скажешь:

— Надо совсем проститься,
я теперь не одна живу...
Все же с кофты твоей из ситца
лепестки упадут в траву.

И завянут они, измяты,
и запахнут они сейчас —
этот запах любви и мяты
на минуту задушит нас.

И уйду я, шатаясь пьяно,
а дорога моя тесна:
не до сна мне теперь, Татьяна,
года на три мне не до сна.

1930

40. ДЕД

Что же в нем такого —
в рваном и нищем?
На подбородке — волос кусты,
от подбородка разит винищем,
кислыми щами
на полверсты.

В животе раздолье —
холодно и пусто,
как большая осень
яровых полей...
Нынче — капуста,
завтра — капуста,
послезавтра — тех же щей
да пожиже влей.

В результате липнет тоска, как зараза,
плачем детей
и мольбою жены,
на прикрытье бедности

деда Тараса
господом богом
посланы штаны.
У людей, как у людей, —
летом тянет жилы
русский, несуразный, дикий труд,
чтобы зимою со спокойем жили —
с печки на полати, обычный маршрут.

Только дед от бедности
ходит — руки за спину,
смотрит на соседей:
чай да сахар,
хлеб да квас... —
морду синеваую, тяжелую, заспанную
морду выставляя напоказ.

Он идет по первому порядку деревни —
на дороге сыпано золото осин.
— Где мои соседи?
— В поле, на дворе они,
Якова Корнилова разнесчастный сын.

И тебе навстречу,
жирами распарена,
по первому порядку своих деревень
выплывает туша розовая барина —
цепка золотая по жилету, как ремень.

Он глядит зелеными зернышками мака,
он бормочет — барин — раздувая нос:
— Здравствуй, нерадивая собака,
пес...

Это злобу внука,
ненависть волчью
дед поднимает в моей крови,
на пустом животе ползая за сволочью:
— Божескую милость собаке яви...

Я ее, густую, страшной песней вылью
на поля тяжелые,

в черный хлеб и квас,
чтобы встал с колен он,
весь покрытый пылью,
нерадивый дед мой —
Корнилов Тарас.

1930

41. КАЧКА НА КАСПИЙСКОМ МОРЕ

За кормою вода густая —
солона она, зелена,
неожиданно вырастая,
на дыбы поднялась она,
и, качаясь, идут валы
от Баку
до Махач-Калы.

Мы теперь не поем, не спорим —
мы водою увлечены;
ходят волны Каспийским морем
небывалой величины.

А потом —
затишают воды —
ночь каспийская,
мертвая зыбь;
знаменуя красу природы,
звезды высыпали, как сыпь;
от Махач-Калы
до Баку
луны плавают на боку.

Я стою себе, успокоясь,
я насмешливо щурю глаз —
мне Каспийское море по пояс,
нипочем. . .
Уверяю вас.

Нас не так на земле качало,
нас мотало кругом во мгле —

как пена белы —
и качаются наши песни
от Баку
до Махач-Калы.

1930

Каспийское море — Волга

42—50. АПШЕРОНСКИЙ ПОЛУОСТРОВ

Путевые стихи

Д. А. Левоневскому

1

ВСТУПЛЕНИЕ

Я думал, что чашки бараньего жиру
разносит по саклям восточный транжир...
Молчанье.

Мечети стоят по ранжиру,
волнуемы ветром, висят паранджи.

Ковров размазня.

В лиловатых халатах,
в узорных шальварах,
в козловых туфлях,
один за другим
азиаты, как в латах.

И звезды висят наподобие блях...

Но главное — жены...

Сокрыты от взора.
Лежат и не лезут, сопя, на рожон,
питают детишек;
домашняя ссора —
одно развлеченье потеющих жен.

Таким представлялся
вонючий и пестрый
восточный балет,
расписной кабачок,

и, врезанный в небо, жестянкою острой
звенел полумесяц — священный значок.

Тяжелые губы
упали на лица,
и брови — лиловые эти мазки...
Я выехал вечером —
пела столица,
состав откачнулся, стуча, от Москвы.

2

ЦАРИЦА ТАМАРА

Конец предисловью —
и вылетит повесть,
навстречу — другая
рывками, броском,
как этот курьерский
исхлестанный поезд
ветрами, ночами,
каленным песком.

Кавказ предо мною —
ни много, ни мало,
до облачной вылинявшей кисеи
под небо любая гора поднимала
крутые, огромные плечи свои.

Мне снова мерещатся —
 скалы, руины,
оскалы ущелий...
— Послушай, гора,
она наступает —
 твоей героини
царицы Тамары ночная пора.

Красивая баба —
 недаром про эти
любовные козни,
 монисты до пят,
глазастые под нос бормочут поэты,
туристы с российской равнины хрипят.

Начну по порядку —
 за Пушкиным сразу,
гремя и впадая в лирический бред,
поет про Тамару,
 разносит заразу
второй по ранжиру российский поэт.

Рыданий хватает по горло —
 однако
другая за Лермонтовым с рывка
огнем налетает строка Пастернака,
тяжелая, ломаная строка.

Царица Тамара —
 мечтаний причал,
и вот, грохоча и грубя,
Владимир Владимирович зарычал,
за груди беря тебя.

Так и я бы по традиции,
забулдыга, поэт, простак,
мог бы тоже потрудиться
и стихами и просто так.

Делу час, а потехе время:
я бы, млея, как пень, стоял
в этом затхлом тумане гарема,
в тьме ковров
и в пуху одеял.

Пел бы песни я неустанно,
о Тамаре
и о горах.
Над долинами Дагестана
рассыпался б и в пух и в прах.

Небывалая поза,
 бравата,
а дорвался б —
доелся б до рук...

Но царица теперь старовата —
я молчу... не люблю старух:

ВАГОННЫЙ БЫТ

А поезд качается дальше и дальше,
ночь замечает следы,
направо — гор голубые залежи,
налево — залежь воды.

Длинное утро,
вечер долог,
на ночь подъем крутой,
сосед по купе — инженер-геолог —
мутной оброс бородой.

Сутки,
вторые сутки,
третьи —
ночь глубока и густа,
стонем и фыркаем:
— Ох уж эти
курьерские поезда!

И снова — лежим на спине, как малютки,
надоест — лежим на боку...
Но вот инженер на пятые сутки
кричит:
— Подъезжаем, Баку!

БАКУ

Ты стоишь земли любимым сыном —
здоровяк, со всех сторон хорош,
и, насквозь пропахший керосином,
землю по-сыновьему сосешь.

Взял ее ты в буравы и сверла,
хорошо, вплотную, глубоко,
и ползет в нефтепровода горло
черное густое молоко.

Рванный ветер с моря,
уйма вышек,
горькая каспийская волна,
ты свои четыре буквы выжег
в книге Революции сполна:

Ты стоишь — кормилец и поилец
всех республик и всего и вся —
трактор из Путиловского вылез,
в жилах молоко твое неся.

Ждет тебя земли одна шестая,
СТО, ВСНХ, НКПС —
наше сердце,
наша кровь густая,
наш Баку — ударник и боец.

Полный ход.
Старания утроим —
затхлый пот, усталость — хоть бы хны...
промысла Азнефти —
строй за строем —
бухта Ильича,
Сураханы.

Сабунчи пригнули шею бычьёю —
пусть подъем к социализму крут,
вложим пятилетнюю добычу
в трехгодичный драгоценный труд.

Пот соревнованья, поединка
выльет нефтеносная земля —
и закисла морда Детердинга —
морда нефтяного короля.

Он предвидит своего оплота
грохот,
а спасенье, как во сне, —
бьет ударных буровых работа,
выше поднимающих Азнефть.

Грохот неминуемого краха,
смена декораций и ролей —
бей, Баку, —
мы за тобой без страха
перережем к черту королей.

Чтобы кверху вылетом набата,
свернутой струей подземных сил
над тобой фонтан Биби-Эйбата
торжество республик возносил.

5

ОККУПАЦИЯ БАКУ

Правительство временное —
временная ширма,
вторая революция —
ширма на боку...

Англия понюхала —
пахнет жирно:
разыграна по нотам
оккупация Баку.

Гладкое, жесткое, как яйцо
дубовое, как бадья —
главное действующее лицо,
синее от бритья.

За ним в мундирах узеньких
на выходных ролях
русские союзники
по улицам пылят.

Какая вас, Билл Окинсы,
погода занесла?
Они идут во все концы
на нефтепромысла.

Дано тебе приданое —
невесте молодой,
так и владей, Британия,
не нефтью,
а водой.

8

РЕЗЮМЕ

Из Баку уезжая,
припомню, что видел
я — поклонник работы,
войны и огня.
В храме огнепоклонников
огненный идол
почему-то
не интересуется меня.

Ну — разводят огонь,
бьют башкою о камень,
и восходит огонь
кверху,
дымен, рогат.
— Нет! — кричу про другой,
что приподнят руками
и плечами
бакинских ударных бригад.

Не царица Тамара,
поющая в замке,
а тюрчанки, встающие
в общий ранжир.
Я узнаю повсюду их
по хорошей осанке,
по тому, как синеют
откинутые паранджи.

И, тоску отменяя,
заикнешься, товарищи, разве
про усталость, про то,
что работа не по плечам?

Черта с два!
Это входит Баку в Закавказье,
в Закавказье, отбитое у англичан.

9

ОТПЛЫТИЕ

Ветер загремел.
Была погодка аховая —
серенькие волны
ударил враз,
но пристань отошла,
платочками помахивая,
благими пожеланиями
провожая нас.

Хватит расставанья.
Пойдемте к чемоданам,
выстроим, хихикая,
провизию в ряды —
выпьем телиани,
что моря, вода нам?
Выплывем, я думаю,
из этой воды.

Жить везде прекрасно:
на борту промытом,
чуть поочухавшись
от разной толчеи,
палуба в минуту
обрастает бытом —
стелет одеяла,
гоняет чай.

Слушайте лирические
телеграммы с фронта —
небо велико,
и велика вода.
Тихо по канату горизонта
нефтеналивные балансируют суда.

И ползут часы,
качаясь и тиктикая,
будто бы кораблики,
по воде шурша,
и луна над нами
просияла тихая —
в меру желтоватая,
в меру хороша.

Скучно наблюдая
за игрой тюленьей,
мы плывем и видим —
нас гнетут пуды
разных настроений,
многих впечатлений
однородной массы
неба и воды.

Хватит рассусоливать —
пойдемте к чемоданам,
выстроим, хихикая,
провизию в ряды,
выпьем телиани, —
что моря, вода нам?
Выплывем, — я думаю, —
из этой воды.

1930—1931

Каспийское море. Волга. Ленинград

51. ПУЛЕМЕТЧИКИ

1

Багрового солнца над нами шары,
под нами стоит лебеда,
в кожухе, мутная от жары,
перевернулась вода.

Надвое мир разделяет щит,
ленты — одна за другой...
Пуля стонет,

пуля трещит,
пуля пошла дугой.

Снова во вражеские ряды
пуля идет, рыча, —
если не будет у нас воды,
воду заменит моча.

Булькая, прыгая и звеня,
бей, пулемет, пока —
вся кавалерия на ко-ня...
Пехота уже у штыка.

Все попадания наши верны
в сумрак, в позор земной —
красное знамя моей страны
плавает надо мной.

Нашу разрезать хотят страну,
высосать всю до дна —
сохнет, затоптанная, она —
сердце мое в плену.

В наши леса идет напролом
лезвие топора —
колониальных дел мастера
двигают топором.

Желтый сапог оккупанта тяжел,
шаг непомерно быстр,
синь подбородок,
зуб — желт,
штык,
револьвер,
хлыст...

2

Слушай, Англия,
Франция,
слушай,
нам не надо вашей земли,

но сегодня
(на всякий случай)
припасли мы команду:
— Пли...

И в краях, зеленых, отчих,
посмотрев вперед,
заправляет пулеметчик
ленту в пулемет.

Снова жилы у нас распухли,
снова ядрами кулаки —
если вы на Союз Республик
ваши двигаете полки.

Переломаны ваши древки,
все останутся гнить в пыли —
не получите нашей нефти,
нашей жирной и потной земли.

Есть еще запрещенная зона —
наши фабрики,
наш покой...
Наземь выплеснете знамена
вашей собственной рукой.

8

Солнце висит,
стучит лебеда —
кончена песня моя:
в коже не пересохла вода,
ленты лежит змея.

И в краях зеленых, отчих,
посмотрев вперед,
заправляет пулеметчик
ленту в пулемет.

<1931>

52. РАССКАЗ МОЕГО ТОВАРИЩА

1

Выхожу на улицу —
рваною тучей,
лиловатым небом,
комьями огня,
наказаньем-скукою
и звездой падучей
встретила полночная
природа меня.

Поднял воротник,
надвинул на лоб кепи,
папиросу в зубы —
шагаю, пою...
Вижу —
развалились голубые степи,
конница в засаде,
пехота в бою.

Командира роты
разрывает к черту,
пронимает стужей,
а жары — пуды.
Моему коню
слепая пуля в морду,
падают подноски
патронов и воды.

Милая мама,
горячее дело.
Чувствую —
застукают меня на этот раз!
рухну я, порубан,
вытяну тело,
выкачу тяжелый
полированный глаз.

Пусть меня покончат —
главная обида,

что, сопровождаемые
жирной луной,
сохлые звезды
ужасного вида
тоже, как шрапнели,
рвутся надо мной.

И темнеет сразу —
только их и видели —
в темноте кудрявые
чахнут ковыли,
щелкают кузнечики,
где-то победители,
как подругу, под руку
песню повели.

я

Вот жарыща адова,
жарь, моя,
Красная...
Ать, два...
Армия.

Пулеметчики-чики,
бомбометчики-чики,
все молодчики-чики
начеку.
Всыпали, как ангелу,
господину Врангелю,
выдали полпорции
Колчаку.

Потихоньку в уголки
смылись белые полки,
генералы-сволочи
лязгают по-волчьи.

А кругом по округу
стон стоит —
мы идем до окрику:
— ...Стой...
— ...Свои...

Дорогие...
Ох, пора —
душит меня,
убирайте дóктора,
подавай коня...

Занавеска белая,
и сестра маячит,
червячки качаются,
строятся в ряды —
краем уха слышу:
— Ничего не значит,
успокойся, парень,
выпей воды...

4

Вынес огнестрельную,
рваную одну —
голова лохматая
стянута швом,
все воспоминания
уходят ко дну,
всякая боль
заживет на живом.

Выхожу на улицу —
кости стучат,
сердце качается,
мир в кулаке,
зубы — как собрание
рыжих волчат,
мышцы — как мыши
бегают в руке.

Так что не напрасно
бился я и жил я —
широкая рука моя ряба,
жилы, набитые кровью,
сухожилья,
так что наша жизнь —
есть борьба.

<1931>

день за днем золотое время
пролетает шаля-валя.

— Купите бублики,
гоните рубрики, —
песня аховая течет,
и в конце концов от республики
мы получим особый счет.

А по счету тому огулом
по заслугам и по делам
нашу жизнь назовут прогулом
с безобразием пополам.

Скажет прямо республика:
— Слушай,
слушай дело, заткнись, не рычи, —
враг на нас повалился тушей,
вы же пьянствуете, трепачи.

Пота с кровью соленый привкус
липнет, тело мое грызя...
И отвесит потом по загровку
нам разá
и еще разá.

Всё припомнит — растрату крови,
силы, молодости густой,
переплеты кабацкой кровли
и станков заржавелый простой.

Покачнемся и скажем:
— Что ж это
и к чему же такое всё,
неужели идожено, прожито
понапрасну, ни то ни сё?

Ни ответа,
ни теплой варежки,
чтобы руку пожала нам,
отвернутся от нас товарищи
и посмотрят по сторонам.

Да жена постареет за ночь,
может, за две — не за одну.
Милый тесть мой,
Иван Иванович,
не сберег ты
мою жену.

<1931>

54. СМЕРТЬ

Может быть,
а может быть — не может,
может, я живу последний день,
весь недолгий век мой — выжат, прожит,
впереди тоска и дребедень.

Шляпа,
шлепанцы,
табак турецкий,
никуда не годная жена,
ночью — звезды,
утром — ветер резкий,
днем и ночью — сон и тишина.

К чаю — масло,
и компот к обеду,
— Спать, папаша! — вечером кричат...
Буду жить, как подобает деду,
на коленях пестовать внучат.

День за днем,
и день придет, который
всё прикончит — и еду и сны;
дальше — панихида, крематорий —
все мои товарищи грустны.

И они ногою на погосте
ходят с палочками, дребезжат,
и мундштук во рту слоновой кости
деснами лиловыми зажат.

За окном — по капле, по листочку
жизнь свою наращивает сад;
всё до дна знакомо — точка в точку,
как и год и два тому назад.

День за днем —
и вот ударят грозы,
как тоска ударила в меня,
подрезая начисто березы
голубыми струйками огня.

И летят надломанные сучья,
свернутая в трубочку кора,
и опять захлопнута до случая
неба окаянная дыра.

Но нелепо повторять дословно
старый аналогии прием,
мы в конце, тяжелые как бревна,
над своею гибелью встаем.

Мы стоим стеною — деревьями,
наши песни, фабрики, дела,
и нефтепроводами и рвами
нефть ли, кровь ли наша потекла.

Если старости
пройдемся краем,
дребезжа и проживая зря,
и поймем, что — амба — умираем,
пулеметчики и слесаря.

Скажем:
— Всё же молодостью лучшая
и непревзойденная была
наша слава,
наша Революция,
в наши воплощенная дела.

<1931>

55. ВЕСЕННИЕ ТЕЗИСЫ

И капéль и оттепель,
окна ясны,
умирает со смеху
веселый воробей, —
уходите восвояси, заморозки —
вот теперь
будем разговаривать
по поводу весны.

Весна как весна —
чистая природа,
солнце в три ручья,
просто — три ручья,
птичья услада,
красная погода,
хочется дурачиться
вроде дурачья.

Стихи, предположим,
с пафосом ложным,
с описаньем разным
весны как весны,
как времени года —
с солнышком красным,
в небо заброшенным —
читатель, возьми. . .

Но читатель — умница,
нос воротит,
сердится читатель,
под нос говорит:
— Что мне природа,
девичий ротик,
прочий весенний
сплошной колорит?

Возьми хрестоматию —
там тебе Фета
описанья сладкие

для птичьего ума —
весна как весна,
лето как лето,
осень как осень,
зима как зима.

О другом порядке
заяви в стихе...
Говори:

весенние
легкие птички, —
очень приятно,
но дряблой сохе
весна — не весна
(соху поставь в кавычки).

Будет толк и в вашем
лирическом письме —
если вы скажете,
как напролом
по весне колхозную
землю мы пашем,
ходят комбайны,
шевелия крылом.

Тезисы эти
меня, как рыбу в воду,
сунули во первых строках письма.

Правда — что природа?
Мы видели природу,
а весна в колхозе —
вот это весна.

<1931>

56. ПОДРУГА

Я и вправо и влево кинусь,
я и так, я и сяк, но, любя,
отмечая и плюс и минус,
не могу обойти тебя.

Если снова
 лиловый, ровный,
ядовитый нахлынет мрак —
по Москве,
 Ленинграду
 огромной,
тяжкой бомбой бабахнет враг...

Примет бедная Белоруссия
стратегические бои...
Выйду я,
 а со мною русая
и товарищи все мои.

Снова панскую спесь павлинью
потревожим, сомнем, согнем,
на смертельную первую линию
встанем первые под огнем.

Так как молоды,
 будем здорово
задаваться,
 давить фасон,
с нами наших товарищей прорва,
парабеллум
 и смит-вессон.

Может быть,
 погуляю мало с ним, —
всем товарищам и тебе
я предсмертным
 хрипеньем жалостным
заявлю о своей судьбе.

Рухну наземь —
 и роща липовая
закачается, как кольцо...
И в последний,
 дрожа и всхлипывая,
погляжу на твое лицо.

<1931>

57. ПИСЬМО НА ТОТ СВЕТ

Вы ушли, как говорится, в мир иной...

В. В. Маяковский

1

Локти в стороны, боком, натужась,
задыхаясь от гонора, вы
пробивались сквозь тихий ужас
бестолковой любви и жратвы.

Било горем, тоской глушило
и с годами несло на слом,
но под кожей крест-накрест жила
вас вязала морским узлом.

Люди падали наземь от хохота,
от метафор не в бровь, а в глаз,
и огромная желтая кофта —
ваше знамя — покрыла вас.

Сволочь разную гробивший заживо,
вы летели — ваш тяжек след,
но вначале для знамени вашего
вы не тот подобрали цвет.

После той смехотворной кофты
поднимаете к небу вы
знамя Нарвской заставы и Охты,
знамя Сормова и Москвы.

И, покрытая вашим голосом,
громыхая, дымя, пыля,
под заводами и под колосом
молодая встает земля.

2

Как на белогвардейца — разом,
без осечки,
без «руки вверх»,
вы на сердце свое, на разум
поднимаете револьвер.

и опять застыло, словно лужица,
неприятное твое лицо.

Этой ночью,
что упала замертво,
голубая — трупа голубей, —
ни лица, ни с алыми губами рта,
ничего не помню, хоть убей. . .

Я опять живу
и дело делаю —
наплевать, что по судьбе такой
просвистал
и проворонил белую,
мутный сон,
сомнительный покой. . .

Ты ушла,
тебя теперь не вижу я,
только песня плавает, пыля, —
для твоей ноги
да будет, рыжая,
легким пухом
рыхлая земля.

У меня не то —
за мной заметана
на земле побывка и гульба,
а по следу высыпала — вот она —
рота песен,
вылазка,
пальба. . .

Мы не те неловкие бездельники,
невысок чей сиплый голосок, —
снова четверги и понедельник
под ноги летят наискосок,
стынут пули,
пулемет, тиктикая,
задыхается — ему невмочь, —

на поля карабкается тихая,
притворяется, подлюга ночь.

Мне ли помнить эту, рыжеватую,
молодую, в розовом соку,
те года,
под стеганую ватую
залежавшиеся на боку?

Не моя печаль —
путями скорыми
я по жизни козырем летел. . .

И когда меня,
играя шпорами,
поведет поручик на расстрел, —
я припомню детство, одиночество,
погляжу на ободок луны
и забуду вовсе имя, отчество
той белесой, как луна, жены.

<1931>

59. СЛОВО ПО ДОКЛАДУ ВИСС. САЯНОВА О ПОЭЗИИ НА ПЛЕНУМЕ ЛАПП

.
Теперь по докладу Саянова
Позвольте мне слово иметь.

Заслушав ученый доклад, констатирую:
была канонада,
была похвала,
докладчик орудовал острой сатирой,
и лирика тоже в докладе была.

Но выслушай, Витя,
невольный наказ мой,
недаром я проповедь слушал твою,
не знаю — зачем заниматься ужаеной
стрельбою из пушки по соловью?

пасутся стадами левые Левины,
лавируют правые Друзины там,

трясутся, лепечут: да я не я... я не я...
ведь это не мой кругозор, горизонт...
Скучает Горелов, прося подаяния
на погорелое место «Литфронт».

И киснет критическое молоко в них,
но что же другого им делать троим?
Вот разве маниакальный полковник
их

поведет
за конем
своим.

А нам наплевать —
неприятен, рекламен
кому-то угодный критический вой,
и я — если мне позволяет регламент —
продолжу монолог растрепанный свой.

Мы подняли руки в погоне за словом,
мы пишем о самых различных вещах,
о сумрачных предках,
о белых,
о небе лиловом,
зеленых
и синих прыщах,

о славных парнишках, —
и девочкой грустной
закончим лирическую дребедень,
а пар «чаепитий», тяжелый и вкусный,
стоит, закрывая сегодняшний день.

Обычный позор стихотворного блюда —
на первое — выучка,
звон,
акварель,

Рифм стальные лезвия
свистят:

«Войне — война», —
чтоб о нас впоследствии
вспомнили сполна.

.....

Сегодня ж — в бездействии рифмы мои,
и ржавчиной слово затруто,
гляди — за рекой не смолкают бои
чугунолитейного фронта.

Мне горько —
без нашего ремесла,
без нашего нужного вымысла
республика славу
качала, несла
и кверху огромную вынесла.

Сегодня без лишнего слова мы
перед лицом беды
республикой мобилизованы
и выстроены в ряды.

Ударим на неприятеля —
ударим — давно пора —
сегодня на предприятия
ударниками пера.

Без бутафории, помпы,
без конфетти речей,
чтоб лозунги били, как бомбы,
вредителей и рвачей.

Чтоб рифм голубые лезвия
взошли надо мной, над тобой,
Подразделение Поэзия,
налево
и прямо в бой.

<1981>

60. ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО МОИМ ПРЯТЕЛЯМ

Всё те же мы: нам целый мир — чужбина;
Отечество нам Царское Село.

А. С. Пушкин

1

Мне дорожка в молодость
издавна знакома:
тут смешок,
 тут выпивка,
 но в конце концов —
все мои приятели —
всё бюро райкома —
Лешка Егоров,
Мишка Кузнецов,
комсомольцы Сормова, —
 ребята —
 иже с ними.
Я — такой же аховый —
парень-вырви-гвоздь...
Точка —
 снова вижу вас
глазами косыми
через пятилетье, большое насквозь.
Ох, давно не виделись, чертовы куклы, мы,
посидеть бы вместе,
покурить махры,
вспомнить, между прочим,
что были мы пухлыми
мальчиками-с-пальчиками —
не хухры-мухры.

В голос песни пели,
 каблуками стукали,
только от мороза на щеке слеза.
Васька Молчанов —
ты ли мне не друг ли?
Хоть бы написал товарищу разá.

Как писали раньше:
 так-то вот и так-то...
живу, поживаю —
как на небеси...

думку о разлуке вытрави и выжги,
дело — наша встреча,
веселый разговор.

Мы повсюду вместе —
мальчики что надо,
будьте покойнички,
каждый — вырви-гвоздь...
«Молодость и дружба» — сквозная бригада
через пятилетье, большое насквозь.

Всё на плечи подняли
и в работу взяли,
с дружбы и молодости
ходим, как с туза...

Милые приятели —
вы ли не друзья ли?
Хоть бы написали товарищу разá.

<1931>

61. СКАЗАНИЕ О ДВУХ ТОВАРИЩАХ

1

До дому ли, в бой ли —
вдаль на всех парах —
запевала запеваёт:
— Ребятишки, ой ли...
были два товарища...
(бубен-чебурах...)

С копылок повалишься,
познаешь тоску —
были два товарища,
были два товарища,
были два товарища —
в одном они полку.

Ехал полк на Врангеля,
враг трещал по швам —

Франция и Англия —
наше вам.

Наше вам, капиталист,
международный вор,
получай — назад вались —
веселый разговор.

Песня, гром пожарища,
рубка на скаку —
были два товарища,
были два товарища,
были два товарища
в одном и том полку.

2

Одного зовут Ерема,
а другого звать Фома —
от пристанища до грома
за товарищами тьма.

Много троп изъезжено
большой стороны —
у Еремы есть жена,
Фома — без жены.

А по полю голому
враги без голов —
поднимают голову,
на пику наколов.

Ох, давно не видано
этакой жары:
видимо-невидимо —
всё голов шары.

Туловища прочие
лежат как дрова,
их покрыли ночи,
занесла трава.

Животы распороты,
сукровицы тьма —
распахнули ворота
Ерема и Фома.

3

Свищут, едут далее,
пугают ворон —
пожарища алые
с четырех сторон.

Ветерок неистовый
летит без ума —
знай себе посвистывай
по-птичьему, Фома.

Знай себе отмахивай
воронье рукой —
очень парень аховый,
толстый такой.

А за ним Ерема,
пику в стремя —
плачет: как-то дома
скучает жена!

Ой, скорей до дому,
где наши дома...

Молча Ерему
слушает Фома.

Много троп изъезжено
большой стороны —
у Еремы есть жена,
Фома — без жены.

Ни кола ни двора,
только напролом
на врага...
Да — ура —
в горле колом.

Вот пуля просвистела,
вот пуля просвистела,
вот пуля просвистела,
и падает Фома.

Земля — она постеля
для всякого дерьма.

И ничего не значит,
не жалко никому,
никто не заплачет,
не позовет Фому.

Только друг Ерема,
приехав домой,
с молодой дома
плачет над Фомой.

Право, жалко парня —
парень боевой —
Красная Армия,
выкормыш твой.

Да меня эта тьма
сводит с ума...

Буду жить как Фома,
гибнуть как Фома.

1931

62. РАССКАЗ КОННОАРМЕЙЦА

Смешная эта фабула,
но был пример такой:
лошадка у меня была —
мамаша, а не конь.
Что шкура или грива —
мягка, как у кота.

Сначала у начдива
была лошадка та.
Не лошадь — чистый паныч,
нога резва, тонка.

Прошу:

— Иван Степаныч,
продайте мне конька.
Взамен возьмите седла —
порадуйте меня. . .

А он смеется подло —
не продает коня.

— Возьмите душу разве?

Бери ее, пожа. . . —

Ему смешно, заразе, —
зачем ему душа?

Тогда рубаху в ленты —
не помню, как в бреду,
вставаю на коленки,
земной поклон кладу.

И говорю такое,
житье свое кляня,
что не найду покоя
от этого коня.

Ни на кого не глядя,
опять кричу, строптив:

— За что боролись, дядя,
за что в крови, начдив?

Тогда начдив поднимает плечи
и говорит, как режет. . . Умен:
— Об этом не может быть и речи,
Кручиненко Семен.

Нам надо для боя объединиться,
иначе нас расшибут по куску.
Кручиненко, как боевая единица,
прав не имеет впадать в тоску.

Ты молод, но всё же в твоём положении
обязан рассуждать умней —
понять, что мы идем в сражение
отнюдь не за коней.

Но ежели треба, скажу, обратно,
что мы получаем тысячи ран

за наше житье и за нашего брата,
за пролетария прочих стран.

Я руки повесил, как ива,
но вспомнил в ближайшем бою
тяжелую правду начдива
и страшную кривду свою.
Гляжу — на народ свободный
идет, ощерясь, как волк,
развернутый в лаву сводный
белогвардейский полк.
На шее на нашей охота
опять нарасти лишаём.
Я двигаю в битву — с налета
беру офицера живьем.
Загнал его начисто. Ложит
со страху, вонючий хорек.
Того офицера на лошадь,
как бабу, кладу поперек.
От раны или от злобы ли —
я чувствую, что ослаб,
ворочаю сразу оглобли
и двигаю конника в штаб.
А там хорошо ли, худо ль
воспринимают меня.
Хохочет начдив: «За удаль
бери моего коня».

Такие моменты были
за эту войну у нас.
Врага мы, конечно, били,
но это другой рассказ.

1931

63. ОКТЯБРЬСКАЯ

Поднимайся в поднебесье, слава, —
не забудем, яростью горя,
как Московско-Нарвская застава
шла в распоряженье Октября.

Тучи злые песнями рассеяв,
позабыв про горе и беду,
заходило Вася Алексеев
заряжал винтовку на ходу.

С песнею о красоте Казбека,
о царице в песне говоря,
шли ровесники большого века
добывать царицу и царя.

Потому с улыбкою невольной,
молодой с верхушки до подошв,
принимал, учитывая, Смольный
питерскую эту молодежь.

Не клади ей в зубы голый палец
никогда, особенно в бою,
и отцы седые улыбались,
вспоминая молодость свою.

Ты ползи вперед, от пуль не падай,
нашей революции краса.
Площадь перед Зимнею громадой
вспоминает наши голоса.

А министры только тары-бары,
кое-кто посмылся со двора.
Наши нападенья и удары
и сегодня помнят юнкера.

На фронтах от севера до юга
в непрерывном и большом бою
защищали парень и подруга
вместе Революцию свою.

Друг, с коня который пулей ссажен,
он теперь спокоен до конца:
запахали трактора на сажень
кости петроградского бойца.

Где его могила? На Кавказе?
Или на Кубани? Иль в Крыму?
На Сибири? Но ни в коем разе
это неизвестно никому.

Мы его не ищем по Кубаням,
мертвеца не беспокоим зря,
мы его запоем и вспомоем
новой годовщиной Октября.

Мы вспомоем, приподоем шапки,
на мгновение полыхнет огнем,
занесем сияющие шашки
и вперед, как некогда, шагнем.

Вот и вся заплаканная тризна,
коротка и хороша она, —
где встает страна социализма,
лучшая по качеству страна.

<1932>

64. ПРОДОЛЖЕНИЕ ЖИЗНИ

Я нюхал казарму, я знаю устав,
я жизнь проживу по уставу:
учусь ли, стою ль на посту у застав —
езде подчинен комсоставу.

Горит надо мною штыка острие,
военная дует погода, —
тогда непосредственное мое
начальство — товарищ комвзвода.

И я, поднимаясь над уймой забот,
я — взятый в работу крутую —
к тебе заявляюсь, товарищ комвзвод,
тебе обо всем рапортую.

И, помня наказ обстоятельный твой,
я верен, как пули комочек,
я снова в работе, боец рядовой,
товарищ, поэт, пулеметчик.

Я знаю себя и походку свою,
я молод, настойчив, не робок,
и если погибну, погибну в бою
с тобою, комвзвода, бок о бок.

Восходит сияние летнего дня,
хорошую красит погоду,
и только не видно тебя и меня,
товарищей наших по взводу.

Мы в мягкую землю ушли головой,
нас тьма окружает глухая,
мы тонкой во тьме прорастаем травой,
качаясь и благоухая.

Зеленое, скучное небытие,
хотя бы кровинкою брызни,
достоинство наше — твое и мое —
в другом продолжении жизни.

Всё так же качаются струи огня,
военная дует погода,
и вывел на битву другого меня
другой осторожный комвзвода.

За ними встревожена наша страна,
где наши поля и заводы:
затронута черным и смрадным она
дыханьем военной погоды.

Что кровно и мне и тебе дорога,
сиреной приглушенно воя,
громадною силой идет на врага
по правилам тактики боя.

Врага окружая огнем и кольцом,
медлительны танки, как слизи,
идут коммунисты, немея лицом, —
мое продолжение жизни.

Я вижу такое уже наяву,
хотя моя участь иная, —
выходят бойцы, приминая траву,
меня сапогом приминая.

Но я поднимаюсь и снова расту,
темнею от моря до моря.
Я вижу земную мою красоту
без битвы, без крови, без горя.

Я вижу вдали горизонты земли —
комбайны, качаясь по краю,
ко мне, задыхаясь, идут...
Подошли.
Тогда я совсем умираю.

<1932>

65. ФИЗКУЛЬТ-УРА!

Как значенье, вызов и победа
нашей славной жизни молодой —
колесо и звон велосипеда
и весла упругая ладонь.

Финиша летящая минута,
молодость легка и горяча —
силою надута, как надута
камера футбольного мяча.

Ветер свищет по морю и по лесу,
солнце кожу красит в новый цвет —
всё пригодно, всё идет на пользу,
ничего отброшенного нет.

Я не знаю, как сказать об этом
(речь моя корявая бедна), —
что загара красноватым цветом
вся покрыта лучшая страна!

Что моя излюбленная слава —
это не рифмованная цветь, —
это только званье центра-хава,
о котором следует запеть.

Не введи меня во искушенье,
критик, наставитель вечный мой,
ибо здесь возможно возраженье —
выпад легковесный, но прямой.

Получу критическую порку:
мне заявит критика сперва,
что такие дифирамбы спорту —
общие ненужные слова.

Что от диалектики далеко
пролегает мой прискорбный путь —
классовая спорта подоплека
мною не подмечена ничуть.

Томный критик, ты бессонной ночью
позабыл, что значит красота,
обнаружив собственный воочью
синеватый шарик живота.

Мне опять не впрок уроки эти, —
видно, я вступил в порочный круг, —
пусть грозят мне розовые плети
тоненьких твоих, непрочных рук.

Не тебе скакать блохой по классам
и стараться из последних сил, —
полным голосом, тяжелым басом
я тебе отвечу, мой зоил.

Я показывать наглядно буду —
сила посторонняя жива:
вот они огромные — по пуду —
накачали мышцы, буржуа.

Вот они пошли своим парадом
строю нашему наперекор,
недоросли вечные, а рядом
мировой качается рекорд.

Силы всесторонней не затронув,
нарушая собственный покой,
что их заставляет — чемпионов —
двигать только правую рукой?

Заявляю всем: плохая школа,
если результаты таковы,
что такие боги от футбола
абсолютно все без головы!

Так и получается калека,
словно по несчастью навек —
только четвертинка человека,
а отнюдь не целый человек.

Вот она тебе — основа класса —
заявляет прямо о себе
выставкою пушечного мяса
с ядовитой пеной на губе.

Мясники! И песня ваша спета,
и судьбина ваша нелегка,
и с пяти шестых земного света
вас рванет рабочая рука.

Мы пошли громадою — ограда,
лучшие республики сыны —
Всесоюзная спартакиада —
молодость великая страны.

И летят, развернутые в лаву,
песни молодые оттого,
что гордимся как один по праву
красными значками ГТО.

Это вам не бицепсы по пуду,
не рекордов ленты на виду —
это сила, годная повсюду,
годная к прекрасному труду.

<1932>

66

Большая весна наступает с полей,
с лугов, от восточного лога —
рыдая, летят косяки журавлей,
вонючая стынет берлога.

Мальчишки поют и не верят слезам,
девчонки не знают покоя,
а ты поднимаешь к раскосым глазам
двустволку центрального боя.

Весна наступает — погибель твоя,
идет за тобой по оврагу, —
ты носишь четырнадцать фунтов ружья,
табак, патронташ и баклагу.

Ты по лесу ходишь, и луны горят,
ты видишь на небе зарницу;
она вылетает — ружейный заряд, —
слепя перелетную птицу.

И, белый как туча, бросается дым
в болото прыжком торопливым,
что залито легким, родным, золотым
травы небывалым отливом.

И всё для тебя — и восход голубой
и мясо прекрасное хлеба, —
ты спишь одинок, и стоит над тобой,
прострелено звездами, небо.

Тоска по безлюдью темна и остра,
она пропадет увядая,
коль кружатся желтые перья костра
и песня вдали молодая.

Я песню такую сейчас украду
и гряну пронзительно, люто —
я славлю тебя, задыхаясь в бреду,
весна без любви и уюта!

<1932>

67

Тосковать о прожитом излишне,
но печально вспоминаю сад, —
там теперь, наверное, на вишне
небольшие ягоды висят.

Медленно жирея и сгорая,
рыхлые качаются плоды,
молодые,
полные до края
сладковатой и сырой воды.

Их по мере надобности снимут
на варенье
и на пастилу.
Дальше — больше,
как диктует климат,
осень пронесется по селу.

Мертвенна,
облезла
и тягуча —
что такое осень для меня?
Это преимущественно — туча.

без любви,
без грома,
без огня.

Вот она, —
подвешена на звездах,
гнет необходимое свое,
и набитый изморозью воздух
отравляет наше бытие.

Жители!
Спасайте ваши души,
заползайте в комнатный уют, —
скоро монотонно
прямо в уши
голубые стекла запоют.

Но, кичась непревзойденной силой,
я шагаю в тягостную тьму
попрощаться с яблоней, как с милой
молодому сердцу моему.

Встану рядом,
от тебя ошую,
ты, пустыми сучьями стуча,
чувствуя печаль мою большую,
моего касаешься плеча.

Дождевых очищенных миндалин
падает несметное число. . .

Я пока еще сентиментален,
оптимистам липовым назло.

<1932>

68. СЫНОВЬЯ СВОЕГО ОТЦА

Три желтых, потертых собачьих клыка
ощерены дорого-мило —
три сына росли под крылом кулака,
два умных, а третий — Гаврила.

Его отмечает звезда Козерог.
Его появлением на свете
всему населению преподан урок,
что есть неразумные дети.

Зачем не погиб он, зачем не зачах
сей выродок в мыслящем мире
и вырос — мясистая сажень в плечах,
а лоб — миллиметра четыре.

Поганка на столь безответной земле,
грехи человека умножа,
растет он и пухнет — любимец в семье,
набитая ливером кожа.

Не резкая молния бьет о скалу,
не зарево знойное пышет —
гуляет Гаврила один по селу,
на улицу за полночь вышел.

Не грозный по тучам катается гром,
хрипя в отдалении слабо, —
Гаврилиной обуви матовый хром
скрипит, как сварливая баба.

Скрипит про Гаврилу, его похвальбу,
что служит Гавриле наградой, —
Гаврила идет.
Завитушка на лбу
Пропитана жирной помадой.

Глядите, какой молодчина, храбрец,
несчастной семьи оборона, —
в кармане его притаился обрез —
в обрезе четыре патрона.

А тучам по небу шататься невмочь,
лежат, как нашлапки навоза. . .
В такую ненастную, дряблую ночь
умрет председатель колхоза.

И только соседи увидят одно —
со злобы мыча по-коровьи —
разбитое вдребезги пулей окно
и черную ленточку крови.

Тяжелым и скорбным запахнет грехом,
пойдут, как быки, разъяренно,
дойдут... А наутро прискачет верхом,
сопя, человек из района.

Он в долгом пути растеряет слова
и сон. Припадая на гриву,
увидит — Гаврилы лежит голова,
похожа на мятую сливу.

Ободраны щеки, и кровь на висках,
как будто она побывала в тисках,
Глаза помутнели, как рыбы грязны,
и тело затронуло тленье...

Что значит, что приговор нашей страны
уже приведен в исполнение.

<1932>

69. НОВЫЙ, 1933 ГОД

Полночь молодая, посветуй, —
ты мудра, всезнающая, тиха, —
как мне расквитаться с темой этой,
с темой новогоднего стиха?

По примеру старых новогодних,
в коих я никак не виноват,
можно всыпать никуда не годных
возгласов: Да здравствует! Виват!

У стены бряцает пианино.
Полночь надвигается. Пора.

С Новым годом!
Колбаса и вина.
И опять: Да здравствует! Ура!

Я не верю новогодним одам,
что текут расплывчатой рекой,
бормоча впустую: С Новым годом...
Новый год. Но всё-таки — какой?

Вот об этом не могу не петь я, —
он идет, минуты сочтены, —
первый год второго пятилетия
роста необъятного страны.

Это вам не весточка господня,
не младенец розовый у врат,
и, встречая Новый год сегодня,
мы оглядываемся назад.

Рельсы звякающие Турксиба...
Гидростанция реки Днепра...
Что же? Можно старому: Спасибо!
Новому: Да здравствует! Ура!

Не считай мозолей, ран и ссадин
на ладони черной и сырой —
тридцать третий будет год громаден,
как тридцатый, первый и второй.

И приснится Гербертам Уэллсам
новогодний неприятный сон,
что страна моя по новым рельсам
надвигается со всех сторон.

В лоб туманам, битвам, непогодам
снова в наступление пошли —
С новым пятилетьем!
С Новым годом
старой, исковерканной земли!

Полночь.
Я встаю, большой и шалый,
и всему собранию родной. . .
Старые товарищи, пожалуй,
выпьем по единой, по одной. . .

<1932>

70. ГРОЗА

Пушистою пылью набитые бронхи —
она, голубая, струится у пят,
песчинки легли на зубные коронки,
зубами размолотые скрипят.

От этого скрипа подернется челюсть,
в носу защекочет, занает душа. . .
И только кровинок мельчайшая челядь
по жилам бежит вперегонки, спеша.

Жарю особенно душит в июне
и пачкает потом полотна рубах,
а ежели сплунешь, то клейкие слюни,
как нитки, подолгу висят на губах.

Завял при дорожной пыли подорожник,
коней не погонит ни окрик, ни плеть —
не только груженных, а даже порожних
жара заставляет качаться и преть.

Все думы продуманы, песенка спета.
травы утомителен ласковый ворс.
Дорога от города до сельсовета —
огромная сумма немереных верст.

Всё дальше бредешь сероватой каймою,
стареешь и бредишь уже наяву:
другое бы дело шагать бы зимою,
уйти бы с дороги, войти бы в траву. . .

И лечь бы, дышать бы распяленным горлом, —
тяжелое солнце горит вдалеке...
С надежною ленью в молчанье покорном
глядеть на букашек на левой руке.

Плывешь по траве ты и дышишь травую,
вдыхаешь травы благотворнейший яд,
ты смотришь — над потною головою
забавные жаворонки стоят...

Но это — мечта. И по-прежнему тяжко,
и смолы роняет кипящая ель,
как липкая сволочь — на теле рубашка,
и тянет сгоревшую руку портфель.

Коль это поэзия, где же тут проза? —
Тут даже стихи не гремят, а сопят...
Но дальше идет председатель колхоза,
и дымное горе летит из-под пят.

И вот положение верное в корне,
прекрасное, словно огонь в табаке:
идет председатель, мечтая о корме
коней и коров, о колхозном быке.

Он видит быка, золотого Ерему,
короткие, толстые, бычьи рога,
он слышит мычанье, подобное грому,
и видимость эта ему дорога.

Красавец, громадина, господи боже,
он куплен недавно — породистый бык,
наверно не знаешь, но, кажется, всё же
он в стаде, по-видимому, приобык.

Закроешь глаза — багровеет метелка
длиной в полсажени тугого хвоста,
а в жены быку предназначена телка —
красива, пышна, но по-бабьи проста.

И вот председателя красит улыбка —
неловкая штука, смешна и груба...
Вернее — недолго, как мелкая рыбка,
на воздухе нижняя бьется губа.

И он выпрямляет усталую спину,
сопя переводит взволнованный дух —
он знает скотину, он любит скотину
постольку, поскольку он бывший пастух.

Дорога мертва. За полями и лесом
легко возникает лиловая тьма...
Она толстокожим покроет навесом
полмира, покрытая мраком сама.

И дальше нельзя. Непредвиденный случай —
он сходит на землю, вонзая следы.
Он путника гонит громоздкою тучей
и хлестким жгутом воспаленной воды.

Гроза. Оставаться под небом не место —
гляди, председатель, грохочет кругом,
и пыльная пыль, превращенная в тесто,
кипит под протертым твоим сапогом.

Прикрытье — не радость. Скорее до дому —
он гонит корявые ноги вперед,
навстречу быку, сельсовету и грому,
он прет по пословице: бог разберет.

Слепит мирозданья обычная подлость,
и сумрак восходит, дремуч и зловещ.
Идет председатель, мурлыкая под нос,
что дождь — обязательно мокрая вещь.

Бормочет любовно касательно мокрых
явлений природы безумной, пустой...
Но далее песня навстречу и окрик,
и словно бы просьба: приятель, постой!..

Два парня походкой тугой и неловкой,
ныряя и боком, идут из дождя;
один говорит с непонятной издевкой,
что я узнаю дорогого вождя.

— Змеиное семя, зараза, попался,
ты нашему делу стоишь поперек...
Гроза. Председатель тогда из-под пальца
в кармане еще выпускает курок.

— Давно мы тебя, непотребного, ищем...
И парень храпит, за железо берясь.
Вода обалдевая по топорищам
бежит и клокочет, и падает в грязь.

Как молния, грянула высшая мера,
клюют по пистонам литые курки,
и шлет председатель из револьвера
за каплею каплю с левой руки.

Гроза. Изнуряющий, сладостный плен мой,
кипящие капли свинцовой воды, —
греми по вселенной, лети по вселенной
повсюду, как знамя, вонзая следы.

И это не красное слово, не поза —
и дремлют до времени капли свинца,
идет до конца председатель колхоза,
по нашей планете идет до конца.

Июнь 1932

71. ПЕСНИ О ВСТРЕЧНОМ

Нас утро встречает прохладой,
Нас ветром встречает река.
Кудрявая, что ж ты не рада
Веселому пенью гудка?

Не спи, вставай, кудрявая!
В цехах звеня,
Страна встает со славою
На встречу дня.

И радость поет, не скончая,
И песня навстречу идет,
И люди смеются, встречая,
И встречное солнце встает.

Горячее и бравое,
Бодрит меня.
Страна встает со славою
На встречу дня.

Бригада нас встретит работой,
И ты улыбнешься друзьям,
С которыми труд и забота,
И встречный, и жизнь — пополам.

За Нарвскую заставою,
В громах, в огнях,
Страна встает со славою
На встречу дня.

И с ней до победного края
Ты, молодость наша, пройдешь,
Покуда не выйдет вторая
Навстречу тебе молодежь.

И в жизнь вбежит оравою,
Отцов сменя.
Страна встает со славою
На встречу дня.

...И радость никак не запрятать,
Когда барабанщики бьют:
За нами идут октябрюта,
Картавые песни поют.

Отважные, картавые,
Идут, звеня.
Страна встает со славою
На встречу дня!

Такою прекрасною речью
О правде своей заяви.

Мы жизни выходим навстречу,
Навстречу труду и любви!

Любить грешно ль, кудрявая,
Когда, звеня,
Страна встает со славою
На встречу дня.

1932

72. ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНАЯ

Ребята, на ходу — как мы были в плену —
немного о войне поговорим. . .

Б двадцатом году
шел взвод на войну,
а взводным нашим Вася Головин.
Ать, два. . .

И братва басыла —
бас не изъян:
— Да здравствует Россия,
Советская Россия,
Россия рабочих и крестьян!

В ближайшем бою к нам идет офицер
(англичане занимают край),
и томми нас берут на прицел.
Офицер говорит: Олл райт. . .
Ать, два. . .

Это смерти сила
грозит друзьям,
но — здравствует Россия,
Советская Россия,
Россия рабочих и крестьян!

Стояли мы под дулами —
не охали, не ахали,
но выступает Вася Головин:

— Ведь мы такие ж пахари,
как вы, такие ж пахари,
давайте о земле поговорим.
Ать, два...

Про самое, про это, —
буржуй, замри, —
да здравствует планета,
да здравствует планета,
планета наша, полная земли!

Теперь про офицера я...
Каким он ходит пупсиком —
понятно, что с работой незнаком.
Которые тут пахари —
ударь его по усикам
мозолями набитым кулаком.
Ать, два...

Хорошее братание
совсем не изъян —
да здравствует Британия,
да здравствует Британия,
Британия рабочих и крестьян!

Офицера пухлого берут на бас,
и в нашу пользу кончен спор.
Мозоли переводчики промежду нас —
помогают вести разговор.
Ать, два...

Нас томми живо поняли —
и песни по кустам...
А как насчет Японии?
Да здравствует Япония,
Япония рабочих и крестьян!

Ребята, ну...
Как мы шли на войну,
говори — полыхает закат...
Как мы песню одну,

настоящую одну
запевали на всех языках.
Ать, два...

Про одно про это
ори друзьям:
Да здравствует планета,
да здравствует планета,
планета рабочих и крестьян!

1932

78. КОМСОМОЛЬСКАЯ КРАСНОФЛОТСКАЯ

Ночь идет, ребята,
звезды встали в ряд,
словно у Кронштадта
корабли стоят.
Синеет палуба — дорога скользкая,
качает здорово на корабле,
но юность легкая и комсомольская
идет по палубе, как по земле.

Кипит вода, лаская
тяжелые суда,
зеленая, морская,
подшефная вода.
Не подкачнется к нам тоска неважная,
ребята, — по морю гуляем всласть, —
над нами облако и такелажная
насквозь испытанная бурей снасть.

И боцман грянет в дудку:
— Земля, пока, пока...
И море, будто в шутку,
ударит под бока.
Синеет палуба — дорога скользкая,
качает здорово на корабле,
но юность легкая и комсомольская,
идет по палубе, как по земле.

Никто из нас не станет
на лапы якорей,
когда навстречу грянет
Владычица Морей.
И песни новые летят, победные.
Война, товарищи! Вперед пора!
И пробиваются уже торпедные
огнем клокочущие катера.

И только воеет, падая
под острые суда,
разрезанная надвое
огромная вода.
Синеет палуба — дорога скользкая,
качает здорово на корабле,
но юность легкая и комсомольская
идет по палубе, как по земле.

1932

74. ВОШЬ

Вошь ползет на потных лапах
по безбрежию рубах,
сукровицы сладкий запах
вошь разносит на зубах.

Вот лежит он, смерти вторя,
сокращая жизни срок,
этот серый, полный горя,
полный гноя пузырек.

Как дробинку, можно трогать,
видеть глазки, черный рот,
из подмышки взять под ноготь —
он взорвется и умрет.

Я плыву в сознание рваном,
в тело налита жара,
а на ногте деревянном
засыхает кожура.

По моей мясистой туше
гибель верная идет,
и грызет меня и тут же
гниду желтую кладет.

День осенний смотрит хмуро.
Тридцать девять.
Тридцать пять.
Скачет вверх температура
и срывается опять.

Дурнота, тоска и муки,
и звонки со всех сторон.
Я плыву, раскинув руки,
я — уже не я, а он.

Разве я сквозь дым и стужу
пролетаю в край огня?
Кости вылезли наружу
и царапают меня.

Из лиловой грязи мрака
лезет смерти торжество,
и заразного барака
стены стиснули его.

Вот опять сиделки-рохли
не несут ему питье,
губы сини, пересохли —
он впадает в забытье.

Да, дела непоправимы,
ждали кризиса вчера,
и блестят, как херувимы,
голубые доктора.

Неужели же, товарищ,
будешь ты лишен души,
от мельчайшей гибнешь твари,
от комочка, ото вши?

Лучше, желтая обойма,
гибель верную яви,
лучше пуля, лучше бойня —
луговина вся в крови.

Так иль сяк, в обоем разе
всё равно, одно и то ж —
это враг ползет из грязи,
пуля, бомба или вошь.

Вот лежит он, смерти вторя,
сокращая жизни срок,
этот серый, полный горя,
полный гноя пузырек.

И летит, как дьявол грозный,
в кругосветный перегон,
мелом меченный, тифозный,
фиолетовый вагон.

Звезды острые, как бритвы,
небом ходят при луне.
Всё в порядке.
Вошь и битвы —
мы, товарищ, на войне.

1932

75. ДИФИРАМБ

Солнце, желтое словно дыня,
украшением над тобой.
Обуяла тебя гордыня —
это скажет тебе любой.

Нет нигде для тебя святыни —
ты вещаешь, быком трубя,
потому что ты не для дыни —
дыня яркая для тебя.

Это логика, мать честная, —
если дыня погаснет вдруг,
сплюнешь на землю — запасная
вылетает в небесный круг:

Выполнение земного плана
в потемневшее небо дашь, —
то светило — завод «Светлана»,
миллионный его вольтаж.

Всё и вся называть вещами —
это лозунг. Принять мер —
то сравнение с овощами
всех вещей из небесных сфер.

Предположим, что есть по смерти
за грехи человека ад, —
там зловонные бродят черти,
печи огненные трещат.

Ты низвергнут в подвалы ада,
в тьму и пакостную мокреть,
и тебе, нечестивцу, надо
в печке долгие дни гореть.

Там кипят смоляные речки,
дым едуч и огонь зловещ, —
ты в восторге от этой печки,
ты обрадован: это вещь!

Понимаю, что ты недаром,
задыхаясь в бреду погонь,
сквозь огонь летел кочегаром
и литейщиком сквозь огонь.

Так бери же врага за горло,
страшный, яростный и прямой,
человек, зазвучавший гордо,
современник огромный мой.

Горло хрустнет, и скажешь: амба —
и воспрянешь, во тьме зловещ. . .
Слушай гром моего дифирамба,
потому что и это вещь.

1932

76

Ты шла ко мне пушистая, как вата,
тебя, казалось, тишина вела, —
последствиями малыми чревата
с тобою встреча, Аннушка, была.

Но все-таки
своим считаю долгом
я рассказать, ни крошки не тая,
о нашем и забавном и недолгом
знакомстве,
Анна Павловна моя.

И ты прочтешь.
Воздашь стихотворенью
ты должное. . .
Воспоминаний рой. . .
Ты помнишь?
Мы сидели под сиренью, —
конечно же, вечернею порой.

(Так вспоминать теперь никто не может:
у критики характер очень крут. . .
— Пошлятина, — мне скажут,
уничтожат
и в порошок немедленно сотрут.)

Но продолжаю.
Это было летом
(прекрасное оно со всех сторон),
я, будучи шпаной и пистолетом,
воображал, что в жизни умудрен.

И модные высвистывал я вальсы
с двенадцати примерно до шести:
«Где вы теперь?
Кто вам целует пальцы?»
И разные:
«Прости меня, прости. . .»

Действительно — где ты теперь, Анюта,
разгуливаешь, по ночам скорбя?
Вот у меня ни скорби, ни уюта,
я не жалею самого себя.

А может быть,
ты выскочила замуж,
спокойствие и счастье обрела,
и девять месяцев прошло,
а там уж
и первенец —
обычные дела.

Я скоро в гости, милая, приеду,
такой, как раньше, —
с гонором, плохой,
ты обязательно зови меня к обеду
и угости ватрушкой и ухой.

Я сына на колене покачаю
(ты только не забудь и позови) . . .
Потом, вкусив малины,
с медом чаю,
поговорю о «странностях любви».

1932

77. ОСЕНЬ

Деревья кое-где еще стояли в ризах
и говорили шумом головы,
что осень на деревьях, на карнизах,
что изморозью дует от Невы.

И тосковала о своем любимом
багряных листьев бедная гульба,
и в небеса, пропитанные дымом,
летела их последняя мольба.

И Летний сад... и у Адмиралтейства —
везде перед открытием зимы —
одно и то же разыгралось действие,
которого не замечали мы.

Мы шурили глаза свои косые,
мы исподлобья видели кругом
лицо России, пропитой России,
исколотое пикой и штыком.

Ты велика, Российская держава,
но горя у тебя невпроворот —
ты, милая, не очень уважала
свой черный, верноподданный народ.

И как балда — не соразмеря силы
и не поморщив белого чела —
навозные взяла в ладони вилы
и шапками кидаться начала.

За ночью ночь — огромная и злая,
беда твоя, империя, беда!
И льет тебе за шиворот гнилая,
окопная и трупная вода,

окружена зеленоватой тьмью,
и над тобою вороны висят —
вонзай штыки в расплавленную землю
и погляди, голубушка, назад...

А осень шла. Ее походка лисья,
прыжки непостоянны и легки,
и осыпались, желтые как листья,
и оголяли фронт фронтовики.

Не дослужив до унтерских нашивок,
шагали бывшие орлы и львы —
их понесло, тифозных и паршивых,
соленым ветром, дунувшим с Невы.

Шагали, песней утешаясь дошлой —
спасением и тела и души,
и только грязь кипела под подошвой,
и только капли капали, как вши.

Пусть выдают на фронте по патрону,
по сухарю, по порции свинца
и горестно скрипят за оборону,
за гибель до победного конца.

И осень каплет над российским Ваней,
трясет дождя холодной бородой,
поганую водой увещеваний,
а также и окопную водой.

Свинцовое, измызганное небо
лежит сплошным предчувствием беды.
Ты мало видела, Россия, хлеба,
но видела достаточно воды.

Твой каждый шаг обдуман и осознан,
и много невеселого вдали:
сегодня — рано, послезавтра — поздно, —
и завтра в наступление пошли.

Навстречу сумрак, тягостный и дымный,
тупое ожидание свинца,
и из тумана возникает Зимний
и баррикады около дворца.

Там высекают языками искры —
светильники победы и добра,
они — прекраснородушные министры —
мечтают подработать под ура.

А мы уже на клумбах, на газонах
штыков приподнимаем острие, —
под юбками веселых амазонок
смешно искать спасение свое.

Слюнявая осенняя погода
глядит — мы подползаем на локтях,
за нами — гром семнадцатого года,
за нами — революция, Октябрь.

Опять красногвардейцы и матросы —
Октябрьской революции вожди, —
легли на ветви голубые росы,
осенние, тяжелые дожди.

И изморозь упала на ресницы
и на волосы старой головы,
и вновь листает славные страницы
туманный ветер, грянувший с Невы.

Она мила — весны и лета просинь,
как отдыха и песен бытие...
Но грязная, но сумрачная осень —
воспоминанье лучшее мое.

1932

78. ОНА В ЭНСКОМ УЕЗДЕ

Пышные дни — повинная в этом,
от Петрограда и от Москвы
била в губернию ты рикошетом,
обороняясь, ломая мосты.

Дрябли губерний ленивые туши,
ныли уездов колокола,
будто бы эхом, ударившим в уши,
ты, запоздавшая на день, была...

В городе Энке — тоска и молчанье,
земские деятели молчат,
ночью — коровье густое мычанье,
утром — колодцы и кухонный чад.

Нудные думы, посылки солдату
и ожидание третьей зимы, —
ветер срывает за дату дату,
только война беспокоит умы.

А на окраине, за серой казармой,
по четвергам — неурядица, гам;
это на площади — грязной, базарной —
скудное торжище по четвергам.

Это — смешную затеяли свару,
мокрыми клочьями лезет земля,
бедность, качаясь, идет по базару —
и ужасает паденье рубля.

Славно разыграно действие по актам —
занавес дайте, довольно войны!
И революция дует по трактам,
по бездорожью унылой страны —

лезет огнем и смятеньем по серым,
вялым равнинам и тощим полям, —
будет работа болтливым эсерам,
земским воякам с тоской пополам.

Встали они — сюртуки нараспашку,
ветер осенний летит напрямик —
он чесучовую треплет рубашку
и освежает хотя бы на миг.

Этой же осенью, вялой и хмурой,
в черное небо подъемля штыки,
с послетифозною температурой
в город вступают фронтовики —

те, что в окопах, как тучи; синели,
черною кровью ходили в плену,

на заграждениях рвали шинели
и ненавидели эту войну.

Вот и пришли повидаться с родными,
кости да кожа, — покончив с войной,
передохнуть, — но стоят перед ними
земские деятели стеной.

Как монументы. Понятно заранее —
проповедь будет греметь свысока,
и благородное негодование
хлынет, не выдержав, с языка.

Их, расторопных, не ловят на слове,
как на горох боязливых язей, —
так начинается битва сословий
и поражение народных друзей.

Земец недолго щебечет героем —
звякнули пламенные штыки,
встали напротив сомкнутым строем,
замерли заживо фронтовики.

Песни о родине льются и льются.
Надо ответное слово — и вот
слово встает: «По врагам революции,
взво-од. . . »

Что же? Последняя песенка спета,
дальше команда: «Отставить!» — как гром. . .
Кончилось лето.
Кончилось лето —
в городе дует уже Октябрем.

1932

79. СЕМЕЙНЫЙ СОВЕТ

Ночь, покрытая ярким лаком,
смотрит в горницу сквозь окно.
Там сидят мужики по лавкам —
все наряженные в сукно.

Самый старый, как стерва зол он,
горем в красном углу прижат —
руки, вымытые бензолом,
на коленях его лежат.

Ноги высохшие, как бревна,
лик от ужаса полосат,
и скоромное масло ровно
застывает на волосах.

А иконы темны, как уголь,
как прекрасная плоть земли,
и, усаженный в красный угол,
как икона, глава семьи.

И безмолвие дышит: нешто
всё пропало? Скажи, судья. . .
И глядят на тебя с надеждой
сыновья и твои зятья.

Но от шороха иль от стука
всё семейство встает твое,
и трепещется у приступка
в струнку замершее бабье.

И лампы большая плоска
закачается на цепях —
то ли ветер стучит в окошко,
то ли страх на твоих зубах.

И заросший, косою как заяц, твой
неприятный летает глаз:
— Пропадает мое хозяйство,
будь ты проклят, рабочий класс!

Только выйдем — и мы противу —
бить под душу и под ребро,
не достанется коллективу
нажитое мое добро.

Чтобы видел поганый ворог,
что копейка моя дорога,
чтобы мозга протухший творог
вылезал из башки врага...

И лица голубая опухоль
опадает и мякнет вмиг,
и кулак тяжелее обуха
бьет без промаха напрямик.

Младший сын вопрошает: «Тятя!»
Остальные молчат — сычи.
Подловить бы, сыскать бы татя,
что крадется к тебе в ночи.

Половицы трещат и гнутся —
поднимается старший сын:
— Перебьем, передавим гнуса,
перед богом заслужим сим.

Так проходят минуты эти,
виснут руки, полны свинца,
и навытяжку встали дети —
сыновья своего отца.

А отец налетает зверем,
через голову хлещет тьма:
— Всё нарушим, сожжем, похерим —
скот, зерно и свои дома.

И навеки пойдем противу —
бить под душу и под ребро, —
не достанется коллективу
нажитое мое добро.

Не поверив ушам и глазу,
с печки бабка идет тоща,
в голос бабы завыли сразу,
задыхаясь и вереща.

Не закончена действием этим
повесть правильная моя,
самый старый отходит к детям —
дальше слово имею я.

Это наших ребят калеча,
труп завертывают в тряпье,
это рухнет на наши плечи
толщиною в кулак дубье.

И тогда, поджимая губы,
коренасты и широки,
поднимаются лесорубы,
землеробы и батраки.

Руки твердые, словно сучья,
камни, пламенная вода
обложили гнездо паучье,
и не вырваться никуда.

А ветра, грохоча и воя,
пролагают громаде след.
Скоро грянет начало боя.
Так идет на совет — Совет.

1932

80. УБИЙЦА

От ногтя до локтя длиною,
непорочна, чиста, свежа,
блещет синяя под луною
сталь отточенного ножа.

А потом одного порядка
и заход с одного конца —
как железная рукоятка
в как железной руке отца.

Он замучился, к черту, за день
у раздумий в тугом кольце,



наподобие свежих ссадин —
пятна синие на лице.

Что-то глотка его охрипла,
пота зернышки, как пшено,
но в ладонь рукоятка влипла —
всё обдумано, решено.

Он в подпольи надулся квасом,
часа ждет,
захватило дух...
Вот, встревоженный первым часом,
задохнулся во тьме петух.

Это знак.
Но тоска, однако,
жарит губы, печет лицо.
Потрясенный тоскою знака,
он шагнул на свое крыльцо.

Он шагнул далеко и прямо —
нож в ладони —
вперед, пора...
Перед ним голубая яма
пряно пахнущего двора.

От морозного, легкого взлома
желтовата, местами темна,
над хлевами трещит солома,
привезенная днем с гумна.

Жарко дышат родные кони,
куры сонные у плеча,
нож в ладони,
фонарь в ладони —
два сверкающие луча.

Нож в ладони.
В лепешку коровью,
в эту пакость, летит сперва,
обливаясь пунцовой кровью,

петушиная голова —
знак подавшая к бою...
Та ведь...
Рассыпаются куры кругом...
Стервенеет хозяин — давит
кур клокочущих сапогом.

Жадно скалит зубов огрызки,
нож горит,
керосиновый чад —
на ногах кровавые брызги,
кости маленькие трещат.

Птицы скоро порезаны.
Уж они
не трепещутся.
Пух до небес.
И на двор летит из конюшни
Серый. В яблоках. Жеребец.

Он себе не находит места,
сталь на желтых его зубах —
это слава всего уезда
ходит по двору на дыбах.

Прощайся с красою с этою.
Вот он мечется, ищет лаз,
и кровавые змейки сетью,
как ловушка, накрыли глаз.

— Пропадай, жеребенок, к черту,
погибай от ножа... огня... —
И хозяин берет за челку
настороженного коня.

Кровь, застывшую словно патоку,
он стирает с ножа рукой,
стонет,
колет коня под лопатку —
на колени рушится конь,
слабнет,
роет навоз копытом —

смерть выходит со всех сторон,
только пух на коне убитом
мокнет, красен,
потом — черен.

А хозяин в багровых росах,
облит росами, как из ведра, —
он коров и свиней поросых
режет начисто до утра.

Бойня. Страшная вонь. Отрава.
Задыхаясь, уже на заре
он любимого волкодава
убивает в его конуре.

Он солому кладет на срубы
и на трупы коров, коня,
плачет,
лижет сухие губы
золотым языком огня.

Ноги, красные, как у аиста,
отмывает,
бросает нож:
— Получай, коллектив, хозяйство —
ты под пеплом его найдешь...

Он пойдет по дорогам нищим,
будет клянчить на хлеб и квас...
Мы, убийца, тебя разыщем —
не уйдешь далеко от нас.

Я скажу ему — этой жиле:
— Ты чужого убил коня,
ты амбары спалил чужие...
Только он не поймет меня.

1932

81. ФРОНТОВИКИ

Ты запомни, друг мой ситный,
как, оружием звеня,
нам давали ужин сытный,
состоящий из огня.

Ловко пуля била, шельма, —
свет в очах моих померк,
только помню ус Вильгельма,
указующий наверх.

Неприятные вначале
испытали мы часы, —
как штыки тогда торчали
знаменитые усы.

Непогода дула злая,
в небе тучи велики,
во спасенье Николая
мы поперли на штыки.

Как бараны мы поперли
со стеснением в груди —
тонкий вой качался в горле,
офицеры позади...

Сиятельные мальчишки полков его величества,
мундиры в лакированных и узеньких ремнях
увешаны медалями, ботфорты замшей вычистя,
как бы перед фотографом сидели на конях.

За неудобства мелкие в походе вроде простыни,
за волосок, не срезанный с напудренной щеки,
украшенные свежими на физии коростами
и синяками круглыми ходили денщики.

А что такое простыни? Мы простыней не видели,
нас накормили досыта похлебкой из огня,
шинель моя тяжелая, источенная гнидами, —
она и одеяло мне, она и простыня.

А письма невеселые мы получали с родины,
что наша участь скверная — ой-ой нехороша,
что мы сначала проданы, потом опять запроданы,
в конечном счете дешевы — не стоим ни гроша.

Что дома пища знатная — в муку осина смолота,
и здорово качало нас от этих новостей,
но ничего там не было — в России — кроме голода,
что щупальцы вытягивал из разных волостей.

А отдых в лучшем случае один — тифозный госпиталь,
где пациент блаженствует и ест на серебре, —
мы плюнули на родину и харкнули на господу,
и место наше верное нашли мы в Октябре.

Держава мать Российская, мы нахлебались дымного,
тебе за то почтение во век веков летит —
благодарим поклонами — и в первый раз у Зимнего
мы проявили маленький, но всё же аппетит.

Мясное было кушанье, а штык остер, как вилочка.
Свою качая родину, пошли фронтовики,
и пригодилась страшная и фронтовая выучка,
штыки четырехгранные. . .
Да здравствуют штыки!

<1933>

82

Я замолчу, в любви разуверюсь, —
она ушла по первому снежку,
она ушла —
какая чушь и ересь
в мою полезла смутную башку.

Хочу запеть,
но это словно прихоть,
я как не я, и всё на стороне, —
дымящаяся папироса, ты хоть
пойми меня и посоветуй мне.

Чтобы опять от этих неполадок,
как раньше, не смущаясь ни на миг,
я понял бы, что воздух этот сладок,
что я во тьме шагаю напрямик.

Что не пятнал я письма слезной жижей
и наволочек не кусал со зла,
что всё равно мне, смуглой или рыжей,
ты, в общем счете подлая, была.

И прощаюсь я с тобой поклоном.
Как хорошо тебе теперь одной —
на память мне флакон с одеколоном
и тюбики с помадою губной.

Мой стол увенчан лампою горбатой,
моя кровать на третьем этаже.

Чего еще? —

Мне только двадцать пятый,
мне хорошо и весело уже.

<1933>

83

Мы хлеб солили крупной солью,
и на ходу, легко дыша,
мы с этим хлебом ели сою
и пили воду из ковша.

И тучи мягкие летели
над переполненной рекой,
и в неудобной, злой постели
мы обретали свой покой.

Чтобы, когда с утра природа
воспрянет, мирна и ясна,
греметь водой водопровода,
смывая недостатки сна.

По комнате шагая с маху,
в два счета убирать кровать,

искать потертую рубаху
и басом песню напевать.

Тоска, себе могилу вырой —
я песню легкую завью, —
над коммунальной квартирой
она подобна соловью.

Мне скажут черными словами,
отринув молодость мою,
что я с закрытыми глазами
шаманю и в ладоши бью.

Что научился только лгать
во имя оды и плаката, —
о том, что молодость богата,
без основанья полагать.

Но я вослед за песней ринусь,
могучей завистью влеком, —
со мной поет и дразнит примус
меня лиловым языком.

<1933>

84. ОХОТА

Я, сказавший своими словами,
что ужасен синеющий лес,
что качается дрябло над нами
омертвелая кожа небес,
что, рыхлея, как манная каша,
мы забудем планиду свою,
что конечная станция наша —
это славная гибель в бою, —

я, мятущийся, потный и грязный
до предела, идя напролом,
замахнувшийся песней заразной,
как тупым суковатым колом, —
я иду под луною кривою,
что жестоко на землю косит,

над пропащей и желтой травую
светлой россыпью моросит.

И душа моя, скорбная видом,
постарела не по годам, —
я товарища в битве не выдам
и подругу свою не предам.
Пронесу отрицание тлена
по дороге, что мне дорога,
и уходит почти по колено
в золотистую глину нога.

И гляжу я направо и прямо,
и налево и прямо гляжу, —
по дороге случается яма,
я спокойно ее обхожу.
Солнце плавает над головами,
я еще не звоню в торжество,
и, сказавший своими словами,
я еще не сказал ничего.

Но я вынянчен не на готовом,
я ходил и лисой и ужом,
а теперь на охоту за словом
я иду, как на волка с ножом.
Только говор рассыплется птичий
над зеленою прелестью трав,
я приду на деревню с добычей,
слово жирное освежевав.

<1933>

85. СТАРИК

Как змеи ползут приводные ремни,
станков упираются зубры,
лиловые цветом и в масле они,
железом скрежещут о зубы.

Ползет, негодуя, гудя и кляня,
тягучая жалоба бычья,
и капают белые звезды огня
(цехов обстановка обычна).

На низкой подставке стоит человек,
кусками орудуя стали,
лохмотья его багровеющих век
от желтого горна устали.

Он пилит железо визжащей пилой,
железную пылью осыпан.
От воя и грохота старый и злой,
насквозь пропотел и осип он.

Порою срывается яростный визг,
и, белым заваленный дымом,
безумно вращающийся диск
всем кажется недвижимым.

Но строгаль издаст повелительный крик,
работу опять начиная,
и снова поводит рукою старик,
железо себе подчиняя.

И дело его на учет страны,
и сила его на учете,
и мускул его в обстановке войны
работает четче и четче.

А чем не военный порядок в цеху,
не битва ужасная разве?
Нельзя и нельзя приравнять к пустяку
прорыв, уподобленный язве.

Как рана ползет он, смердя и гняя,
на верхней, по счастью, ткани.
Тревогу свистит приводная змея,
ехидная, между гудками.

На низкой подставке стоит человек,
спеша сокращается мышца,
и тлеют лохмотья проржавленных век,
и потом возможно умыться.

Большую работу на полном ходу
настигнет, как некая кара,

и только гудки задувают звезду
струею белесою пара.

Десять часов
и двенадцать часов,
и третья готовится смена.
Дыханье клубится из-под усов,
дрожит, подгибаясь, колено.

Наутро газеты кричат со стены
всё утро и после обеда:
— Прорыв ликвидирован!
— Мы спасены!
— Республика, слушай, —
Победа!

Тогда человек покидает резцы,
он вымыт,
идет за ограду.
Он даже не мыслит, не знает, что ЦИК
ему приготовил награду.

Он смотрит в небесную высоту,
не замедляя ходу.

Вот так бы и мне стоять на посту
в любую жару и погоду.

<1933>

86

В Нижнем Новгороде с откоса
чайки падают на пески,
все девчонки гуляют без спроса
и совсем пропадают с тоски.
Пахнет липой, сиренью и мятой,
небывалый слепит колорит,
парни ходят —
картуз помятый, —
папироска во рту горит.

Вот повеяло песней далекой,
ненадолго почудилось всем,
что увидят глаза с поволокой,
позабутые всеми совсем.
Эти вовсе без края просторы,
где горит палисадник любой,
Нижний Новгород,
Дятловы горы,
ночью сумрак чуть-чуть голубой.

Влажным ветром пахнуло немного,
легким дымом,
травую сырой,
снова Волга идет, как дорога,
вся покачиваясь под горой.

Снова, тронутый радостью долгой,
я пою, что спокойствие — прах,
что высокие звезды над Волгой
тоже гаснут на первых порах.
Что напрасно, забытая рано,
хороша, молода, весела,
как в несбыточной песне, Татьяна
В Нижнем Новгороде жила.

Вот опять на песках, на парамах
ночь огромная залегла,
дует запахом чахлах черемух,
налетающим из-за угла,
тянет дождиком,
рваную тучей
обволакивает зарю, —
я с тобою на всякий случай
ровным голосом говорю.

Наши разные разговоры,
наши песенки вперебой.
Нижний Новгород,
Дятловы горы,
ночью сумрак чуть-чуть голубой.

<1933>

87. ЯЩИК МОЕГО ПИСЬМЕННОГО СТОЛА

В. Стеничу

Я из ряда вон выходящих
сочинений не сочиню,
я запрячу в далекий ящик
то, чего не предаю огню.

И, покрытые пыльным смрадом,
потемневшие до костей,
как покойники, лягут рядом
клочья мягкие повестей.

Вы заглянете в стол.
И вдруг вы
отшатнетесь —
тоска и страх:
как могильные черви, буквы
извиваются на листах.

Муха дохлая — кверху лапки,
слюдяные крылья в пыли.
А вот в этой багровой папке
стихотворные думы легли.

Слушай —
и дребезжанье лиры
донесется через года
про любовные сувениры,
про январские холода,
про звенящую сталь Турксиба
и «Путиловца» жирный дым,
о моем комсомоле — ибо
я когда-то был молодым.

Осторожно,
рукой не трогай —
расползется бумага. Тут
всё о девушке босоногой —
я забыл, как ее зовут.

И качаюсь, большой, как тень, я,
удаляюсь в края тишины,
на халате моем сплетенья
и цветы изображены.

И какого дьявола ради,
одуревший от пустоты,
я разглядываю тетради
и раскладываю листы?

Но наполнено сердце спесью,
и в зрачках моих торжество,
потому что я слышу песню
сочинения моего.

Вот летит она, молодая,
а какое горло у ней!
Запевают ее, сидя
с маху конники на коней.

Я сижу над столом разрытым,
песня наземь идет с высот,
и подкованным бьет копытом,
и железо в зубах несет.

И дрожу от озноба весь я —
радость мне потому дана,
что из этого ящика песня
в люди выбилась хоть одна.

И сижу я — копаю ящик,
и ушла моя пустота.
Нет ли в нем каких завалищих,
но таких же хороших, как та?

1933

Без тоски, без грусти, без оглядки,
сокращая житие на треть,
я хотел бы на шестом десятке
от разрыва сердца умереть.

День бы синей изморозью капал,
небо бы тускнело вдалеке,
я бы, задыхаясь, падал на пол,
кровь еще бежала бы в руке.

Песни похоронные противны.
Саван из легчайшей кисеи.
Медные бы положили гривны
на глаза заплывшие мои.

И уснул я без галлюцинаций,
белый и холодный, как клинок.
От общественных организаций
поступает за венком венки.

Их положат вперемешку, вместе —
к телу собирается народ,
жалко — большинство венков из жести, —
дескать, ладно, прах не разберет.

Я с таким бы предложеньем вылез
заживо, покуда не угас,
чтобы на живые разорились —
умирают в жизни только раз.

Ну, да ладно. И на том спасибо.
Это так, для пущей красоты.
Вы правы, пожалуй, больше, ибо
мертвому и мертвые цветы.

Грянет музыка. И в этом разе,
чтобы каждый скорбь воспринимал,
все склоняются.
Однообразен
похоронный церемониал.

.
Впрочем, скучно говорить о смерти,
попрошу вас не склонять главу,
вы стихотворению не верьте, —
я еще, товарищи, живу.

Лучше мы о том сейчас напишем,
как по полированным снегам
мы летим на лыжах,
песней дышим
и работаем на страх врагам.

1933

89

Под елью изнуренной и громоздкой,
что выросла, не плача ни о ком,
меня кормили мякишем и соской,
варным голубоватым молоком.

Она как раз качалась на пригорке,
природе изумрудная свеча.
От мякиша избавленные корки
собака поедала клокоча.

Не признавала горести и скуки
младенчества животная пора.
Но ель упала, простирая руки,
погибла от пилы и топора.

Пушистую траву примяла около,
и ветер иглы начал развеять.
Потом собака старая подохла,
а я остался жить да поживать.

Я землю рыл,
я тосковал в овине,
я голодал во сне и наяву,
но не уйду теперь на половине
и до конца как надо доживу.

И по чьему-то верному велению —
такого никогда не утаю —
я своему большому поколенью
большое предпочтенье отдаю.

Прекрасные,
тяжелые ребята, —
кто не видал — воочию взгляни, —
они на промыслах Биби-Эйбата,
и на пучине Каспия они.

Звенящие и чистые, как стекла,
над ними ветер дует боевой. . .

Вот жалко только,
что собака сдохла
и ель упала книзу головой.

1933

90

Лес над нами огромным навесом —
корабельные сосны,
казна, —
мы с тобою шатаемся лесом,
незабвенный товарищ Кузьма.

Только птицы лохматые, воя,
промелькнут, устрашая, грозя,
за плечами центрального боя
одноствольные наши друзья.

Наша молодость, песня и слава,
тошнотворный душок белены,
чернорамень до лесосплава,
занимает собой полстраны.

Так и мучимся, в лешего веря,
в этом логове, тяжком, густом;
нас порою пугает тетеря,
поднимая себя над кустом.

На болоте ни звона, ни стука,
всё загублено злой беленой;
тут жила, по рассказам, гадюка
в половину болота длиной.

Но не верится все-таки — что бы
тишина означала сия?
Может, гадина сдохла со злобы,
и поблекла ее чешуя?

Знаю, слышу, куда ни сунусь,
что не вечна ни песня, ни тьма,
что осыплется осень, как юность,
словно лиственница, Кузьма.

Колет руку неловкая хвоя
подбородка и верхней губы.
На планете, что мчится воя,
мы поднимемся, как дубы.

Ночь ли,
осень ли,
легкий свет ли,
мы летим, как планета вся,
толстых рук золотые ветви
над собой к небесам занеся.

И, не тешась любовью и снами,
мы шагаем, навеки сильны;
в ногу вместе с тяжелыми, с нами,
ветер с левой идет стороны.

И деревьев огромные трубы
на песчаные лезут бугры,
и навстречу поют лесорубы
и камнями вострят топоры.

1933

91. ИЗ ЛЕТНИХ СТИХОВ

Всё цвело.
Деревья шли по краю
розовой, пылающей воды;
я, свою разыскивая кралю,
кинулся в глубокие сады.

Щеголя шелковой обновой,
шла она.
Кругом росла трава.
А над ней — над кралею бубновой —
разного размера дерева.
Просто куст, осыпанный сиренью,
золотому дубу не под стать,
птичьему смешному населенью
всё равно приказано свистать.
И на дубе темном, на огромном,
тоже на шиповнике густом,
в каждом малом уголке укромном
и под начинающим кустом,
в голубых болотах и долинах
знай свисти
и отдыха не жди,
но на тонких на ногах, на длинных
подошлы,
рассыпались дожди.
Пролетели.
Осветило снова
золотом зеленые края —
как твоя хорошая обнова,
Лидия веселая моя?
Полиняла иль не полиняла,
как не полиняли зеленыя, —
променяла иль не променяла,
не забыла, милая, меня?

Вечером мы ехали на дачу,
я запел, веселья не тая, —
может, не на дачу —
на удачу, —
где удача верная моя?
Нас обдуло ветром подогретым
и туманом с медленной воды,
над твоим торгсиновским беретом
плавали две белые звезды.
Я промолвил пару слов резонных,
что тепла по Цельсию вода,
что цветут в тюльпанах и газонах
наши областные города,

что летит особенного вида —
вырезная — улицей листва,
что меня порадовала, Лида,
вся подряд зеленая Москва.
Хорошо — забавно — право слово,
этим летом красивее я.
Мне понравилась твоя обнова,
кофточка зеленая твоя.
Ты зашелестела, как осина,
глазом повела своим большим:
— Это самый лучший...
Из Торгсина...
Импортный...
Не правда ль?
Крепдешин...
Я смолчал.
Пахнуло теплым летом
от листвы, от песен, от воды —
над твоим торгсиновским беретом
плавали две белые звезды.
Доплыли до дачи запыленной
и без уважительных причин
встали там, где над Москвой зеленой
звезды всех цветов и величин.

Я сегодня вечером — не скрою —
одинокой птицей просвищу.
Завтра эти звезды над Москвою
с видимой любовью разыщу.

<1934>

92. СПАСЕНИЕ

Пусть по земле летит гроза оаций,
салют орудий тридцатитройной —
нам нашею страную любоваться,
как самой лучшей
нашею страной.
Она повсюду —
и в горах и в селах —
работу повседневную несет,

и лучших в мире —
храбрых и веселых —
она спасла, спасала и спасет.
И дальше в путь, невиданная снова,
а мы стеной, приветствуя, встаем —
«Челюскина» команду,
Димитрова,
спасителей фамилии поем.
Я песню нашу лирикою трону,
чтоб хороша была со всех сторон,
а поезд приближается к перрону,
и к поезду подвинулся перрон.
Они пойдут из поезда,
и синий
за ними холод —
звездный, ледяной,
тяжелый сумрак
и прозрачный иней
всю землю покрывает сединой.
На них глядит остекленелым глазом
огромная Медведица с высот,
бедой и льдами окружило разом
и к Северному полюсу несет.
А пароход измят, разбит, расколот,
покоится и стынет подо льдом —
медведи,
звезды острые
и холод
кругом, подогреваемый трудом.
Морями льдина белая омыта,
и никакая сила не спасет
и никогда...
На льдине лагерь Шмидта,
и к Северному полюсу несет.
А в лагере и женщины и дети,
медведи,
звезды острые,
беда,
и обдувает ужасом на свете
спокойные жилые города.
Но есть Союз,
нет выхода иного, —

а ночью льдина катится ядром,
наутро снова,
выходите снова
наутро —
расчищать аэродром.
А ночью стынут ледяные горы,
а звезды омертвели и тихи.
В палатках молодые разговоры,
и Пушкина скандируют стихи.
Века прославят
льдами занесенных
и снова воскрешенных на земле.
Спасителей прославят
и спасенных
пылающие звезды на Кремле.
Мы их встречаем
песней и салютом,
пустая льдина к северу плывет,
и только кто-то
в озлобленье лютом
последний свой готовит перелет.
Мы хорошо работаем и дышим,
как говорится, пяди не хотим,
но если мы увидим и услышим,
то мы тогда навстречу полетим.
Ты, враг, тоску предсмертную изведай,
мы полетим по верному пути,
чтобы опять — товарищи с победой,
чтобы опять товарища спасти.

<1934>

93. РАТНИК ИВАН ИВАНОВ

Луговина, овраг да горка,
У колодца вода горька,
Гимнастерка, шинель, махорка
И фуражка без козырька.
Вся дорога сбита подковой —
В колеях этих что за толк?
На позицию шел стрелковый
По дороге по этой полк.

И казалось, путей обратных
Никогда нигде не найти,
Шел за ратником в ногу ратник
По разбитому в дым пути.
Не найти молодых и новых,
Хоть разыскивай сотню лет,
Где колеса шестидюймовых
Не оставили бы свой след.
Шли от луга они до луга
(Луговина — моя страна) —
Всё Уфимская и Ветлуга,
Всё Тамбовщина, Кострома.
За Россию, за богородиц —
От молебна в глазах туман —
Шел на битву нижегородец,
На войну Иванов Иван.
Где болело — какое место?
Где ноге в сапоге тесно?!
Из Семеновского уезда
Шло вдогонку за ним письмо.
В нем писали ему речисто,
Что картошка едва-едва
Уродилась, но водяниста. . .
Хлеба хватит до Рождества.
Что беда привела несчастье —
Почему-то не вымок лен,
Захворала жена Настасья,
И во первых строках поклон.
Тучи шли над полком, горбаты,
А ноге в сапоге тесно, —
Где-то возле горы Карпаты
Получил Иванов письмо.

До войны пролежала дорога,
Слезы капая велики.
Ночью выяснилась тревога,
Сразу рота пошла в штыки.
Пахло кровью, как от угара,
Мягких трупов катился ком,
Иванову тогда мадьяры
Пропороли живот штыком.
И в атаку шагнули снова.

Уцелевшие каждый раз
Про товарища Иванова
Невеселый вели рассказ.
Не сказать стихами такого —
Может, мать и жена жива?
Далеко от Карпат Дьяково...
Может, хватит до Рождества?

<1934>

94. СКАЗАНИЕ О ГЕРОЕ ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ ТОВАРИЩЕ ГРОМОВОЕ

Про того Громобоя напасти
происходит легенда сия
от лишения жизни и власти
государя России всея.

Как зазвякали звезды на шпорах,
Громобой вылетает, высок, —
возле-около пыхает порох
и пропитанный кровью песок.

Возгласите хвалу Громобою,
что прекрасен донельзя собой, —
сорок армий ведет за собою,
состоя во главе, Громобой.

И упала от края до края
эта сила, как ливень камней,
угнетатели, прочь удирая,
засекают кубанских коней.

И графья,
и князья,
и бароны,
и паны — до урядника вплоть,
и терзают орлы и вороны
их убитую мягкую плоть.

Поразбросаны всюду, как рюхи,
насекомые скачут по лбам,

и тогда победителю в руки
телеграммы идут по столбам.

Громобой по печатному дока,
содержанье имеет в мозгу —
что в течение
краткого срока
самолично явиться в Москву...

Приказание буквой любую
получается, в сердце звеня,
и подводят коня Громобойю —
Громобой не желает коня.

А моторы, качаясь и воя,
поднимаются прямо до звезд —
самолет до Москвы Громобоя
во мгновение ока довед.

Облака проплывают, как сало,
он рукой ощущает звезду,
и в Москве Громобой у вокзала
вылезает на полном ходу.

Возгласите хвалу Громобойю,
что прекрасен донельзя собой,
он и нас поведет за собою,
состоя во главе, Громобой.

<1934>

95. СКАЗАНИЕ О СЫНЕ ТОВАРИЩА ГРОМОБОЯ

Мы Громобоя не порочим
внезапным сообщеньем сим,
что у него, промежду прочим,
случайно оказался сын.
Пока крестьянам и рабочим
свободу добывал отец,
сын подрастал.
Промежду прочим,
ужасно жуткий молодец.

Сияла шея в два обхвата —
зачем такая? Вот вопрос.
И пальцы словно у ухвата,
и загогулиною нос.
Быков пугал щекою алой,
на левый глаз немного кос
и озорник.
Но милый малый,
промежду прочим, рос да рос.
И вот отец — герой и воин —
приехал под вечер домой,
великой чести удостоен:
предсельсовета...
Боже мой...
Штаны — подобные бутылкам.
Он входит в избу веселó,
гремит о матицу затылком
и материт на всё село.
Рукой корявой чешет проседь —
ведь больно все-таки...
А сын
приподнимается и просит:
— Не выражайтесь, гражданин...
И Громобой, узревший сына,
невероятно изумлен,
стоит, простите, как дубина
и хлопает глазами он.
Конечно, горло давит спазма,
но все-таки, придя в себя:
— Молокосос!..
— Дурак!..
И разню
он кроет юношу, сопя.
И глазом двигая кроваво
и напрягая связки жил,
орет, что я имею право,
поскольку кровью заслужил.
А ты передо мною — детство,
ты сопли вытри, не забудь,
поскольку все-таки отец твой
я, сукин сын, не кто-нибудь.
А сын, подлец,

горяч и звонок,
орет — в ушах трезвонит аж:
— Я революции ребенок
и сын,
а уж никак не ваш.
И долго пререканья эти
происходили глаз на глаз —
самостоятельные дети
какие все-таки у нас!
И кто кому там задал взбучку?
Шумели оба вперебой.
Потом по улице под ручку
пошли и сын
и Громобой.

<1934>

96. ЭДУАРДУ БАГРИЦКОМУ

Так жили поэты.

А. Блом

Охотник, поэт, рыбовод...

А дым растекался по крышам,
И гнилью гусиных болот
С тобою мы сызнава дышим.

Ночного привала уют
И песня тебе не на диво...
В одесской пивной подают
С горохом багровое пиво,

И пена кипит на губе,
И между своими делами
В пивную приходят к тебе
И Тиль Уленшпигель и Ламме.

В подвале сыром и глухом,
Где слушают скрипку дрянную,
Один закричал петухом,
Другой заказал отбивную,

А третий — большой и седой —
Сказал:

— Погодите с едой,
Не мясом единственным сыты
Мы с вами, друзья одесситы,
На вас напоследок взгляну.
Я завтра иду на войну
С бандитами, с батькой Махноу...

Я, может, уже не спою
Ах, Черному, злomu, ах, морю
Веселую песню мою...

Один огорчился простак
И вытер пенужные слезы...
Другой улыбнулся:
— Коль так,
Багрицкий, да здравствуют гёзы! —
А третий, ремнями звеня, *
Уходит, седея, как соболю,
И на ночь копыто коня

Он щепочкой чистит особой.
Ложись на тачанку.
И вся
Четверка коней вороняя,

Тачанку по ветру неся,
Копытами пыль подминая,
Несет партизана во тьму,
Храпя и вздыхая сердито,

И чудится ночью ему
Расстрел Опанаса-бандита...
Охотник, поэт, рыбовод...
А дым растекался по крышам,
И гнилью гусиных болот
С тобою мы сызнава дышим.

И молодость — горькой и злой
Кидается, бьется по жилам,
По Черному морю и в бой —
Чем радовался и жил он.

Ты песни такой не отдашь,
Товарищ прекрасной породы.
Приходят к нему на этаж
Механики и рыбоводы,

Поэты идут гуртом
К большому, седому, как замять,
Садятся кругом — потом
Приходят стихи на память.

Хозяин сидит у стены,
Вдыхая дымок от астмы,
Как некогда дым войны,
Тяжелый, густой, опасный.

Аквариумы во мглу
Текут зеленым окружем,
Двустволки стоят в углу —
Центрального боя ружья.

Серебряная ножна
Кавалерийской сабли,
И тут же начнет меж нас
Его подмосковный зяблик.

И осени дальней цвель,
И рыбам плескаться дружно,
И всё в этой комнате есть,
Что только поэтам нужно.

Охотник, поэт, рыбовод,
Венками себя украся,
В гробу по Москве плывет,
Как по морю на баркасе.

И зяблик летит у плеча
За мертвым поэтом в погоне.
И сзади идут фырча
Кавалерийские кони.

И Ламме — толстяк и простак —
Стирает последние слезы;

Свистит Уленшпигель: коль так,
Багрицкий, да здравствуют гёзы...
И снова, не помнящий зла,
Рассвет поднимается ярок,
У моего стола
Двустволка — его подарок.

Разрезали воду ужи
Озер полноводных и синих.

И я приготовил пыжи
И мелкую дробь — бекасинник, —
Вставай же скорее,
Вставай
И руку на жизнь подавай.

2 марта 1934

97. СОЛОВЬИХА

У меня к тебе дела такого рода,
что уйдет на разговоры вечер весь, —
затвори свои тесовые ворота
и плотней холстиной окна занавесь.
Чтобы шли подруги мимо,
парни мимо
и гадали бы и пели бы скорбя:
— Что не вышла под окошко, Серафима?
Серафима, больно скучно без тебя...
Чтобы самый ни на есть раскучерявый,
рвя по вороту рубахи алый шелк,
по селу Ивано-Марьину с оравой
мимо окон под гармонику прошел.
Он всё тенором,
всё тенором,
со злобой
запевал — рука протянута к ножу:
— Ты забудь меня, красавица,
попробуй...
Я тебе тогда такое покажу...
Если любишь хоть всего наполовину,
подожду тебя у крайнего окна,

постелю тебе пиджак на луговину
довоенного и тонкого сукна.
А земля дышала, грузная от жиру,
и от омота Соминого левей
соловьи сидели молча по ранжиру,
так что справа самый старый соловей.
Перед ним вода — зеленая, живая,
мимо заводей несется напролом —
он качается на ветке, прикрывая
соловьишу годовалую крылом.
И трава грозой весеннею измята,
дышит грузная и теплая земля,
голубые ходят в омуте сомята,
поларшинными усами шевеля.
А пиявки, раки ползают по илу,
много ужаса вода в себе таит —
щука — младшая сестрица крокодилу —
неживая возле берега стоит...
Соловьиша в тишине большой и душной...

Вдруг ударил золотистый вдалеке,
видно, злой и молодой и непослушный,
ей запел на соловьином языке:
— По лесам,
на пустырях
и на равнинах
не найти тебе прекраснее дружка —
принесу тебе яичек муравьиных,
нащиплю в постель я пуху из брюшка.
Мы постелем наше ложе над водою,
где шиповники все в рёзанах стоят,
мы помчимся над грозой, над бедою
и народим два десятка соловьят.
Не тебе прожить, без радости старея,
ты, залетная, ни разу не цвела,
вылетай же, молодая, поскорее
из-под старого и жесткого крыла.

И молчит она,
всё в мире забывая, —
я за песней, как за гибелью, слежу...
Шаль накинута на плечи пуховая...

— Ты куда же, Серафима?
— Ухожу. —
Кисти шали, словно перышки, расправя,
влюблена она,
красива,
нехитра —
улетела.
Я держать ее не вправе —
просижу я возле дома до утра.
Подожду, когда заря сверкнет по стеклам,
золотая сгаснет песня соловья —
пусть придет она домой
с красивым,
с теплым —
меркнут глаз его татарских лезвия.
От нее и от него
пахнуло мятой,
он прощается
у крайнего окна,
и намок в росе
пиджак его измятый
довоенного и тонкого сукна.

5 апреля 1934

98

Знакомят молодых и незнакомых
в такую злую полночь соловьи,
и вот опять секретари в райкомах
поют переживания свои.
А под окном щебечут клен и ясень,
не понимающие директив,
и в легкий ветер, что проходит, ясен,
с гитарами кидается актив.
И девушку с косой тяжелой, русской
(а я за неразумную боюсь)
прельщают обстоятельной нагрузкой,
любовью, вовлечением в союз.
Она уходит с пионервожатым
на озеро — и песня перед ней...

Над озером склоняясь, как над ушатом,
они глядят на пестрых окуней.
Как тесен мир.
Два с половиной метра
прекрасного прибрежного песка,
да птица серая,
да посвист ветра,
да гнусная козявка у виска.
О чем же думать в полночь?
О потомках?
О золоте?
О ломоте спинной?
И песня задыхается о том, как
забавно под серебряной луной...
Под серебряной луной,
в голубом садочке,
над серебряной волной,
на златом песочке
мы радуемся — мальчики — и плачем,
плывет любовь, воды не замутив,
но все-таки мы кое-что да значим,
секретари райкомов и актив.
Я буду жить до старости, до славы
и петь переживания свои,
как соловьи щебечут, многоглавы,
многоязыки, свищут соловьи.

9 апреля 1934

99. ОТКРЫТИЕ ЛЕТА

Часу в седьмом утра, зевая,
спросонья подойду к окну —
сегодня середина мая,
я в лето окна распахну.
Особенно мне ветер дорог,
он раньше встал на полчаса
и хлопаньем оконных створок
и занавеской занялся.
Он от Елагина, от парка,
где весла гнутся от воды,
где лето надышало жарко

в деревья,
в песню
и пруды,
в песок, раскиданный по пляжу,
в гирлянд затейливую пряжу,
в желающие цвеств сады...

Оно приносит населению
зеленые свои дары,
насквозь пропахшее сиренью,
сиреневое от жары,
и приглашает птичьим свистом
в огромные свои сады,
всё в новом,
ситцевом
и чистом,
и голубое от воды,
всё золотое,
расписное,
большое,
легкое,
лесное,
на гичке острой,
на траве,
на сквозняке,
на светлом зное
и в поднебесной синеве.

Я ошалел от гама, свиста
и песни, рвущейся к окну, —
рубаху тонкого батиста
сегодня я не застегну.

Весь в легком, словно в паутинах,
туда, где ветер над рекой, —
я парусиновый ботинок
шнурую быстрою рукой,
туда, где зеленеет заросль,
где полводы срезает парус,
где две беды,
как полбеды,
где лето кинулось в сады.

Я позвоню своей дивчине
4-20-22,
по вышесказанной причине
скорей
туда,
на Острова.

Вы понимаете? Природа,
уединенье в глубь аллея —
мои четыре бутерброда
ей слаще всяких шницелей.
Мне по-особенному дорог,
дороже всяческих наград
мой расписной,
зеленый город,
в газонах, в песнях
Ленинград.
Я в нем живу,
пою,
ликую,
люблю
и радуюсь цветам,
и я его ни за какую
не променяю,
не отдам.

19 мая 1934

1 Ю. МЕЧТА

Набитый тьмою, притаился омут,
разлегся ямой на моем пути.
Деревья наряжаются и стонут,
и силятся куда-нибудь уйти.
Не вижу дня,
не слышу песен прежних.
Огромна полночь, как вода густа.
Поблизости ударит о валежник
как по льду проскользнувшая звезда.
Мне страшно в этом логове природы —
висит сосны тяжелая клешня.

Меня, как зверя, окружают воды —
там шуки ударяются плашмя,
подскакивая к небу.
Воздух черен,
а по небу, где бурю пронесло,
рассеяно горячих, легких зерен
уму непостижимое число.
Но мне покой в любую полночь дорог, —
он снизойдет, огромный и густой,
и, золотой облюбовав пригорок,
я топором ломаю сухостой.
Я подомну сыреющие травы,
я разведу сияние костра —
едучий дым махорочной отравы,
сырая дрожь — предчувствие утра —
и не заснуть.
Кукушка куковала
позавчера мне семьдесят годов,
чтобы мое веселье побывало
и погуляло в сотне городов,
чтобы прошел я, всё запоминая,
чтоб чистил в кавалерии коня,
чтоб девушка, какая-то иная,
не русская,
любила бы меня.
Она, быть может, будет косоглаза,
и некрасива, может быть, она.
Пролезет в сердце гулкое, пролаза,
и там начнет хозяйничать одна.
Деревья ходят парами со стуком,
летит вода,
рождаются года, —
мы сына назовем гортанным звуком,
высоким именем: Карабада.
«Ты покачай Карабаду,
баюкай,
чтоб не озяб, подвинь его к огню».
С какой тоской
и с радостью
и мукой
Карабаде я песню сочиню!
Пройдут его мальчишеские годы,

а он ее запомнит, как одну,
про разные явления природы,
про лошадей,
про саблю,
про войну,
про заячью охоту,
про осину,
про девушку, не русскую лицом,
и никогда не будет стыдно сыну
за песню, сочиненную отцом...

Но мне — пора.

В болоте кряковая
свой выводок пушистый повела.
До вечера мечтанья забывая,
патроны в оба двигаю ствола.
Еще темно,
но лес уже звучащим
тяжелым телом движется вдали,
и птицы просыпаются по чащам,
и девушки по ягоды пошли.

*21 августа 1934
Москва*

101. СО СЪЕЗДА ПИСАТЕЛЕЙ

Это рушится песен лава,
как вода, горяча, жива:
наша молодость,
наша слава,
все наречия и слова.
И бараньи плывут папахи,
прихотливы и велики,
шелком вышитые рубахи
и английские пиджаки.
Самой красочной песни — длинной
путь-дорогой, строфа, беги,
так же мягко идут козлиной
тонкой кожицы сапоги.
Горным ветром на нас подуло,
в облаках моя голова —

заунывные из аула
закружили меня слова.
Здесь, товарищи, без обмана,
песня славная глубока —
я приветствую Сулеймана,
дагестанского старика.
Мы гордимся такой нагрузкой —
замечателен песен груз —
и таджик, и грузин, и русский,
и татарин, и белорус.
Мы не сложим такого груза
на прекрасном пути своем —
мы, поэты всего Союза,
собираемся и поем.
О горах, уходящих в небо,
о морях молодого хлеба,
об Украине и Сибири,
о шиповнике над водой,
о стране — самой лучшей в мире,
самой вечной и молодой.
Это песню залетную птичью
мы на сотни поем голосов,
похваляясь пушшиной и дичью
всех опушек, болот и лесов,
лососиной,
охотой лосиной,
поговоркою областной,
похваляясь
березой,
осиной,
краснораменскою сосной.
Мы любимся всем —
пилотом,
побежденным смертельным льдом,
стратостатами,
Красным Флотом,
обороною
и трудом.
Нашей родины степи, склоны,
мы, как песню, берем на щит.
Пушкин смотрит на нас с колонны,
улыбается и молчит.

Всё прекраснее и чудесней
этот славный для нас старик,
и его поминает песней
всякий суший у нас язык.

*23 августа 1934
Москва*

102. ВЕЧЕР

Гуси-лебеди пролетели,
чуть касаясь крылом воды,
плакать девушки захотели
от неясной еще беды.
Прочитай мне стихотворенье,
как у нас вечера свежи,
к чаю яблочного варенья
мне на блюдечко положи.
Отчасвничали, отгуляли,
не пора ли, родная, спать, —
спят ромашки на одеяле,
просыпаются ровно в пять.
Вечер тонкий и комариный,
погляди, какой расписной,
завтра надо бы за малиной,
за пахучею,
за лесной.
Погуляем еще немного,
как у вас вечера свежи!
Покажи мне за ради бога,
где же Керженская дорога,
обязательно покажи.
Постоим под синей звездой.
День ушел со своей маетой.
Я скажу, что тебя не стою,
что тебя называл не той.
Я свою называю куклой —
брови выщипаны у ней,
губы крашены спелой клюквой,
а глаза синевы синей.
А душа — я души не знаю.

Плечи теплые хороши.
Земляника моя лесная,
я не знаю ее души.
Вот уеду. Святое слово,
не волнуясь и не любя,
от Ростова до Бологого
буду я вспоминать тебя.
Золотое твое варенье,
кошку рыжую на печи,
птицу синего оперения,
запевающую в ночи.

30 сентября 1934
Н. Петергоф

103. ОДИНОЧЕСТВО

Луны сиянье белое
сошло на лопухи,
ревут, как обалделые,
вторые петухи.
Река мерцает тихая
в тяжелом полусне,
одни часы, тиктикая,
шагают по стене.
А что до сна касаемо,
идет со всех сторон
угрюмый храп хозяина,
усталый сон хозяина,
ненарушимый сон.
Приснился сон хозяину:
идут за ним грозя,
и убежать нельзя ему,
и спрятаться нельзя.
И руки, словно олово,
и комната тесна,
нет, более тяжелого
он не увидит сна.
Идут за ним по клеверу;
не спрятаться ему,
ни к зятю,



и ни к деверю,
ни к сыну своему.
Заполонили поле,
идут со всех сторон,
скорее силой воли
он прерывает сон.
Иконы все, о господи,
по-прежнему висят,
бормочет он:
— Овес, поди,
уже за пятьдесят.
А рожь, поди, кормилица,
сама себе цена.
— Без хлеба истомилися,
скорей бы новина.
Скорей бы жатву сладили,
на мельницу мешок,
над первыми оладьями
бы легкий шел душок.
Не так бы жили грязненько,
закуски без числа,
хозяйка бы для праздника
бутылку припасла.
Знать, бога не разжалобить,
а жизнь невесела,
в колхозе, значит, стало быть,
пожалуй, полсела.
Вся жизнь теперь
у них она,
как с табаком кисет...
Встречал соседа Тихона:
— Бог помочь, мол, сосед...
А он легко и просто так
сказал, прищуря глаз:
— В колхозе нашем господа
не числятся у нас.
У нас поля — не небо,
земли большой комок,
заместо бога мне бы
ты лучше бы помог.
Вот понял в этом поле я
(пословица ясна),

что смерть,
а жизнь тем более
мне на миру красна.
Овес у нас — высот каких...
Картошка — ананас...
И весело же все-таки
сосед Иван, у нас.
Вон косят под гармонику,
да что тут говорить,
старуху Парамонику
послали щи варить.
А щи у нас наваристы,
с бараниной,
с гусем.
До самой точки — старости —
мы при еде, при всем.

На воле полночь тихая,
часы идут, тиктикая,
я слушаю хозяина —
он шепчет, как река.
И что его касает,
мне жалко старика.
С лица тяжелый, глиняный,
и дожил до седины,
и днем один,
и в ночь один,
и к вечеру один.
Но, впрочем, есть компания,
друзья у старика,
хотя, скажу заранее, —
собой невелика.
Царица мать небесная,
отец небесный царь
да лошадь бессловесная,
бессмысленная тварь.

Ночь окна занавесила,
но я заснуть не мог,
мне хорошо,

мне весело,
что я не одинок.
Мне поле песню вызвени,
колосья-соловьи,
что в Новгороде,
Сызрани
товарищи мои.

15 ноября 1934

104. ПРОЩАНИЕ

На краю села большого —
пятистенная изба...
Выйди, Катя Ромашова, —
золотистая судьба,
Косы русы,
кольца,
бусы,
сарафан и рукава,
и пройдет, как солнце в осень,
мимо песен,
мимо сосен, —
поглядите, какова.
У зеленого причала
всех красивее была, —
сто гармоник закричало,
сто девчонок замолчало —
это Катя подошла.
Пальцы в кольцах,
тело бело,
кровь горячая весной,
подошла она,
пропела:
— Мир компании честной.
Холостых трясет
и вдовых,
соловьи молчат в лесу,
полкило конфет медовых
я Катюше поднесу.
— До свидания, — скажу,
я далёко ухожу...

Я скажу, тая тревогу:
— Отгуляли у реки,
мне на дальнюю дорогу
ты оладий напеки.
Провожаешь холостого,
горя не было и нет,
я из города Ростова
напишу тебе привет.
Опишу красивым словом,
что разлуке нашей год,
что над городом Ростовом
пролетает самолет.
Я пою разлуке песни,
я лечу, лечу, лечу,
я летаю в поднебесье —
петли мертвые кручу.
И увижу, пролетая,
в светло-розовом луче:
птица — лента золотая —
на твоём сидит плече.
По одной тебе тоскую,
не забудь меня — молю,
молодую,
городскую
никогда не полюблю...
И у вечера большого,
как черемуха встает,
плачет Катя Ромашова,
Катя песен не поет.
Провожу ее до дому,
сдам другому, молодому:
— До свидания, — скажу, —
я далёко ухожу...
Передай поклоны маме,
попрощайся из окна...
Вся изба в зеленой раме,
вся сосновая она,
петухами и цветами
разукрашена изба,
колосками,
васильками —
сколь искусная резьба!

Молодая яблонь тает,
у реки поет народ,
над избой луна летает,
Катя плачет у ворот.

17 ноября 1934:

**105. КАК ОТ МЕДА
У МЕДВЕДЯ ЗУБЫ НАЧАЛИ БОЛЕТЬ**

Вас когда-нибудь убаюкивали, мурлыкая?
Песня маленькая,
а забота у ней великая,
на звериных лапках песенка,
с рожками,
с угла на угол ходит вязаными дорожками.
И тепло мне с ней
и забавно до ужаса...
А на улице звезды каменные кружатся...
Петухи стоят,
шеи вытянуты,
пальцы скрючены,
в глаз клевать с малолетства они приучены.
И луна щучьим глазом плывет замороженным,
елка мелко дрожит от холода
телом скореженным,
а над елкою мечется
птица черная,
птица дикая,
только мне хорошо и уютно:
песня трется о щеку, мурлыкая.

Спи, мальчишка, не ревь —
по садам идет медведь,
меду жирного, густого,
хочет сладкого медведь.
А за банею подряд
ульи круглые стоят,

все на ножках на куриных,
все в соломенных платках,

а кругом, как на перинах,
пчелы спят на васильках.

Спят березы в легких платьях,
спят собаки со двора,
пчеловоды на полатах,
и тебе заснуть пора.

Спи, мальчишка, не ревь,
заберет тебя медведь,

он идет на ульи боком,
разевая старый рот,
и в молчании глубоко

прямо горстью мед берет,
прямо лапой, прямо в пасть
он пропихивает сладость.

И, конечно, очень скоро
наедается, ворча.
Лапа толстая у вора
вся намокла до плеча.

Он сосет ее и гложет,
отдувается: капут, —
он полпуда съел, а может,
не полпуда съел, а пуд.

Полежать теперь в истоме
волосатому сладене.

Убежать, пока из Мишки
не наделали колбас,
захватив себе под мышку
толстый улей про запас.

Спит во тьме собака-лодырь,
спят в деревне мужики,
через тын, через колоды.

до берлоги, напрямки
он заплюхал, глядя на ночь,
волосатая гора,
Михаил — медведь — Иваныч, —
и ему заснуть пора.

Спи, мальчишка — не реветь —
не ушел еще медведь,
а от меда у медведя
зубы начали болеть.

Боль проникла как проныра,
заходила ходуном,
сразу дернуло,
заньло
в зубе правом коренном.
Засвистело,
затрясло,
щеку набок разнесло.
Обмотал ее рогожей,
потерял медведь покой,
был медведь — медведь пригожий,
а теперь на что похожий —
с перевязанной щекой,
некрасивый, не такой.

Скачут елки хороводом,
ноет пухлая десна,
где-то бросил улей с медом —
не до меду,
не до сна,
не до сладостей медведю,
не до радостей медведю.

Спи, мальчишка, не реветь,
зубы могут заболеть.

Шел медведь,
стонал медведь,
дятла разыскал медведь.

Это щеголь в птичьем свете,
в красном бархатном берете,
в тонком черном пиджаке,
с червяком в одной руке.

Нос у дятла весь точеный,
лакированный,
кривой,
мыт водою кипяченой,
свежей высушен травой.

Дятел знает очень много,
он медведю сесть велит,
дятел спрашивает строго:
— Что у вас, медведь, болит?

Зубы?
Где? —
С таким вопросом
он глядит медведю в рот
и своим огромным носом
у медведя зуб берет.

Приналег
и сразу грубо,
с маху выдернул его...
Что медведь — медведь без зуба?
Он без зуба ничего.
Не дерись
и не кусайся,
бойся каждого зверька,
бойся волка,
бойся зайца,
бойся хмурого хорька.

Скучно —
в пасти пустота,
разыскал медведь крота.

Подошел к медведю крот,
поглядел медведю в рот,

а во рту медвежьем душно,
зуб не вырос молодой —
крот сказал медведю: нужно
зуб поставить золотой.

Спи, мальчишка, надо спать,
в темноте медведь опасен,
он на всё теперь согласен,
только б золото достать.

Крот сказал ему: покуда
подождите, милый мой,
я вам золота полпуда
накопаю под землей.
И уходит крот горбатый,
и в полях до темноты
роют землю, как лопатой,
ищут золото кроты.

Ночью где-то в огородах
откопали самородок.

Спи, мальчишка, не реветь,
ходит радостный медведь,
щеголяет зубом свежим,
пляшет Мишка молодой,
и горит во рту медвежьем
зуб веселый золотой.

Всё синее, всё темнее
над землей ночная тень.
Стал медведь теперь умнее,
чистит зубы каждый день,
много меду не ворует,
ходит пухлый и не злой
и сосновой пломбирует
зубы белые смолой.

Спи, мальчишка, не реветь,
засыпает наш медведь,

спят березы,
толстый крот
спать приходит в огород.
Рыба сонная плеснула,
дятлы вымыли носы
и заснули.
Всё заснуло —
только тикают часы. . .

1934

106. ЕЛКА

Рябины пламенные грозди,
и ветра голубого вой,
и небо в золотой коросте
над неприкрытой головой.
И ничего —
ни зла, ни грусти.
Я в мире темном и пустом,
лишь хрустнут под ногою грозди,
чуть-чуть прикрытые листом.
Здесь всё рассудку незнакомо,
здесь делай всё — хоть не дыши,
здесь ни завета,
ни закона,
ни заповеди,
ни души.
Сюда как бы всего к истоку,
здесь пухлым елкам нет числа.
Как много их. . .
Но тут же сбоку
еще одна произросла,
еще младенец двухнедельный,
он по колену в землю врыт,
уже с иголочки,
натальной
зеленой шубкою покрыт.
Так и течет, шумя плечами,
пошатываясь,
ну, живи,

расти, не думая ночами
о гибели и о любви,
что где-то смерть,
кого-то гонят,
что слезы льются в тишине
и кто-то на воде не тонет
и не сгорает на огне.
Живи.—
и не горюй,
не сетуй,
а я подумаю в пути:
быть может, легче жизни этой
мне, дорогая, не найти.
А я пророс огнем и злобой,
посыпан пеплом и золой, —
широколобый,
низколобый,
набитый песней и хулой.
Ходил на праздник я престольный,
гармонь надев через плечо,
с такую песней непристойной,
что богу было горячо.
Меня ни разу не встречали
заботой друга и жены —
так без тоски и без печали
уйду из этой тишины.
Уйду из этой жизни прошлой,
веселой злобы не тая, —
и в землю втоптана подошвой —
как елка — молодость моя.

1934

107. РАЗГОВОР С ТАТАРСКИМ ПОЭТОМ

Ты не русский — тем не менее
мы пройдемся налегке —
прочитай мне сочинение
на татарском языке.
Ты татарин — и тем более,
одинаково любя

нашу молодость, до боли я
рад приветствовать тебя.
Впереди земля огромная —
ей ни края, ни межи. . .
Как же ваша автономная
поживает, расскажи? . .
Я скажу тебе — не вымыслю,
ты, пожалуйста, поверь:
я татарин — только с примесью
и других еще кровей.
Может быть, прабабка-пленница
зачала под гром копыт —
и во мне дымит и пенится
кровь Батыевой тропы.
Но, вернее, не по крови я
узнаю в тебе свое:
нас роднила ночь багровая —
наше бедное житье.
Мы живали только впроголодь
на квартире у Беды,
мы ходили только около,
возле хлеба и воды.
А любили. . .
Не любили мы —
вся земля, как мертвый сад,
где смеются только филины,
где на свадьбе голосят.
Вот такая песня скверная,
ты такую сочини. . .
И сейчас тебе, наверное,
не по крови я сродни.
Я сродни тебе по знамени
наших радужных огней —
осветили сразу нам они
голубые травы дней.
Где была полночь темная,
там, веселье не тая, —
молодая, автономная
и советская твоя.
Мы с тобой под солнцем радужным —
ты стоишь,
и я стою. . .

Отплатить за радость надо ж нам,
ты поешь,
и я пою.
Пусть идет путями узкими
и просторами она,
на татарском ли,
на русском ли —
песня все-таки одна.

1934
Москва

108. ПРАДЕД

Сосны падают с бухты-барухты,
расшибая мохнатые лбы,
из лесов выбегая на тракты,
телеграфные воют столбы.
Над неслышной тропею свисая,
разрастаются деревья,
дует ветра струя косая,
и токуют тетерева.
Дым развеян тяжелым полетом
одряхлевшего глухаря,
над прогалиной, над болотом
стынет маленькая заря.
В этом логове нечисти много —
лешаки да кликуши одни,
ночью люди не нашего бога
золотые разводят огни.
Бородами покрытые сроду,
на высокие звезды глядят,
молча греют вонючую воду
и картофель печеный едят.
Молча слушают: ходит дубрава —
даже оторопь сразу берет,
и налево идет, и направо
и ревет, наступая вперед.
Самый старей, огромного роста,
до бровей бородат и усат,
под усами, шипя, как береста,
ядовитый горит самосад.

Это черные трупы растений
разлагаются на огне,
и мохнатые, душные тени
подступают вплотную ко мне.
Самый старый — огромный и рыжий,
прадед Яков идет на меня
по сугробу, осиновою лыжей
по лиловому насту звеня.
Он идет на меня, как на муки,
и глаза прогорают дотла,
горячи его черные руки,
как багровая жижа котла.
— Прадед Яков. . . Под утро сегодня
здесь, над озером, Керженца близ,
непорочная сила господня
и нечистая сила сошлись.
Потому и ударила вьюга,
черти лысые выли со зла,
и — предвестница злого недуга —
лихоманка тебя затрясла.
Старый коршун — заела невзгода,
как медведь, подступила, сопя.
Я — последний из вашего рода —
по ночам проклиная себя.
Я такой же — с надежной ухваткой,
с мутным глазом и с песней большой,
с вашим говором, с вашей повадкой,
с вашей тягостною душой.
Старый черт, безобразник и бабник,
дни, по-твоему, наши узки,
мало свиста и песен похабных,
мало горя, не больше тоски.
Вы, хлебавшие зелья вдосталь,
били даже того, кто не слаб,
на веку заимели до ста
щекотливых и рыжих баб.
Много тайного кануло в Каму,
в черный Керженец, в забытье,
но не имеет душа твоя сраму,
прадед Яков — несчастье мое.
Старый коршун — заела невзгода,
как медведь, подступила, сопя.

Я — последний из вашего рода —
по ночам проклиная себя.
Я себя разрываю на части
за родство вековое с тобой,
прадед Яков — мое несчастье, —
снова вышедший на разбой.
Бей же, взявший купца на мушку,
деньги в кучу,
в конце концов
сотню сунешь в церковную кружку:
— На помин убиенных купцов, —
а потом
у своей Парани —
гармонисты,
истощный крик —
снова гирями, топорами
разговоры ведет старик.
Хлещет за полночь воплем и воем,
вы гуляете — звери — ловки,
вас потом поведут под конвоем
через несколько лет в Соловки.
Вы глаза повернете косые,
под конец подводя бытие,
где огромная дышит Россия,
где рождение будет мое.

1934

109. КОМАНДАРМ

Вот глаза закроешь —
и полвека
на рысях пройдет передо мной,
половина жизни человека,
дымной опаленная войной.
Вот глаза закроешь только —
снова
синих сабель полыхает лед,
и через Галицию до Львова
конница Республики идет.
Кони в яблоках и вороные.

дробь копыт размашистых глуха,
запевают песню головные,
все с кубанским выдохом на ha:
— нады отовсюду, но недаром
длинных сабель развернулся ряд,
бурка крыльями над командармом,
и знамена грозные горят.
Под Воронежем
и под Касторной
всё в пороховом дыму серо,
и разбиты Мамонтов
и черный
наголову
генерал Шкуро.
Это над лошажьей мордой дикой
на врага,
привстав на стремяна,
саблюю ударила
и пикой
полстраны,
коли не вся страна.
Сколько их сияло,
сабель острых,
сколько пик поломано —
о том
может помнить Крымский полуостров,
Украина, и Кубань, и Дон.
Не забудем, как в бою угарно,
как ходили красные полки,
как гуляла сабля командарма —
продолжение его руки.
Командарм —
теперь такое дело —
свищет ветер саблюю кривой,
пятьдесят сражений пролетело
над твоею славной головой.
И опять — под голубую высью
через горы, степи и леса,
молодость раскачивая рысью,
конные уходят корпуса.
Песня под копытами пылится,
про тебя дивизия поет —

хлеборобу ромбы на петлицы
только революция дает.
Наша революция,
что с бою
всё взяла,
чей разговор не стих,
что повсюду и всегда с тобою
силою луганских мастерских.
И когда ее опять затронут
яростным дыханием огня —
хватит песен,
сабель
и патронов,
за тобой мы сядем на коня
и ударим:
— С неба полуденного...
Свистнут пальцы с левого крыла —
это значит — песня про Буденного
впереди конармии пошла.

1934

110. КИРОВУ

Ни шороха и ни стука —
убийца дрожит слегка.
Потливая, как гадюка,
в карман заползла рука.
Убийца — на карауле,
он гибель с собой привел,
головка змеиная пули
глядит в вороненый ствол.
Не слышно гадючьего свиста
за грохотом выстрела. И
окончена жизнь коммуниста
от яда гремучей змеи.
Мы встанем. Одновременно,
как вечный и тягостный сон,
опустятся наши знамена —
сто тысяч багровых знамен,
сто тысяч, в боях запыленных,

над гробом опустятся вновь —
сегодня на этих знаменах
товарища Кирова кровь.
Убийца! За выстрелом этим
ты гибель свою карауль,
на каждую пулю ответим
не пулей, а тысячью пуль,
победою нашей огромной,
кипящей от крови жары,
и каждую новую домной,
турбинами для Ангары.
Спи, Киров,
мы будем твоими
бойцами на веки веков,
нести твое славное имя
дорогою большевиков.

1934

111. ЛЕНИНГРАДСКИЕ СТИХИ

1.

Снова сговором ветра и стужи
по садам засушило траву,
из тяжелой Маркизовой лужи
гнало воду обратно в Неву.

До Елагина,
до Голодая
шла вода, соразмерна беде,
и деревья, дрожа, холодая,
по колена стояли в воде.

Над Васильевским,
над Петроградской,
несмывающейся, дорогой,
небо крашено странною краской —
то ли черною,
то ли другой.

Что такое?
Зима, что ли, близко?
И туман по ночам моросит,
и по городу сыро и склизко,
и над городом темень висит.

Снова ветер —
по-сучьи завыл он,
задрожали во тьме Острова,
между Ладогою и заливом
вся пятниста от злобы Нева.

2

Мы с тобою в кино «Аврора»,
гаснут лампочки,
бьет звонок, —
ни улыбки,
ни разговора —
сабля,
гром лошадиных ног.
Песня вьется — залетный сокол,
тихо слушаю, не дыша:
запевает начдив высоко
про безмолвие Иртыша.
И казалось — не на экране —
пули бьют над живой рекой,
он платок прижимает к ране,
ощутимый моей рукой.
То взрываясь,
то потухая,
барабанная дробь вдали,
а кругом тишина глухая —
это каппелевцы пошли.
Сразу видно —
отчаянья ради
под огнем их ряды ровны,
и винтовки, как на параде,
и венгерки,
и гáлуны.
Партизаны, глядите в оба!..

Да стреляйте же,
цельте в лоб.
Офицерская хлынет злоба,
захлестнет
и зальет окоп.
И стрельба,
и резня,
и рубка —
умирая, дернется бровь,
под штыком маслянистым хрупко
хрустнет горло,
и свистнет кровь.
Но Чапаева сила злая,
вся сверкающая бедой,
проливную саблей гуляя,
на кобыле своей гнедой.
А за ним его бурка струится,
он запомнится мне навек —
то не лошадь,
и то не птица,
и, пожалуй, не человек.
И атака уже отбита,
саблей срезаны галуны.
Тихо.
Только из-под копыта
камни брызгают до луны.

8

Хлынул свет, темноту пугая.
Этот вечер неповторим.
А теперь, моя дорогая,
погуляем,
поговорим
о Чапаеве,
о печали
и о вечере золотом,
о любви расскажу вначале,
о разлуке скажу потом.
Щеки яблочного налива,
хороша у тебя судьба,

оттопырена
и смешлива
чуть подкрашенная губа.
Ты веселая,
дай мне руки,
три часа говори подряд,
на «Светлане» твои подруги
— Ты хорошая, — говорят.
И печаль тебе незнакома,
и глаза зеленым горят,
парни Выборгского райкома
— Ты красивая, — говорят.
Расскажи мне про всё про это,
чуть прищуря кошачий глаз,
как на выборах Ленсовета
выбираешь ты
в первый раз.

4

Ночью с первого на второе
со стихами,
влюблен и рад,
я по Мурманке до Свирьстрога
ехал в поезде в Ленинград.
Я в стихах сочинял о Свири,
о воде ее цвета травы
и о том, что в огромном мире
только мы, как всегда, правы.
Переносим, что всем известно,
нам и силы на то даны,
реки злые с места на место
в два километра ширины.
Я писал, как с боков седая,
вся смятение и беда,
сквозь гребенку
летит, рыдая,
перекошенная вода.
И раскинулся город новый
и к реке подошел в упор,
где когда-то стоял сосновый

и качался
и плакал
бор.

б

Это горести изобилие
с песнью хлынуло,
сбило с ног:
— В Ленинграде вчера убили...
Я поверить никак не мог.
Так же в городе моросило,
фонари мерцали стройны...
Киров.
Это же наша сила
и улыбка нашей страны.
Не сказать хорошо на бумаге,
как алели в туманной пыли
все знамена сегодня и флаги,
что деревья багряные шли,
шелестели.
Кусали губы
комсомольцы и слесаря.
Пели трубы,
гремели трубы,
о любви своей говоря.
О печали, что всем знакома,
и о ненависти своей.
Где-то пел, вылетая из грома,
скрипки яростной соловей.
И когда вся страна сказала
про любовь свою, про тоску, —
поезд с Кировым от вокзала,
задыхаясь, пошел в Москву, —
всех заводов сирены, воя,
звука тонкое острие
в небо бросили
про роковое,
про несчастное,
про свое...

1934

Под утро подморозило немного,
еще не все проснулись —
тишина,
по городу трамвайная дорога
веселым снегом запорошена.
Голы сады —
и вот зимы начало,
с Балтийского корыта холода,
и невская
темнела,
заскучала,
забегала
(не вырваться)
вода.
Иду, свищу...
Мне весело, не тесно.
Я сызнова люблю тебя, зима,
и красными на белом повсеместно
меня в пути приветствуют дома,
плакатами,
и флагами,
и светом
меня зима приветствует в пути,
и над районным Выборгским Советом
и над заводом имени Марти.
Зима пришла,
зима прогнала осень,
ее приход отпраздновал завод,
и по Литейному, дом 48,
где девушка любимая живет.
Она еще вчера мне показала
на пламенный и светлый Ленинград,
на шелковые флаги у вокзала,
на эти крылья, машущие в лад.
И глядя на огней огромных пятна,
на яркое полотнище крыла,
ее любовь
и радость мне понятна,
хорошая,
веселая
была.

А снег летел,
подули ветры хором,
сдувая копоть дымную и вонь, —
как не гордиться городом,
в котором
всех революций клокотал огонь,
в котором пели:
на себя надейся, —
в котором на расстрел
и на штыки
и шли
и падали красногвардейцы,
и шли
и падали большевики.
В котором мы
работали и пели
в метелицу,
в распутицу,
в дыму
и делали по стольку за недели —
за месяцы не сделать никому.
Зима пришла.
Но что нам страшно, людям,
в твоих снегах
и в холоде твоём —
и мы живем,
работаем
и любим,
горюем,
радуемся
и поём.

1934 ?

113. МАМА

Ну, одену я — одёжу —
новую, парадную...
Ну, приеду...
Что скажу?
Чем тебя порадую?

Золотыми ли часами?
Молодыми ли усами?
Встреча добрая такая —
по часам и по усам,
ты узнаешь, дорогая, —
зарабатываю сам.
Помнишь, ты меня родила,
на руках меня носила
и счастливою была.
Ты всегда меня просила —
будь моя утеха-сила, —
и Борисом назвала.
Помнишь, ты меня кормила
и слезою хлеб солила
и картошки напекла —
полагаю, не забыла,
сколько горя в жизни было,
как печальная была.
Ты, наверно, постарела.
(Постареем, мама, все.)
Красота твоя сгорела
на июльской полосе.
Скоро я к тебе приеду —
рослый, шляпа на боку,
прямо к жирному обеду,
к золотому молоку.
Я пройду красивым лугом,
как и раньше — молодцом,
вместе с мамой,
вместе с другом,
вместе с ласковым отцом.
Я скажу,
а вы поверьте,
плача,
радуясь,
любя,
никогда —
до самой смерти
не забуду я тебя.

<1935>

114. ИЗ АВТОБИОГРАФИИ

Мне не выдумать вот такого,
и слова у меня просты —
я родился в деревне Дьяково,
от Семенова — полверсты.
Я в губернии Нижегородской
в житие молодое попал,
земляной покрытый коростой,
золотую картошку копал.
Я вот этими вот руками
землю рыл
и навоз носил,
и по Керженцу
и по Каме
я осоку-траву косил.
На твое, земля,
на здоровье,
теплым жиром, земля, дыши,
получай лепешки коровьи,
лошадиные голяши.
Чтобы труд не пропал впустую,
чтобы радость была жива —
надо вырастить рожь густую,
поле выполоть раза два.
Черноземное поле на озимь
всё засеять,
заборонить,
сеять — лишнего зернышка наземь
понапрасну не заронить.
Так на этом огромном свете
прорастала моя судьба,
вся зеленая,
словно эти
подрастающие хлеба.
Я уехал.
Мне письма слали
о картофеле,
об овсе,
о свином золотистом сале, —
как одно эти письма все.
Под одним существуя небом,

я читал, что овсу капут...
Как у вас в Ленинграде с хлебом
и по сколько рублей за пуд?
Год за годом
мне письма слали
о картофеле,
об овсе,
о свином золотистом сале, —
как одно эти письма все.
Под одним существуя небом,
я читал, что в краю таком
мы до нового хлеба
с хлебом,
со свинойю,
с молоком,
что битком набито в чулане...
Как у вас в Ленинграде живут?
Нас, конечно, односельчане
все зажиточными зовут.
Наше дело теперь простое —
ождается урожай,
в гости пить молоко густое
обязательно приезжай...
И порадовался я с ними,
оглядел золотой простор,
и одно громадное имя
повторяю я с этих пор.
Упрекните меня в изъяне,
год от году
мы всё смелей,
все мы гордые,
мы, крестьяне,
дети сельских учителей.
До тебя, моя молодая,
называя тебя родной,
мы дошли,
любя,
голодая,
слезы выплакав все до одной,

<1935>

Яхта шла молодая, косая,
серебристая вся от света —
гнутым парусом срезая
тонкий слой голубого ветра.
В ноздри дунул соленый запах —
пахло островом, морем, Лахтой...
На шести своих тонких лапах
шли шестерки вровень с яхтой.
Не хватало весел и лодок —
с вышек прыгали прямо в воду,
острой ласточкой пролетая
над зелеными островами,
и дрожала вода золотая,
вся исколотая прыгунами.
Задыхаясь и завывая,
к стадиону летели трамваи,
все от фабрик и от заводов
к стадиону, где легкий отдых.
К стадиону, где каждый стайер.
Каждый спринтер — литейщик, слесарь.
Пролетает, как в птичьей стае,
своего не чувствуя веса.
И трамваи у стадиона
встанут враз.
Их трясет лихорадка.
Их маршруты: Труд — Оборона, —
наверху обозначены кратко.
Мы маршрут и без этого знали,
мы сдаем нашей силы пробу,
и прибывшие парни сняли
заводскую, черную робу.
Вот вам классовый ветра анализ,
наша легкая сила живая,
снова девушки засмеялись,
рыбьей стайкою проплывая.
Солнце пышет веселым жаром,
покрывая плечи загаром,
похваляясь плеч желтизною
(то ли будет через неделю),
я почувствую, что весною
года на три я молодею.

Пойте песню.
Она простая.
Пойте хором и под гитару.
Пусть идет она, вырастая,
к стадиону,
к реке,
к загару.
Пусть поет ее, проплывая
мимо берега,
мимо парка,
вся скользкая,
вся живая,
вся оранжевая байдарка.

<1935>

116

Спичка отгорела и погасла —
Мы не прикурили от нее,
А луна — сияющее масло —
Уходила тихо в бытие.
И тогда, протягивая руку,
Думая о бедном, о своем,
Полюбил я горькую разлуку,
Без которой мы не проживем.
Будем помнить грохот на вокзале,
Беспокойный,
Тягостный вокзал,
Что сказали,
Что не досказали,
Потому что поезд побежал.
Все уедем в пропасть голубую,
Скажут будущие: молод был,
Девушку веселую, люблю,
Как реку весеннюю любил...
Унесет она
И укачает,
И у ней ни ярости, ни зла,
А впадая в океан, не чаёт,
Что меня с собою унесла.

Вот и всё.
Когда вы уезжали,
Я подумал,
Только не сказал,
О реке подумал,
О вокзале,
О земле, похожей на вокзал.
<1935>

117. У МЕНЯ БЫЛА НЕВЕСТА

У меня была невеста,
Белокрылая жена.
К сожаленью, неизвестно,
Где скитается она:
То ли в море,
То ли в поле,
То ли в боевом дыму, —
Ничего не знаю боле
И тоскую потому.
Ты кого нашла, невеста,
Песней чистою звеня,
Задушевная, заместо
Невеселого меня?
Ты кого поцеловала
У Дуная,
У Оки,
У причала,
У обвала,
У обрыва,
У реки?
Он какого будет роста,
Сколько лет ему весной,
Подойдет ли прямо, просто
Поздороваться со мной!
Подойдет —
Тогда, конечно,
Получай, дружок, зарок:
Я скажу чистосердечно,
Чтобы он тебя берег,

Чтобы ты не знала горя,
Альпинистка — на горе,
Комсомолка — где-то в море
Или, может, в Бухаре.

<1935>

118. СЫН

Только голос вечером услышал,
молодой, веселый, золотой,
ошалелый, выбежал — не вышел —
побежал за песенкой за той.
Тосковать, любимая, не стану —
до чего кокетливая ты,
босоногая,
по сарафану
красным нарисованы цветы.
Я и сам одетый был фасонно:
галифе парадные,
ремни,
я начистил сапоги до звона,
новые,
шевровые они.
Ну, гуляли. . .
Ну, поговорили, —
по реке темнее и темней, —
и уху на первое варили
мы из красноперых окуней.
Я от вас, товарищей, не скрою:
нет вкусней по родине по всей
жаренных в сметане —
на второе —
неуклюжих, пышных карасей.
Я тогда у этого привала
подарил на платье кумачу.
И на третье так поцеловала —
никаких компотов не хочу.
Остальное молодым известно,
это было ночью, на реке,
птицы говорили интересно
на своем забавном языке.

Скоро он заплачет, милый, звонко,
падая в пушистую траву.
Будет он похожий на соменка,
я его Семеном назову.
 Попрошу чужим не прикасаться,
побраню его и похваляю,
выращу здорового красавца,
в летчики его определю.
Постарею, может, поседею,
упаду в тяжелый, вечный сон,
но надежду все-таки имею,
что меня не позабудет он.

<1935>

119. ДОРОГА

Я в жизни не видывал этаких круч...
Ущельями,
лесом,
долиной
проходим путями распаренных туч,
несемся дорогой орлиной.
Отчаянный ветер сечет по лицу:
бешено свищет движенье...
Ущелье Аштырь
и ущелье Ахцу —
тоска,
головокруженье.
Дорога опасна,
узкая,
высока —
и силы
и смелости проба.
А где-то внизу
клокочет река —
о камни разбитая злоба.
А туча лилова,
а сбоку скала
качается зверем белесым,
местами плешива,



от солнца бела,
местами покрытая лесом.
Наверх не взобраться —
не хватит мне рук,
хоть камень ногтями царапай,
но в эту громадину
яростный бук
вцепился огромною лапой.
Отвесно,
опасно,
голо,
бело, —
покатая бы другая —
всё время держаться ему тяжело,
он плачет, изнемогая.
Но выше,
но дальше
грохочут мосты,
поют и шумят, пролетая,
вода
и самшитовые кусты,
и солнца струя золотая.
И вот над моей головою висит
оскаленной смерти виденье,
огромная «господи, пронеси!» —
скала, угрожая паденьем.
И я останавливаюсь под ней
в смятеньи,
с дрожью морозной —
мне страшно, —
но ближе и лучше видней
ее — легендарную, грозную.

<1935>

120. СКАЛА «ПРОНЕСИ, ГОСПОДИ»

С печалью глубокой,
с одышкой,
с трудом
историю эту начну я,

как в камне отвесном,
от горя седом,
дорогу рубили вручную.
Висели на люльках,
вгрызаясь в гранит,
ступеньку ноге вырубая.
Под ними могила
ревет и гремит,
и манит,
и тьма голубая.
Срывались и падали —
смерть горяча,
секундою жизнь пролетела.
И долго ворчала вода, волоча
о камни разбитое тело. . .
Никто не поможет,
ничто не спасет,
и страшно и холодно им там,
и пляшет
и к Черному морю несет
река сумасшедшая — Мзымта.
На место убитого
встанет другой —
их много, голодных, на свете,
за хлеба кусок,
за короткий покой —
за то, чтоб не плакали дети.
Судьба — до чего же нехороша. . .
Откуда они? — спроси их, —
ответят вполголоса,
тяжко дыша:
с Украины,
из России. . .
Армяне и турки,
и все, как один —
различья искать не стану, —
что этот старик с украинских равнин,
что этот из Дагестана.
А кто-то из них,
невеселый и злой,
придумал, как песню, такое:
высоко два лома:

под самой скалой
вонзил разъяренной рукою.
Казалось, какая от этого статья?
Но сердце сдавила тоска мне,
что их никому никогда не достать,
не вырвать, не вынуть из камня.
Навеки застрявшие в белой скале, —
сегодня их доля иная:
о счастье, о ненависти, о зле,
о славе напоминая.
Орудие только бессмертных людей,
о нем наша песня любая,
которому верь
и которым владей,
дорогу себе прорубая.

<1935>

121. КРАСНАЯ ПОЛЯНА

А склон у горы
ледниками расшит,
внизу, под горою,
сосна и самшит,
река прорычала медведем,
и где-то внизу пробегают леса,
и скоро, наверное, мы
(в полчаса)
до Красной Поляны доедем.
И облако в гору гремит, как прибой,
и песня со мной молодая.
Мы бегаем,
воздух такой голубой,
высокогорный глотая,
звнящему солнцу
поем дифирамб,
и лесу, и морю, недаром —
мы плаваем в море,
идем по горам,
покрытые синим загаром.

Пойдем,
мимоходом с тобой говоря,
что наши и лес,
и река,
и моря,
и горы до самой вершины,
что наши на эту планету права,
уверены — это не только слова,
конечно — ненарушимы.
Но скоро стемнеет —
поедем домой
по берегу Черного моря,
обрызганы пылью смешной, водяной,
не зная ни скорби, ни горя.
И плавай, и радуйся, и хохочи,
и плечи твои загорели —
поет (комсомолка, наверно) в ночи:
«Люблю, приходи поскорее».
Поет про любовную муку-беду,
что милый — изменник и шалый, —
мне жалко певунью:
пожалуй, приду,
вдвоем веселее, пожалуй.

<1935>

122. ПОКОЛЕНИЕ ОКТЯБРЯ

Опять земля открыта песням нашим...
Я речь о тех сегодня поведу,
кто молодостью славною украшен,
кто родился в семнадцатом году.
Тюрьма над вами не свистела плетью,
и пули не визжали вам вослед...
Сегодня ваше совершеннолетье,
сегодня ваши
восемнадцать лет.
С рождения решающего мига
вам по-другому жить.
В конце концов

для вас теперь история и книга —
еще не конченная жизнь отцов.
Сегодня пиво радостное в кружках...
Сидят отцы,
один, усатый, встал,
и вот поют на дружеских пирушках
они про Александровский централ.
Воспоминаний тягостные тени
невероятны,
злы
и тяжелы. . .
Опять гремят от Омска до Тюмени
тоска,
негодование,
кандалы.
Отцы поют
о каторжных лопатах,
о часовых,
о ночи на дворе. . .
Отцы поют
о битве на Карпатах,
на той,
на неудачливой горе. . .
Отцы поют
о страшной воле класса,
о том, что каждый
в битвах постарел.
Струится кровь
казацкого лампаса.
Команда офицерская —
расстрел.
О контрразведках Крыма,
о расстрелах,
о том, как шли
с Буденным напролом,
о черных,
о зеленых
и о белых
отцы поют сегодня за столом.
Вам всё понятно в песнях их?
Едва ли!
Их песня и угрюма и жестка.

Вы ничего такого
не видали,
вам незнакома
ихняя тоска.
Вы мало видели,
хоть видели немало,
у вас другая,
светлая судьба,
но все-таки,
но бритвы не знавала
смешная ваша
верхняя губа.
Другие,
молодые песни, где вы?
Их распевает
новая страна,
у вас с отцами
разные напевы,
но одинаковые ордена.
Мягка, темна волна
волос пушистых,
но крепкая
и верная рука.
Парашютистов
и парашютисток —
орденоносцев слава велика.
Былое, злое
сгибло, в пропасть канув, —
нагайка,
блеск казачьих эполет.
Они тебя приветствуют,
Стаханов,
и каждому —
по восемнадцать лет.
Они сейчас поют
в вечернем легком дыме:
— Хорошие. . .
— Смешные. . .
— Молодцы. . .
С усами тараканьими,
седыми
подвыпившие хвастают отцы.

Покрытый вечным
старческим загаром,
отец смеется,
заглушая гул.
— За сына, следовательно,
недаром
меня казак
у Львова рубанул.
А песня за окном неистоцима,
и трубы, трубы,
грохот о гранит —
там восемнадцатая годовщина
Октябрьской революции гремит!
В чаду войны
прошли вторая, третья,
тоску и боль
глубоко затая. . .
Справляй сегодня
совершеннолетье,
красавица осенняя моя.
Товарищи!
Мы пережили много,
мы за нее
прошли огонь и дым.
И вот — под ней
открытая дорога,
листом посыпанная золотым —
осиной
и березою,
и кленом. . .
Они, волнуясь,
радуясь,
любя,
стоят всегда
и шелестят в зеленом,
но золотые —
только для тебя.

<1935>

Люблю свою бедную землю,
Потому что иной не видал.

О, М.

Мы, маленькие, все-таки сумели,
перешагнули злобную черту
и вышли из тяжелых подземелий
вот в эту голубую красоту.
И ласточки и голуби поют там,
а песня непонятна и легка —
хозяйюшка,
наверно, для уюта
нам небольшие стелет облака.
Мы разбираемся в ее законе —
она для нас планеты нашей треть,
где девушки
и дерево
и кони,
предоставляет сразу осмотреть.
И бережно спускает на равнину,
которую я всё же не покину,
не изменю ни лесу, ни траве,
хотя земля по-прежнему сурова,
хотя красиво облака сырого
еще роса горит на голове.
Знать, потому, что весело доньше,
привык я просыпаться поутру.
На этой мягкой, ласковой равнине
я облако, не мешкая, сотру.
Знать, потому, что я хочу учиться,
как на траве пушистые лежат
ворчливые медведи и волчицы.
А я люблю волчат и медвежат.
Я радуюсь —
мне весело и люблю,
что навсегда я все-таки земной,
и что моя
зазноба и голуба
опять гуляет вечером со мной.

10 августа 1935

124. СОБАКА

Я крадусь,
мне б до конца прокрасться,
сняв подкованные сапоги,
и собака черного окраса
у моей сопутствует ноги.
Мы идем с тобой, собака, прямо
в этом мире,
полном тишины, —
только пасть, раскрытая как яма,
зубы, как ножи, обнажены.
Мне товарищ этот без обмана —
он застыл,
и я тогда стою:
злая осторожность добермана
до конца похожа на мою.
Он врага почуял.
Тихой сапой
враг идет,
длинна его рука,
и когда товарищ двинет лапой,
я его спускаю с поводка.
Не уйти тогда тому,
не скрыться
и нигде не спрятаться,
поверь, —
упадет
и пискнет, словно крыса:
побеждает зверя
умный зверь.
Пес умен,
силен,
огромен,
жарок. . .
Вот они —
под пули побегут.
Сколько доберманов и овчарок
нам границу нашу берегут?
Сколько их,
прекрасных и отличных?
Это верный боевой отряд.

Вам о псе
расскажет пограничник,
как о человеке говорят.
Вдруг война,
с погильбью,
с тоскою,
посылает пулю нам свою, —
и, хватаясь за ветер рукою,
я от пули упаду в бою.
И кавалерийские фанфары
вдруг запели около меня. . .
Знаю я — собаки-санитары
вызывают меня из-под огня.
Добрый доктор рану перевяжет,
впрыснута для сердца камфара.
«Поправляйтесь, мой милейший», —
скажет,
и другого вносят фельдшера.
Через месяц я пройду, хромая,
полюбуюсь на сиянье дня,
и собака, словно понимая,
поглядит с любовью на меня.
Погуляю,
силы все потрачу
и устану —
сяду на траве,
улыбнусь,
а может быть, заплачу
и поглажу пса по голове.

<1936>

125. ПАМЯТЬ

По улице Перовской
иду я с папироской,
пальто надел внакидку,
несу домой халву;
стоит погода — прелесть,
стоит погода — роскошь,
и свой весенний город
я вижу наяву.

Тесна моя рубаха,
и расстегнул я ворот,
и знаю, безусловно,
что жизнь не тяжела —
тебя я позабуду,
но не забуду город,
огромный и зеленый,
в котором ты жила.

Испытанная память,
она моя по праву, —
я долго буду помнить
речные катера,
сады,
Елагин остров
и Невскую заставу,
и белыми ночами
прогулки до утра.

Мне жить еще полвека, —
ведь песня не допета,
я многое увижу,
но помню с давних пор
профессоров любимых
и университета
холодный и веселый,
уютный коридор.

Проснулся город, гулок,
летят трамваи с треском. . .
И мне, — не лгу, поверьте, —
как родственник, знаком
и каждый переулок,
и каждый дом на Невском,
Московский,
Володарский
и Выборгский райком.

А девушки. . .
Законы
для парня молодого
написаны любовью,

особенно весной, —
гулять в саду Нардома,
знакомиться —
готово. . .
Ношу их телефоны
я в книжке записной.

Мы, может, постареем
и будем стариками,
на смену нам — другие,
и мир другой звенит,
но будем помнить город,
в котором каждый камень,
любой кусок железа
навек знаменит.

<1936>

126. ТУЕС

На покосе
между кочек
трясогузки гнезда выют,
сто кузнечиков стрекочут,
десять тысяч птиц поют.

Мы идем большой травой,
каждый силу не таит,
и над мокрой головою
солнце ястребом стоит.

Белоус берет с размаху
в ночь отбитая коса,
вся в поту моя рубаха,
неподвижны небеса.

Скоро полдень.
Пить охота.
Лечь бы
в тень
в стороне. . .

Тяжела косцов работа,
только соль седьмого пота
оседает на спине. . .

Только жажда. . .
Только птица
смотрит на землю с высот.
Что же Анна, еретица,
квас и воду не несет?

Завела такую моду —
в туеске носила воду. . .
Приходи скорей к усатым,
целовать тебя готов —
в сарафане полосатом,
восемнадцати годов.

Мы тебя заждались, Анна,
и, тоскуя и любя,
каждый парень непрестанно
вспоминает про тебя.

Край зеленый,
край мой родный,
улетевшие года,
прямо со льду квас холодный,
родниковая вода.

Часто вижу я воочью
наши светлые края,
вспоминаю часто ночью —
где же Аннушка моя?

Где,
в каких туманах кроюсь,
опадает наземь лес,
где твоя коса по пояс,
твой берестяной туес?

Мне недавно рассказали,
и прослушал я в тоске,
что видали на вокзале
нашу Аннушку в Москве.

Рассказали мне туманно,
что горда своей красой,
что осоку наша Анна
нынче косит не косой,

а машиною мудреной:
как машина побежит,
так за Анной пласт зеленый,
словно путь-тропа лежит.

Помнишь, Анна?
У кургана
ты совсем была не той.
Мне теперь сказали:
«Анна
носит орден золотой».

Анна, слушай:
тяжело мне,
я от вас теперь вдаю,
ты меня хоть мельком вспомни
и посылку мне пришли.

Шли мы вместе,
шли мы в ногу,
я посылке буду рад —
запакуй туес в дорогу,
адресуй на Ленинград.

Очень тяжело расставаться,
но тоскуя и скорбя,
я им буду любоваться,
вспоминая про тебя.

1936

127. ПУТЬ КОРАБЛЯ

Хорошо запеть, влюбиться —
все печали далеки.
Рвутся с наших плеч, как птицы,
синие воротники.

Ты про то запой, гитара,
как от нашей от земли
на моря земного шара
отплывают корабли.
Нас мотает и бросает
зыбью грозной и рябой,
и летит волна косая,
дует ветер голубой.
Впереди морские дали,
кренит набок на бегу,
и остались наши крали
на далеком берегу.
Как у девушек бывает —
не всегда им быть одним,
к ним другие подплывают
и причаливают к ним.
Только, помнится, отчаен
при разлуке наш наказ —
мы вернемся,
и отчалят
очень многие от вас.

<1936>

128. ИЗГНАНИЕ

(1930)

Чего еще? Плохая шутка,
с тобою сыграна, Кощей,
и кожа кислая полушубка —
хранительница от дождей —
лежит на дряблом теле елкой,
засохшей, колкою, лесной,
и давит, сколотый приколкой,
рубахи ворот расписной.

А около тебя старуха,
сыны, зятья и деверя
послушно наострили ухо,
тебе про горе говоря.

А ты молчишь... На самом деле,
к чему пустая болтовня?
У вас всего-то, что надели,
выскакивая из огня.
И снес огонь родную кровлю —
торчит горелая труба,
золотой и неповинной кровью
покрыта прежняя тропа.
И не вернется больше слава,
когда твоя звенела рожь,
когда, под ноготь зажимая,
копил в кулак за грошем грош,
когда кругом ломали шапки,
а голь помыслить не могла
на вашу милость, словно шавки,
хрипя, брехать из-за угла.
И только в праздничной беседе,
запрятав глубоко вражду,
твои голодные соседи
тебе стонали про нужду.
И что же повелось веками,
как поступал тогда старик, —
муку давал пудовиками,
а брал за пуд десятирик.

Зато такое лишь приснится, —
землей ровняло колени,
когда летала колесница,
как у пророка Или.

Дуга, бубенчиками смейся,
почтенье гните до земли:
сидит посередине семейства
в коляске голова семьи.
А сбоку, в сено оседающая,
в пух разодетая жена,
и борода его седеющая
на животе распушена.

Копил, копил полжизни ровно,
но знаменем, подняв вражду,

соседи голые, как бревна,
уже не стонут про нужду.
И ходит беднота строптива
вокруг да около, в кольцо,
и вот дыханье коллектива
тебе ударило в лицо.

А ты одно: пускай за это
Советы жарит сатана...
И вот семейного совета
встает огромная стена.
Но если биться — надо биться,
и по стене ударь в упор,
и вот берет впотьмах убийца
огонь и злобу и топор.

Теперь стоит над пепелищем,
над кровью чистого коня —
не богачом уже, а нищим,
в чем только вышел из огня.

А утро близится — и скоро
и мы заявимся сюда, —
спасайся от суда мирского,
беги от страшного суда.

Сгибаясь от тоски и грусти
и мести, принеся обет,
иди в леса, ломая грузди
себе на ужин и обед.

А слез неповторимых грозди
висят отнюдь не для красы,
и зубы ржавые, как гвозди,
прокусят губы и усы.

И всё лесами, вплоть до Волги,
ночами сквозь осенний гуд,
с тобою сыновья, как волки,
как волки рысью пробегут.

Недолговечна только слава
звериной, узенькой стези, —

винтовка и обход —
облава, —
и вы, подбитые в грязи,

и взгляд последний полон злости
из-под сырых, тяжелых лбов, —
и тлеют в поле ваши кости
без погребения гробов.

<1936>

129. КОТОВСКИЙ

(Из поэмы)

Бессарабия, родина, мама,
Кишиневский уезд,
беднота и тюрьма
о тебе вспоминают упрямо,
через тюрьмы и аресты
прямо
ты прошел, словно буря сама.
Пусть тебя караулит доносчик,
надзиратели, сволочи, злы,
и смеются: попался, сыночек. . .
И, ржавея, гремят кандалы.
Ты, в глаза усмехнувшийся горю,
говоришь каторжанам-друзьям,
как помещики мучают, порют,
на конюшне терзают крестьян.
Ты рассказываешь про горе,
руки тянутся сразу к ножам.
Ты, огромный,
Котовский Григорий,
под начало берешь каторжан.
Избирают тебя атаманом
все отчаянные подряд, —
и пошли по ночам,
по туманам, —
твой — Котовского —
первый отряд,
и могилу несчастиям вырыв,

зная —
бедным невмоготу.
Ты деньгами панов и банкиров
одаряешь кругом бедноту.
Пятый год. . .
Это страх и смятенье
для помещиков,
вызов на бой.
Пугачева и Разина тени,
как легенды, летят за тобой.
Пятый год. . .
На засовы и ставни
запирается пан по домам,
и при слове «Котовский»
исправник
задрожит и кричит:
— Атаман!
Все князья собираются вместе,
кое-где поднял вилы вассал. . .
Пятый год —
и тогда полицмейстер
так приметыв твои описал:
«Про наружность — она молодая,
рослый,
якобы с доброй душой,
заикается,
но обладает
он ораторской силой большой.
И еще довожу настоящим —
к сожаленью, не в наших руках. . .
Симпатичен,
умен
и изящен,
говорит на пяти языках».
Где, отходную пану прокаркав,
сивый ворон летит в полутьме,
где жандармы,
пожары фольварков,
где мужик сам себе на уме,
где нужда в постоянной защите,
где расплата кнутом за труды,
там Григорий Котовский. . .

Ищите —
там Котовского всюду следы.
Год шестой.
На одесском вокзале
конвоиры примкнули штыки,
опознали его —
и связали —
и на каторгу,
в рудники.
Много стен
и высоких и прочных,
за стеною —
болото,
тайга,
арестант-каторжанин,
бессрочник,
ходит-думает:
«Надо в бега».
Скучно в шахте сырой молодому,
ходит-думает,
темный и злой:
«Хватит все-таки,
двину до дому —
семь годов просидел под землей».
И отважным из самых отважных,
он однажды решился,
и вот
каторжанин сбежал.
Только стражник
в небо мучеником плывет.
Как ему полагалось по чину,
кровью грязною снег замочил,
принял ангельскую кончину
и на веки веков опочил.
А Котовский тайгою звериной
двадцать суток без усталости шел,
был сугроб ему на ночь периной,
бел и холоден,
мягок,
тяжел.
Были волки протяжно и робко,
но костер — замечательный страж.

Только сахар
и спичек коробка —
весь его арестантский багаж.
Бездорожье,
безмолвье мороза,
заморожено всё добела,
на сибирском морозе береза,
хоть сильна,
да и то померла.
Где от холода схорониться?
Звери,
голод,
мороз,
воронье.
Но монгольская близко граница,
и Котовский дошел до нее.
Это силы и смелости проба,
всё пошло как по маслу
на лад,
арестантская сброшена роба —
коты рваные,
серый халат.

.
На свободе,
но черная,
злая,
встала туч грозовая стена,
и стена закружилась, пылая, —
год четырнадцатый.
Война.

<1936>

130. ДЕТИ

Припоминаю лес, кустарник,
незабываемый досель,
увеселенья дней базарных —
гармонию и карусель.

Как ворот у рубахи вышит —
звездою,

гладью
и крестом,
как кони пляшут,
кони пышут
и злятся на лугу пустом.

Мы бегали с бумажным змеем,
и учит плавать нас река,
еще бессильная рука,
и ничего мы не умеем.

Еще страшны пути земные,
лицо холодное луны,
еще для нас
часы стенные
великой мудрости полны.

Еще веселье и забава,
и сенокос,
и бороньба,
но всё же в голову запало,
что вот — у каждого судьба.

Что будет впереди, как в сказке, —
один индейцем,
а другой —
пиратом в шелковой повязке,
с простреленной в бою ногой.

Так мы растем.
Но по-иному
другие годы говорят:
лет восемнадцати из дому
уходим, смелые, подряд.

И вот уже под Петербургом
любуйся тучею сырой,
довольствуйся одним окурком
заместо ужина порой.

Глотай туман зеленый с дымом
и торопись ко сну скорей,

и радуйся таким любимым
посылкам наших матерей.

А дни идут.
Уже не дети,
прошли три лета,
три зимы,
уже по-новому на свете
воспринимаем вещи мы.

Позабываем бор сосновый,
реку
и золото осин,
и скоро десятифунтовый
у самого родится сын.

Он подрастет, горяч и звонок,
но где-то есть
при свете дня,
кто говорит, что «мой ребенок»
про бородатого меня.

Я их письмом не побалую
про непонятное свое.
Вот так и ходит вкруговую
мое большое бытие.

Измерен весь земной участок,
и я, волнуясь и скорбя,
уверен, что и мне не часто
напишет сын мой про себя.

<1936>

181. ИСПАНИЯ

Я иду, меня послали
сквозь войны свистящий град,
через горы
прямо к славе
знаменитых баррикад.

Всё в дороге незнакомо,
но иду неутомимо
мимо сломанного дола,
мимо боевого дыма.

Он, подобный трупной мухе,
через час уйдет назад.
На его лиловом брюхе
бомбы круглые висят.

Он летает над Мадридом.
Я прицелился в него,
даже шепотом не выдам
зла и горя моего.

О свобода, наша слава,
наших песен колыбель —
эта гнойная отравка
прилетела не к тебе ль?

Стервенея и воняя,
гадя,
заживо гния,
продавая,
изменяя, —
то ворона,
то змея.

Ночь пришла...
Республиканцы
отдыхают до утра.
Подхожу я к Санчо Панса,
с ним прилягу у костра.

Санчо прячется от ветра.
Санчо греется в дыму,
Сервантес де Сааведра
вспоминается ему.

И идет гроза по людям —
что теперь довольно!

Впредь
на коленях жить не будем —
лучше стоя умереть.

Я прошу у Санчо Панса —
он в десятый раз опять
мне расскажет, что испанцы
не желают умирать.

Что за нами
наши дети
тоже выстроились в ряд,
что сегодня на планете
по-испански говорят.

<1936>

132. ЧИЖ

За садовой глухой оградой
ты запрятался —
серый чиж. . .
Ты хоть песней меня порадуй.
Почему, дорогой, молчишь?

Вот пришел я с тобой проститься,
и приветливый
и земной,
в легком платье своем из ситца
как живая передо мной.

Неужели же всё насмарку? . .
Даже в памяти не сбережем? . .
Эту девушку
и товарку
называли всегда чижом.

За веселье, что удалось ей. . .
Ради молодости земли

кос ее золотые колосья
мы от старости берегли.

Чтобы вроде льняной кудели
раньше времени не седели,
вместе с лентою заплелись,
небывалые, не секлись.

Помню волос этот покорный,
мановенье твоей руки,
как смородины дикой, черной
наедались мы у реки.

Только радостная, тускнея,
в замиранье,
в морозы,
в снег
наша осень ушла, а с нею
ты куда-то ушла навек.

Где ты —
в Киеве?
Иль в Ростове?
Ходишь плача или любя?
Платье ситцевое, простое
износилось ли у тебя?

Слезы темные
в горле комом,
вижу горести злой оскал. . .
Я по нашим местам знакомым,
как иголку, тебя искал.

От усталости вяли ноги,
безразличны кусты, цветы. . .
Может быть,
по другой дороге
проходила случайно ты?

Сколько песен от сердца отнял,
как тебя на свиданье звал!

Только всю про тебя сегодня
подноготную разузнал.

Мне тяжелые, злые были
рассказали в этом саду,
как учительницу убили
в девятьсот тридцатом году.

Мы нашли их,
убийц знаменитых,
то — смутители бедных умов
и владельцы железом крытых,
пятистенных
и в землю врытых
и обшитых тесом домов.
Кто до хрипи кричал на сходах:
— Это только наше, ничье. . .
Их теперь называют вот как,
злобно,
с яростью. . .
— Кулачье. . .

И теперь я наверно знаю —
ты лежала в гробу, бела, —
комсомольская,
волостная
вся ячейка за гробом шла.

Путь до кладбища был недолог,
но зато до безумья лют —
из берданок
и из двустволок
отдавали тебе салют.

Я стою на твоей могиле,
вспоминаю во тьме дрожа,
как чижей мы с тобой любили,
как любили тебя, чижа.

Беспримерного счастья ради
всех девчат твоего села,

наших девушек в Ленинграде,
гибель тяжкую приняла.

Молодая,
простая,
знаешь?
Я скажу тебе, не тая,
что улыбка у них такая ж,
как когда-то была твоя.

<1936>

133. ЗООСАД

Я его не из-за того ли
не забуду, что у него
оперение хвостовое,
как нарядное хвастовство.
Сколько их,
золотых и длинных,
перегнувшихся дугой...
Он у нас
изо всех павлинов
самый первый и дорогой.
И проходим мы мимо клеток,
где угрюмые звери лежат,
мимо старых
и однолеток,
и медведей,
и медвежат.
Мы повсюду идем упрямо
и показываем друзьям:
льва,
пантеру,
гиппопотама,
надоедливых обезьян.
Мы проходим мимо бассейна,
мимо тихих,
унылых вод, —
в нем гусями вода усеяна
и утятами всех пород.

Хорошо нам по зоосаду
не спеша вчетвером пройти,
накопившуюся досаду
растерять на своем пути.
Позабыть обо всем —
о сплетнях,
презираемых меж людей,
встретить ловких,
десятилетних,
белобрысых наших детей.
Только с ними
давно друзья мы,
и понятно мне: почему...
Очень нравятся обезьяны
кучерявому,
вот тому.
А того называют Федей —
это буйная голова...
Он глядит на белых медведей,
может, час
или, может, два.
Подрастут
и накопят силы —
до свиданья —
ищи-свищи...
Сапоги наденут,
бахилы,
прорезиненные плащи.
Через десять годов,
не боле,
этих некуда сил девать...
Будет Федя на ледоколе
младшим штурманом зимовать.
Наша молодость —
наши дети
(с каждым годом разлука скорей)
разойдутся по всей планете
поискать знакомых зверей.
Над просторами зоопарка,
где деревья растут подряд,
разливается солнце жарко,
птицы всякое говорят.

Уходить понемногу надо
от мечтаний
и от зверей —
мы уходим из Зоосада,
как из молодости своей.

<1936>

134. НОЧНЫЕ РАССУЖДЕНИЯ

Ветер ходит по соломе.
За окном темным-темно,
К сожаленью, в этом доме
Перестали пить вино.

Гаснет лампа с керосином,
Дремлют гуси у пруда. . .
Почему пером гусиным
Не писал я никогда?

О подруге и о друге,
Сочинял бы про людей,
Про охоту на Ветлуге,
Про казацких лошадей.

О поступках,
О проступках
Ты, перо, само пиши,
Сам себя везде простукав,
Стал бы доктором души.

Ну, так нет. . .
Ночную тенью
Возвышаясь над столом,
Сочиняю сочиненья
Самопишущим пером.

Ветер ползает по стенам.
Может, спать давно пора?

Иностранная система
(«Паркер», что ли?)
У пера.

Тишина. . .
Сижу теперь я,
Неприятен и жесток.
Улетают гуси-перья
Косяками на восток.

И о чем они толкуют?
Удивительный народ. . .
Непонятную такую
Речь никто не разберет.

Может быть, про дом и лес мой,
Про собак — моих друзей? . .
Всё же было б интересно
Понимать язык гусей. . .

Тишина идет немая
По моей округе всей.
Я сижу, не понимая
Разговорчивых гусей.

<1936>

185. МОЛОДОЙ ДЕНЬ

Потемневшей, студеной водою
и лежалой травой не зря,
легкой осенью молодою
пахнет первое сентября.
Также умолотом,
овином,
засыпающим лесом вдали —
этим сытым, неуловимым,
теплым запахом всей земли.
И заря не так загорелась,
потускнее теперь она.
Это осень,

сплошная зрелость,
ядра яблок,
мешки зерна.
Это дыни —
зеленое пузо,
или, может, не пузо —
спина
замечательного арбуза,
по-украински — кавуна.
Все довольны.
Все старше годом.
Пусть приходит мороз и снег —
к зимним яростным непогодам
приспособлен теперь человек.
Молодые поэты пишут
о начале своей зимы.
Что-де старость настанет скоро —
на висках уже седина...
Это осень житья людского,
непреклонно идет она.
Может, правда.
И вечер темный,
и дожди,
и туман,
и тень...
Только есть
молодой,
огромный,
каждой осенью ясный день.
Он покрытый летним загаром,
в нем тюльпаны-цветы плывут,
этот день золотой недаром
всюду юношеским зовут.
Все знамена
красного цвета,
песня пьяная без вина —
это даже, друзья, не лето,
это — радостная весна.
И налево идут
и направо.
Поглядите —
и там и тут,

на любовь и молодость право
отвоевывая, идут.
И в Германии,
и в Сибири,
громыхая — вперед, вперед —
в целом мире,
в тяжелом мире
этот день по земле идет.
Льется песня, звеня, простая
над полями,
лесами,
водой,
чтобы наша одна шестая
стала целою,
молодой.
Чтобы всюду были спокойны,
чтобы пакостные скорей
к черту сгинули
зло и войны —
порожденье слепых зверей!
А дорога лежит прямая,
по дороге идут легки,
в подтверждение поднимая
к небу властной рукой штыки.
Я опять подпевать им буду,
седину на виске забуду,
встану с ними в одном ряду.
И спокойный
и верный тоже —
мне от них отставать не след —
ничего, что они моложе,
дорогие,
на десять лет.
Я такое же право имею,
так же молодость мне дорога —
револьвер заряжать умею
и узнаю в лицо врага.
За полками идут колонны,
перестраиваясь в каре,
и по улицам Барселоны,
и в Париже,
и в Бухаре.

Песня в воздухе над водою,
над полями,
лесами, — не зря,
легкой осенью молодой
пахнет первое сентября.

<1936>

136. РАЗГОВОР

Верно, пять часов утра,
не боле.
Я иду —
знакомые места. . .
Корабли и яхты на приколе,
и на набережной пустота.
Изумительный властитель трона
и властитель молодой судьбы —
Медный всадник
поднял першерона,
яростного, злого,
на дыбы.
Он, через реку коня бросая,
города любит красой,
и висит нога его босая, —
холодно, наверное, босой!
Ветры дуют с оста или с веста,
всадник топчет медную змею. . .
Вот и вы пришли
на это место —
я вас моментально узнаю.
Коротко приветствие сказали,
замолчали,
сели покурить. . .
Александр Сергеевич,
нельзя ли
с вами по душам поговорить?
Теснотой и скукой не обижу:
набережная — огромный зал.
Вас таким, тридцатилетним, вижу,
как тогда Кипренский написал.

И прекрасен
и разнообразен,
мужество,
любовь
и торжество. . .
Вы простите —
может, я развязен?
Это — от смущенья моего!
Потому что по местам окрестным
от пяти утра и до шести
вы со мной —
с таким неинтересным —
соблаговолили провести.
Вы переживете бронзы тленье
и перемещение светил, —
первое свое стихотворенье
я планиде вашей посвятил.
И не только я,
а сотни, может,
в будущие грозы и бои
вам до бесконечия уможат
люди посвящения свои.
Звали вы от горя и обманов
в легкое и мудрое житье,
и Сергей Уваров
и Романов
получили все-таки свое.
Вы гуляли в царскосельских соснах —
молодые, светлые года, —
гибель всех потомков венценосных
вы предвидели еще тогда.
Пулями народ не переспоря,
им в Аничковом не поплясать!
Как они до Черного до моря
удирали —
трудно описать!
А за ними прочих вереница,
золотая рухлядь,
ерунда —
их теперь питает заграница,
вы не захотели бы туда!
Бьют часы уныло. . .

Посветало.
Просыпаются...
Поют гудки...
Вот и собеседника не стало —
чувствую пожатие руки.
Провожая взглядом...
Виден слабо...
Милый мой,
неповторимый мой...
Я иду по Невскому от Штаба,
на Конюшенной сверну домой.

<1936>

137. ПОСЛЕДНЯЯ ДОРОГА

Два с половиной пополудни...
Вздохнул и молвил: «Тяжело...»
И всё —
И праздники и будни —
Отговорило,
Отошло,
Отгоревало,
Отлюбило,
Что дорого любому было,
И радовалось
И жило.

Прощание.
Молебен краткий,
Теперь ничем нельзя помочь —
Увозят Пушкина украдкой
Из Петербурга в эту ночь.

И скачет поезд погребальный
Через ухабы и сугроб;
В гробу лежит мертвец опальный,
Рогожами укутан гроб.
Но многим кажется —

Всесильный
Теперь уже навеки ссыльный.
И он летит
К своей могиле,
Как будто гордый и живой —
Четыре факела чадили,
Три воронные зверя в мыле,
Кругом охрана и конвой.
Его боятся.

Из-за гроба,
Из государства тишины
И возмущение и злоба
Его, огромные, страшны.

И вот, пока на полустанках
Меняют лошадей спеша,
Стоят жандармы при останках,
Не опуская палаша.

А дальше — может, на столетье —
Лишь тишина монастыря,
Да отделенье это Третье —
По повелению царя.

Но по России ходят слухи
Всё злей,
Звончее и смелей,
Что не забыть такой разлуки
С потерей совести своей,
Что кровью не залить пожаров.

Пой, Революция!
Пылай!
Об этом не забудь, Уваров,
И знай, Романов Николай. . .

Какой мороз!
И сколько новых
Теней на землю полегли.

И в розвальни коней почтовых
Другую тройку запрягли.

И мчит от подлого людского
Лихая, свежая она. . .
Могила тихая у Пскова
К шести часам обнажена.

Всё кончено.
Устали кони.
Похоронили.
Врыли крест.
А бог мерцает на иконе,
Как повелитель здешних мест,
Унылый, сморщенный,
Не зная,
Что эта злая старина,
Что эта робкая лесная
Прекрасной будет сторона.

<1936>

138. ПИРУШКА

Сегодня ты сызнава в Царском,
От жженки огонь к потолку,
Гуляешь и плачешь в гусарском
Лихом, забубенном полку.

В рассвете большом, полусонном
Ликует и бредит душа,
Разбужена громом и звоном
Бокала,
Стиха,
Палаша.

Сражений и славы искатель,
И думы всегда об одном —
И пьют за свободу,

И скатерть
Залита кровавым вином.

Не греет бутылка пустая,
Дым трубочный, легкий, змеист,
Пирушка звенит холостая,
Читает стихи лицеист.
Овеянный раннею славой
В рассвете своем дорогом,
Веселый,
Задорный,
Кудрявый. . .
И все замолчали кругом.

И видят — мечами хранимый,
В полуденном, ясном огне,
Огромною едет равниной
Руслан-богатырь на коне.

И новые, полные мести,
Сверкающие стихи, —
Россия — цареве поместье —
Леса,
Пустыри,
Петухи.

И всё несравненное это
Врывается в сладкий уют,
Качают гусары поэта
И славу поэту поют.

Запели большую, живую
И радостную от души,
Ликуя, идут вкруговую
Бокалы, стаканы, ковши.

Наполнена зала угаром,
И сон, усмиряющий вновь,
И лошади снятся гусарам,
И снится поэту любовь.

Осыпаны трубок золою,
Заснули они за столом. . .
А солнце,
Кипящее, злое,
Гуляет над Царским селом.

<1936>

139. В СЕЛЕ МИХАЙЛОВСКОМ

Зима огромна,
Вечер долог,
И лень пошевелить рукой.
Содружество лохматых елок
Оберегает твой покой.
Порой метели заваруха,
Сугробы встали у реки,
Но вяжет нянюшка-старуха
На спицах мягкие чулки.
На поле ветер ходит вором,
Не греет слабое вино,
И одиночество, в котором
Тебе и тесно и темно.
Опять виденья встали в ряд.
Закрой глаза.
И вот румяный
Онегин с Лариной Татьяной
Идут,
О чем-то говорят.
Прислушивайся к их беседе,
Они — сознайся, не таи —
Твои хорошие соседи
И собеседники твои.
Ты знаешь ихнюю дорогу,
Ты их придумал,
Вывел в свет.
И пишешь, затая тревогу:
«Роняет молча пистолет».
И сердце полыхает жаром,
Ты ясно чувствуешь: беда!
И скачешь на коне под жаром,
Не разбирая где, куда.

И конь храпит, с ветрами споря,
Темно,
И думы тяжелы,
Не ускакать тебе от горя,
От одиночества и мглы.
Ты вспоминаешь:
Песни были,
Ты позабыт в своей беде,
Одни товарищи в могиле,
Другие — неизвестно где.
Ты окружен зимой суровой,
Она страшна, невесела,
Изгнанник волею царевой,
Отшельник русского села.
Наступит вечер.
Няня вяжет.
И сумрак по углам встает.
Быть может, няня сказку скажет,
А может, песню запоет.
Но это что?
Он встал и слышит
Язык веселый бубенца,
Всё ближе,
Перезвоном вышит,
И кони встали у крыльца.
Лихие кони прискакали
С далеким,
Дорогим,
Родным. . .
Кипит шампанское в бокале,
Сидит товарищ перед ним.
Светло от края и до края
И хорошо.
Погибла тьма,
И Пушкин, руку простирая,
Читает «Горе от ума».
Через пространство тьмы и света,
Через простор,
Через уют
Два Александра,
Два поэта,
Друг другу руки подают.

А ночи занавес опущен,
Воспоминанья встали в ряд,
Сидят два друга,
Пушкин, Пущин,
И свечи полымем горят.
Пугает страхами лесными
Страна, ушедшая во тьму,
Незримый Грибоедов с ними,
И очень хорошо ему.
Но вот шампанское допито...
Какая страшная зима,
Бьет бубенец,
Гремят копыта...
И одиночество...
И тьма.

<1936>

140. ПУТЕШЕСТВИЕ В ЭРЗЕРУМ

Это в дым,
Это в гром
Он летит напролом,
Окруженный неведомой сказкой,
На донском жеребце,
На поджаром и злом,
В круглой шляпе
И в бурке кавказской.
И глядят
И не верят донские полки —
Это сила,
И ярость,
И слава,
Ноздри злы и раздуты,
Желтеют белки —
Впереди неприятеля лава.
Кавалерия турок
Визжит вразнобой,
А кругом распростерта долина.
Инжа-Су называется —
Дым голубой, —

Необъятна
И неодолима.
Страшен месяц июнь,
Турки прут на рожон,
Злоба черная движет сердцами,
Песней яростной боя
Поэт окружен
И в атаку уходит с донцами.
Сколько раз,
Уезжая в пустые луга,
В этой жизни, опальной, короткой,
Он, мечтая,
Невидимого врага
Рассекал, словно саблею,
Плеткой.
И казалось ему,
Что летит голова,
И глаза уже полузакрыты,
И упал негодяй,
И примята трава,
И над ним ледяные копыта.
Вот теперь благодарно
Вздохнуть над врагом,
Но проходит мечтанье —
И снова —
Ничего,
Пустыри,
Вечереет кругом
Тишина захолустья лесного.
Он опять одинок,
Сам себя обманул,
Конь былинку забытую гложет.
Он в Тригорское ехал,
Печален,
Понур,
Напивался
И плакал, быть может.
Этот ветер противен,
И вечер угрюм
На просторе равнины и пашен. . .
Мне понятно теперь,
Почему Эрзерум

И приятен ему
И не страшен.
Он забыл о печали
И песни свои,
Он, на камень
И пламя похожий. . .
Пьют бойцы при кострах,
Вспоминают бои,
Азиатов
И Пушкина тоже.

<1936>

141. АЛЕКО

Пожалуй, неплохо
Вставать спозаранок,
Играть в бильярд,
Разбираться в вине,
Веселых любить
Молодых молдаванок
Или гарцевать
На поджаром коне.
Ему называться повесой
Не внове,
Но после вина
Утомителен сон,
И тесно,
И скучно,
Смешно в Кишиневе,
В стране, по которой
Бродяжил Назон.
Такая худая,
Не жизнь, а калека,
Услады одни
И заботы одни —
Сегодня за табором,
Следом,
Алеко
Уйдет,
Позабудет минувшие дни.

И тихо и пусто,
Где песня стояла.
И пыль золотая
Дымится у пят,
Кричат ребятишки,
Цветут одеяла,
Таращатся кони,
Повозки скрипят.
Страшны и черны
Лошадиные воры,
И необычайны
Преданья и сны,
И всем хороши
По ночам разговоры,
И песни прекрасны,
И мысли ясны.
Цыганское солнце
Стоит над огнями;
Оно на ущербе,
Но светит легко,
И степь бесконечна. . .
Запахло конями,
И ты, как Алеко,
Ушел далеко.
Искатель свободы
И лорда потомок,
Но всё же цыганский
Закон незнаком.
И строен, и ловок,
И в талии тонок,
Затянутый красным
Большим кушаком.
Ревнивец угрюмый;
Бродяга бездомный,
Ты, кажется, умер,
Тоскуя, любя;
Ты был одинок
В этой жизни огромной,
Но я никогда
Не забуду тебя.
Уже по Молдавии
Песни другие,

И эти по-своему
Песни правы —
Разостланы всюду
Ковры дорогие
Из лучших цветов,
Из пахучей травы.
А ночь надвигается,
Близится час мой,
Моя одинокая
Лампа горит,
И милый Алеко,
Алеко несчастный
Приходит
И долго со мной говорит.

<1936>

142. ПУШКИН В КИШИНЕВЕ

1

Дымное, пылающее лето.
Тяжело,
Несносная пора.
Виноградниками разодета
Небольшая «Инзова гора».
Вечереет.
Сколь нарядов девьих!
На гулянье выводок цветной. . .
Птицы в апельсиновых деревьях
Все расположились до одной.
Скоро ночь слепящая, глухая,
Всюду тихая,
В любой норе. . .
Скоро сад уснет, благоухая,
Да и дом на «Инзовой горе».
В том доме узорном,
Двухэтажном,
Орденами грозными горя,
Проживал на положенье важном
Генерал —

Наместником царя.
Сколь хлопот!
Поборы и управа.
Так хорош,
А этак нехорош,
Разорвись налево и направо,
А потом кусков не соберешь.
Недовольство,
Подхалимство,
Бредни,
Скука: ни начала, ни конца,
Да еще назначили намедни
К нам из Петербурга сорванца,
С нахлобучкой, видимо, здоровой.
Это вам, конечно, не фавор,
За стихи,
За противоцаревый,
Всё же остроумный разговор.
Вот сидит,
Прощенья ожидая,
Пожалеешь юношу не раз —
С норовом,
Сноровка молодая,
Попрыгун
Допрыгался до нас.
Да и здесь ведет себя двойко:
Коль спокоен —
Радостно в груди,
А взовьется —
Бретер, забияка,
Юбочник — господь не приведи.
Но стихи!
Мороз идет по коже —
Лезвие,
Сверкание,
Удар. . .
И порой глядишь — не веришь:
Боже,
Ну кому доверил божий дар?
Умница, каких не много в мире,
Безобразник, черт его побрал. . .
И сидит,

Усы свои топыря,
И молчит усталый генерал.
За окном — огромна, неприятна —
Ходит ночь.
Обыден мир, не нов.
Огоньков мигающие пятна —
Это засыпает Кишинев.

2

Пушкин спал.
Ему Нева приснилась.
Он гуляет, радостен и жив.
Государь, сменивший гнев на милость,
Подошел, и страшен и плешив.
В ласковой, потасканной личине,
Под сияньем царского венца,
В императорском огромном чине,
Сын, убийца своего отца.
Пушкин плюнул.
Экое приснится —
И нелепо,
И мечта не та. . .
За окном российская темница,
Страшная темница,
Темнота.
Все порядки, слава и законы
Не сложны.
Короче говоря —
Отделенья Третьего шпионы,
Царского двора фельдъегеря.
За границу!
Поиски свободы,
Теплые альпийские луга,
Новые, неведомые воды
И приветливые берега.
А на родине — простору мало.
Боязно.
Угрюмо.
Тяжело. . .
Он вскочил.
За окнами сверкало,

И переливалось,
И звало.
Выбежал.
В саду, цвести готовом,
Ходит солнце,
Ветер на полях. . .
Генерал свистит, с ножом садовым,
Столь уютный — в заячьих туфлях.
Ползает по клумбиному краю,
Землю топчет старческой ногой. . .
— Вы куда же, Пушкин?
— Убегаю.
Ах, Иван Никитич, дорогой. . .
Я туда, где табор за рекою,
А цыганке восемнадцать лет. . .
Он, скрываясь,
Помахал рукою,
Инзов улыбается вослед.

3

Так и шло.
Заморенное лето.
Вдохновенье.
Петербург далек.
Мякишем стрелял из пистолета,
Лежа на кровати, в потолок.
Не робел перед любым вопросом.
Был влюблен.
И ревновал.
Жара.
В биллиардной в лузу клал клопштосом
Трудного, продольного шара.
И ни сожаленья, ни укора, —
Он махнул рукою на беду,
И цыганка, милая Шекора,
Целовала Пушкина в саду.
Беззаботна, весела, смешлива,
До чего мягка ее рука,
Яблоко чуть видного налива —
Смуглая, пушистая щека.

О Шекоре, о Людмиле этой
Песня сочиненная горит. . .
Вот она стоит полуодетой,
Что-то, улыбаясь, говорит.
Старый муж,
Рыдая, рвет и мечет,
Милую сажает под замок.
Кто другая
Сызнова залечит
Злого сердца пламенный комок?
В бусах замечательных
И в косах,
Памятью рожденное опять.
Белокурых и черноволосых,
Сколько было их, не сосчитать.
Первая — любовь,
Вторая — эхо,
Пятая — бумажные цветы. . .
И еще была одна утеха —
Лошадь небывалой красоты.
Гребешком расчесанная грива —
На себя любуясь, так и сяк,
Хорошо идет она,
Игриво
По Харлампиевской на рысях.
Кисти, бляха — конские уборы,
Тонкое на всаднике сукно —
Едет Пушкин.
Шпоры, разговоры,
Девушка любит в окно.
И поэт,
Нимало не сумняшеся,
Поправляет талисман — кольцо,
Смело заявляет:
«Будет наша», —
И въезжает прямо на крыльцо.
И сады
И луговины в песнях,
Перед ним, румяная, она.
Жалуются Инзову.
Наместник —
Под домашний арест шалуна.

Но когда мечтания
 И лень их
 Или жалко оставлять одних,
 Перед ним опять — кавказский пленник.
 Блещут горы,
 Говорит родник.
 Непрístupна,
 Хороша,
 Привольна
 Грузия — высокая страна.
 И стихи как молнии,
 И больно
 И тепло сегодня без вина.
 Он идет —
 Легка ему дорога,
 Где-то уходящая во тьму, —
 До чего же все-таки немного
 Надобно хорошего ему!
 Только той услады и свободы,
 Где тропинки узкие у скал,
 Где зовут погодой непогоды,
 Где любовь, которой не искал.
 Пусть бормочет Инзов:
 «Молоденек. . .»
 Он забыл бы крышу и кровать. . .
 Ну, еще немного разве денег,
 Чтобы можно было банковать.
 Вот и всё.
 И, всё позабывая,
 Он ушел бы, Уленшпигель мой. . .
 И судьба родная кочевая,
 Милая и летом и зимой.
 Каждый день иной.
 Не потому ли,
 Что однообразны дни подряд,
 Он ушел за табором в июле,
 В августе вернулся, говорят?
 — Что (цыгане пели) города нам?
 Встану на дороге,
 Запою. . .

Он услышал в таборе гортанном
Песню незабвенную свою.
Знаменитый,
Молодой,
Опальный,
Яростный российский соловей,
По ночам мечтающий о дальней,
О громадной Африке своей.
Но молчало русское болото,
Маковка церковная да клеть,
А туда полгода перелета,
Да, пожалуй, и не долететь.

б

Здесь привольно воронам и совам,
Тяжело от стянутых ярем,
Пахнет душным
Воздухом, грозовым —
Недовольна армия царем.
Скоро загреметь огромной выюге,
Да на полстолетия подряд, —
Это в Тайном обществе на юге
О цареубийстве говорят.
Заговор, переворот
И эта
Молния, летящая с высот.
Ну кого же,
Если не поэта,
Обожжет, подхватит, понесет?
Где равнинное раздолье волку,
Где темны просторы и глухи, —
Переписывают втихомолку
Запрещенные его стихи.
И они по спискам и по слухам,
От негодования дрожа,
Были песнью,
Совестью
И духом
Славного навеки мятежа.
Это он,

Пораненный судьбою,
Рану собственной рукой зажал.
Никогда не дорожил собою,
Воспевая мстительный кинжал.
Это он
О родине зеленой
Находил любовные слова, —
Львенок молодой, неугомонный,
Как начало пламенного льва.
Злом сопровождаемый
И сплетней —
И дела и думы велики, —
Неустанный,
Двадцатидвухлетний,
Пьет вино
И любит балыки.
Пасынок романовской России.
Дни уходят ровною грядой.
Он рисует на стихах босые
Ноги молдаванки молодой.
Милый Инзов,
Умудренный старец,
Ходит за поэтом по пятам,
Говорит, в нотацию ударясь,
Сообразно старческим летам.
Но стихи, как раньше, наготове,
Подожжен —
Гори и догорай, —
И лавина африканской крови
И кипит
И плещет через край.
Сотню лет не выбросить со счета.
В Ленинграде,
В Харькове,
В Перми
Мы теперь склоняемся —
Почета
Нашего волнение прими.
Мы живем,
Моя страна — громадна,
Светлая и верная навек.
Вам бы через век родиться надо,

Золотой,
Любимый человек.
Вы ходили чащею и пашней,
Ветер выл, пронзителен и лжив. . .
Пасынок на родине тогдашней,
Вы упали, срока не дожив.
Подлыми увенчаны делами
Люди, прославляющие месть,
Вбили пули в дула шомполами,
И на вашу долю пуля есть.
Чем отвечу?
Отомщу которым,
Ненависти страшной не тая?
Неужели только разговором
Ненависть останется моя?
За окном светло над Ленинградом,
Я сижу за письменным столом.
Ваши книги-сочиненья рядом
Мне напоминают о былом.
День ударит об землю копытом,
Смена на посту сторожевом.
Думаю о вас, не об убитом,
А всегда о светлом,
О живом.
Всё о жизни,
Ничего о смерти,
Всё о слове песен и огня. . .
Легче мне от этого,
Поверьте,
И простите, дорогой, меня.

<1936>

ПОЭМЫ

143. СОЛЬ

Драматическая поэма

Медленно идущий состав т. наз. теплушек везет красноармейцев. Действие происходит в гражданскую войну. Одна теплушка открыта для зрителей. На полу — солома. По бокам нары, занятые спящими конноармейцами. В углу — пулемет. Дверь теплушки открыта, и сквозь теплушку зритель видит холодное, звездное небо. Никита Балашов — взводный — стоит у двери и смотрит на степи, на звезды, на ночь. Три конноармейца сидят в кружок посреди вагона...

Один
(запевает)

На коней сидали, домашним сказали:
Ты прости, папаша... мамаша, прости...

Другой
(подхватывает)

С Дону да с Кубани ехали казаки.
На плечах — погоны, на грудях — кресты...

Все
(в голос)

Ты лети, лошадка,
пули — под рукой,
на затылке — шапка,
на ладони — шашка,
пика — на другой...

Первый

А потом казаки воевали всяко —
каждый служит богу и царю слуга —
мы рубали немца, били австрияка...

Второй

А теперь рубаем общего врага...

Все

Ты лети, лошадка,
пули — под рукой,
на затылке — шапка,
на ладони — шашка,
пика — на другой...

Первый

Протопают кони по кровавым лужам,
созывает Ленин к великой борьбе,
царю мы не служим,
богу мы не служим...

Второй

Служим потихоньку самому себе...

Все

Ты лети, лошадка,
пули — под рукой,
на затылке — шапка,
на ладони — шашка...

Балмашов

(от двери, не оборачиваясь)

Иди сюда, Пашка...

Второй красноармеец встает.

Сюда на порог...
Такая красота, что
убей меня бог...

(Показывает на дверь.)

П а ш к а

(подходит, смотрит, презрительно сплевывает, собираясь уйти)

Обычная природа...

Б а л м а ш о в

Помалкивай, парнишка,
я знаю, что обычная: селения, сады
и молодая ночька... сады... селенья...

П а ш к а

(восторгаясь)

Ишь как
разобрало парня от этой красоты!

Б а л м а ш о в

(гневно оборачиваясь)

Не понимаешь, дура...
Тебе бы всё рубать бы...

П а ш к а

А ты как думал?

Б а л м а ш о в

(наступая на Пашку)

...песню, да саблю, да вина...
Зачем рожают бабы? Зачем играют свадьбы?
Зачем красна природа, когда кругом...

П а ш к а

Война...

Б а л м а ш о в

.. Лежит моя Расея, потоптана копытом.
Разбитые посеы, вишневые сады...
Кубань моя, Кубань моя...
Как об отце убитом,
хочу заплакать попросту,
но нет в глазах воды...
И вот не плакать хочется —

я ощущаю вновь:
иссякли слезы дочиста,
но не иссякла кровь.
Любимую страну мою
Расею добела
я этой кровью вымою,
чтоб новая была. . .
Вставай, мечта законная,
я больше не могу,
лети навстречу, конная,
заклятому врагу. . .

Матрос

(вскакивая с нар, под гармошку)

Ох, конная моя,
что же ты наделала?
До чего ты довела
генерала белого?

Пашка

Что правильно, то правильно —
до точки достоверно. . .
И песня убежденная об этом начата,
что наша революция — заметана. . . заверена. . .
Которая Октябрьская — Февральской не чета. . .
Взывает революция: братва, сидай на коника,
как можно красивее сиди на таком. . .
Мы сели и поехали, подруги с подоконника
ребятам на прощание махают рукавом. . .
Но потерпи немножечко, любовь моя интимная,
и песня убежденная об этом начата,
что наша операция — военная и дымная,
которая гражданская — германской не чета. . .

Матрос

Порубала всё кругом
офицеров банда —
посчитаемся с врагом,
офицеру —
амба!

Балмашов

Чтобы по всей Расее сыграли наши свадьбы,
повсюду наши свадьбы...

Матрос

И в том числе мою...

Пашка

Кому судьба какая, а мне бы всё рубать бы,
пока башку не снимут в решительном бою...

С нар поют

За полями — горы, за горами — море,
а за морем — небо всё синей, синей...
Где же наша радость? Только наше горе,
вместе с нами горе село на коней...

Все

(подхватывают припев)

Ты лети, лошадка,
пули — под рукой,
на затылке — шапка,
на ладони — шашка,
пика — на другой...

Запевало

Горе на действительной, горе на сверхсрочной —
голодом дагнуло, холодом ожгло...
Горе насосалось нашей крови сочной,
горе нам напакостить горше не могло...

Все

Но, лети, лошадка,
пули — под рукой,
на затылке — шапка,
на ладони — шашка,
пика — на другой...

Запевало

Только что нам жалиться на судьбу кабанью —
и кабан получит от ножа покой...

В с е

Так лети, лошадка, —
звезды над Кубанью,
на ладони — шашка,
пика — на другой. . .

Внезапная остановка поезда. Лязг буферов.
С нар поднимаются бойцы.

Б о й ц ы

. . . В чем дело? Чуть не сломил башки. . .
. . . Слوميшь, дитяtko. . . Не торопко. . .
. . . Что за станция?
. . . Петушки. . .
. . . Закурите тогда, дружки. . .
. . . Почему остановка?
. . . Пробка. . .
. . . Что в бутылку загнали. . .
. . . Дуй
до Варшавы. . .
. . . Поди и стукни
машиниста. . .
. . . Чтоб он, обалдуй,
из своей покатился кухни. . .
. . . Почему, мол, не едешь вперед,
коли велено. . .
. . . Надо честью. . .
. . . Машиниста? Наоборот. . .
. . . По затылку такую бестию. . .

Б а л м а ш о в

Что за чертова переключка?
Я с командных гляжу высот —
Там кого-то господь несет.
Что-то очень знакомое личико.
Прекратить чтобы навсегда
вашу дикую оперу с танцами.
Смирно!
Слушай меня. Сюда
прет начальник вот этой станции.

П а ш к а

Перехватывай на ходу
Эту пышную какаду,
А не то я ее угробаю.

Балмашов

Погодите.
Сейчас.
Попробую.

(И, одной рукой взяв за шиворот проходящего мимо вагона начальника станции, вбрасывает его в вагон.)

Старик начальник дрожит и пугливо озирается. На него бросаются конноармейцы с гоготом и свистом.

Пашка

Эту старую заразу
под колеса сразу!

Матрос

Он не будет хорошее,
если дать ему по шее,
надо дать ему по роже,
а по роже — мало тоже.

Бойцы

... Забирайте его за груди...
... И повсюду контра...
... Всё та ж...
... Почему Гаврила не крутит?
... Почему везде саботаж?
... Поднеси ему с правого бока —
надо эту шпану ломать...

Балмашов

Ну, загавкала, заорала...
Мы устроим ему сейчас
заседанье ревтрибунала,
он попомнит его у нас,
коль виновен,
его же шея
облюбует повыше сук.
Как и что — постановит суд.

Пашка

Эго — я доложу — идея.

Балмашов

Под председательством Никиты Балмашова,
в присутствии двух членов трибунала —
Смирнова Пашки...

Пашка отдает честь.

и матроса Петьки.

Матрос отдает честь.

Ревтрибунал второго взвода
к разбору дела приступил.

(Показывая на начальника)

Забрать его под стражу!..

Начальника станции ставят на колени под дуло пулемета, выкаченного на середину вагона. По бокам стоят два бойца с саблями наголо. Старик дрожит и разводит руками в ужасе.

Бойцы

...Ой, подохну со смеху, мамочка моя...

...Погляди, дурачок,
прямо царский почет.

Под конвоем старичок,
пулемет под бочок...

...Интересно...

...Перед смертью старичку
поднесите табачку...

...Обязательно...

...Балмашов, суди по всем законам.

Елки-палки — председатель наш,
выжигай железом раскаленным
саботаж...

...Ой, подохну со смеху, мамочка моя...

Балмашов

Имею к вам, папаша, ряд вопросов...

Начальник станции

*(бросаясь на колени перед пулеметом так, что дуло
касается его лица)*

Пощадите, родные,
и жена и дети

мал-мала меньше,
мал-мала-мал...

(Захлебывается.)

Один из конвоиров
Замолол, папашка... мал... мала... мал

Другой конвоир
(показывая на дуло пулемета, поставленное на лицо старика)

Папаша, осторожнее...
стреляет.

Старик тупо смотрит на пулемет, вскакивает, одергивается.

Балмашов
(показывая на дверь)
Какая станция, папаша?

Начальник станции
Фастов.

Балмашов
Ну, сообщу тебе, папаша — отче наш.
На этой станции
процентов на сто,
а может, и на двести...

Пашка и Петька
Саботаж.

Балмашов
Республику по злобе обезличив,
вы шепчете и гадите кругом,
а мы, бойцы, стремимся на Бердичев,
где будет столкновение с врагом.
Не ради добыванья или славы
мы бросили таких, как ты, отцов.

Пашка
А вы задерживаете составы,
а вы задерживаете бойцов.

А мы расходуем таких продажных,
и вам осталось очень мало жить...
Вы — гадина, папаша,
саботажник,
а потому...

Н а ч а л ь н и к с т а н ц и и

Дозвольте доложить.
Не знаете, какая должность наша,
за что погиб, республику любя, —
дозвольте слово...

Б а л м а ш о в

Говори, папаша,
ревтрибунал заслушает тебя.

Старик готовится говорить, но в это время прожектор освещает на крыше вагона ч е л о в е к а. Человек стоит растопырившись — его гнетут плотно набитые мешки.

Ч е л о в е к

Богородица, дево и сыне,
я, бедняга, совсем изнемог,
я домой не вертаюсь доньше
по причине железных дорог.
А дома ребятишки и жена,
подмога им отцовская нужна,
ведь никто не поверит им в кредит,
и детишки стоят у ворот:
— Почему же мой папа не едет,
почему ничего не везет? —

А где же тот проклятый паровоз,
который бы меня домой увез?

Похабные настали времена,
и кара божия на нас упала.
Бежите, спекулянты, до меня,
цепляйтесь без оглядки где попало.
А ежели кто болен животом —
наплюйте на одышку и на грыжу —
за поручни,

на буфера — потом
на крышу. . .

Он воет, и вой его подхватывается многими голосами. На вагон лезут такие же, как он — боязливо и иступленно. Конноармейцы в вагоне подняли головы вверх, слушают.

Н а ч а л ь н и к с т а н ц и и
(*торопливо и волнуясь*)

Я всегда. . .

Полезно. . .

Безвозмездно. . .

Но теперь такие времена. . .

Боже мой. . .

И спекулянтон бездна
доконала начисто меня.

Сеют пересуды, кривотолки,
дело исковеркали мое.

Вот они

(*указывая на крышу*)

забыли словно волки,
словно злое, подлое зверье.

Революцию украли нашу.

Как хотите . . .

Нету больше сил. . .

Б а л м а ш о в

(*поднимаясь*)

Если так,

то оправдать папашу

весь ревтрибунал постановил.

Б о й ц ы

(*обрадованно освобождая старика*)

. . . Шагай, папаша. . .

. . . Скатертью дорога. . .

. . . Парад але. . .

. . . Давай свои звонки. . .

. . . Прощальный вальс. . .

. . . Помучили немного —
ну, ничего. . .

Н а ч а л ь н и к с т а н ц и и
(*пожимая руки*)

Б л а г о д а р ю , с ы н к и .

Б а л м а ш о в

Взвод, смирно!
Сообщаю взводу,
что спекулянты не дают нам ходу.
Доколе нам терпеть?

Б о й ц ы
(*зидумчиво*)

...Затычка хоть куда...
...Белогвардейцу подлому в угоду...
...А разогнать?..
...Понятно...
...Ерунда...

Б а л м а ш о в

Пусть каждый дурень разумом поймет,
что правильное принято решение...
Теперь берите ваши штуки в руки —
винтовки, шашки...

И з т о л п ы б о й ц о в
(*укоризненно*)

М о ж е т , п у л е м е т ?

Б а л м а ш о в

И пулемет кати для устрашения.

Бойцы разбирают оружие и выскакивают из вагона. В вагоне остаются Балмашов, начальник станции и лежащий на лавке с забинтованной головой боец, — по-видимому, раненый.

Н а ч а л ь н и к с т а н ц и и
(*кивая на раненого*)

Ч то , р а н е н , ч то л и ?

Б а л м а ш о в

П о р у б а л и м а л о с т ь .

М а т р о с

Ну, спекулянты...
И пошла расческа.
За них теперь никто не даст рубля...

(И вталкивает в вагон девушку. Смущенно)

Но баба вот...
Прилипла, словно оспа,
я ж сожаление имею до бабья.

Б а л м а ш о в

Какая баба?

М а т р о с

Там бабья до дуры,
до тысячи,
несметное число...

Б а л м а ш о в
(недовольно)

Ну, разведете нынче шуры-муры...

(И видит еще одну девушку, втянутую в вагон Пашкой.)

Еще одну, как вижу, принесло?

П а ш к а

Не понимаю парня, право слово.
Ты, Балмашов, не сердься, не дивись —
бойцы вообще...

И что же тут такого?
Имеют сожаленье на девиц.

Б а л м а ш о в
(потрясая нагайкой)

Ну, ваше сожаленье выйдет боком,
чем ваше сожаленье — лучше плеть...

П а ш к а

Никита,
не ошибься ненароком,
нам очень приятно сожалеть.

Балмашов

Идите к черту!

(Отдает честь начальнику станции.)

Стало быть, округа
очищена.

Давайте три звонка.

Прощай, отец.

(Жмет ему руку.)

Пашка

(начальнику станции)

Не забывайте друга.

Матрос

(расшаркиваясь)

Папаша, вспоминайте про сынка.

Начальник станции отдает честь бойцам и с Балмашовым
выскакивает из вагона. Ревет паровоз.

Матрос

(растягивает гармошку, обращаясь к девицам)

Воспляшем, девочки,
про яблочко сыграю...

Одна из девушек

(робко)

Я не умею.

Матрос

Научу, небось,
недаром, чай, от краю и до краю
летает наше яблочко насквозь.

(И ловко ударил пальцами по клавишам.)

Засвистело знаменитое безудержное «Яблочко». Пашка начал пляску,
вталкивая в круг одну из девушек, и, хлопая в ладоши, запели бойцы.

Ах, яблочко,
пополам тоска —
шевелись нога,
стукочи доска.

Убегу от мамы я
вечером без спроса.
Жажду — прямо мания —
замуж за матроса.

Матрос идет —
клевш как облако.
Где найдете еще
такого коблика?

Наши бомбы — ананас,
сабли — зяблики,
и гранаты у нас —
словно яблоки.

Гады свищут по долам,
давят каблучком.
Разорвет пополам
гада яблочком.

Ах, конная моя,
что же ты наделала?
До чего ты довела
генерала белого?

В вагон входит Балмашов. Звонки. Балмашов встает на прежнее место. Пляска продолжается. Два звонка. Пляска прекращается.

Бойцы

(удовлетворенно)

...Ну, слава тебе господи...
...Ну, трогай...
...Ну, выбрались из чертовой дыры...
...Дуй до Бердичева прямой дорогой...
...Крути, Гаврила...
...Раздувай пары...

Жалобный женский голос

(у вагона)

Всю войну я страдаю, рыдая,
на вокзалах судьбину кляня;

Но знаю, взвод, что поздно или рано
о матерях подумаете раз.
О ваших матерях, которые под сердцем
носили вас.
Прошу прощенья, взвод. . .

Б о й ц ы

. . . Ну, Балмашов. . .
. . . Продрал что надо — с перцем. . .
. . . Ядреный корень, за сердце берет. . .
. . . Пожалуй, что и так . . .
. . . Вчистую распатронил . . .
. . . Уж очень убежденный. . .
. . . Красота!
. . . И до слезы — прошу прощенья — пронял. . .
. . . Тащите эту женщину сюда . . .
. . . Ведь все-таки мамаша. ☹️ Прямо ужас. . .

В вагон влезает ж е н щ и н а. На руках у нее спеленатый сверток.
Она укачивает его.

Ж е н щ и н а

Ох, милые! Спасибо, казачки. . .

Б о й ц ы

(предупредительно)

. . . Приедете нетронутая к мужу —
как вам желательно. . .
. . . Обиду не зачти. . .

Ж е н щ и н а

Какая тут обида!

Б о й ц ы

. . . Необычный
и случай непредвиденный. . .
. . . В куток
садитесь, женщина. . .

Снимают с лавки раненого. Кладут на пол.

. . . Он ничего — привычный. . .
. . . Он полежит и так. Понятливый браток.

М а т р о с
(расшаркиваясь)

Надеюсь я, что вам теперь не душно? . .
Подбейте, дамочка, соломки под бока,
растите смену нам, растите — потому что
братва состарилась, и нет молодняка
на смену старшим и уставшим. . .

Г о л о с

Тише!
Чего загавкал?
Голосина! Рад?
Заснул младенчик, дьяволы. . .

Д р у г о й г о л о с

А ты же
сам заорал.
Другие — говорят.

Т р е т и й г о л о с
(недовольный)

Уж никуда от говора не денься,
а ежели которые в бреду?

Б а л м а ш о в
(шепотом)

Взвод, смирно!
Пауза. Тишина.

Годовалого младенца
заснувшего имеючи в виду.

Тихо постукивает поезд. Глубокая лиловая ночь. Бойцы укладываются спать. Балмашов стоит на своем месте, женщина баюкает дитё и поет колыбельную песню.

Спи, младенчик, ты мой глупый,
долго до зари,
спи спокойно —
носик, хлюпай,
хлюпай пузыри.

За стеною ночка — ишь как
шелестит в степи!

Скоро вырастешь, парнишка,
а покуда спи.

Ходят весны за порошей,
за годком годок,
и оставит мой хороший
материн куток.

Б а л м а ш о в

Впереди любовь ли, гроб ли,
старости ли гнет,
он же встанет,
вытрет сопли,
волосом махнет.

Оглядится,
выйдет в парни,
парнем-молодцом,
скоро будет в конной армии
правильным бойцом.

Даст ему отец папаху,
саблю наголо,
этот парень прямо с маху
сядет на седло.

Это вам не фунт изюма —
легкие годки,
но его лихая дума
возьмет за грудки.

Гаснет ночка над бойцами —
голубая рань,
побывала ночка с нами,
ушла на Кубань.

На Кубани
звезды встали
все в одном глазу,
хутора и люди спали
под звездой внизу.

Не дождется долго Вани
милка у ворот,
на Бердичев от Кубани
паровоз идет.

На откос идет с откоса,
снова на откос —
тарахтят его колеса —
тысяча колес.

Молчит Балмашов, молчит женщина — уснула. Спит весь вагон.
Настукивают колеса вечно живущую песню.

Всё похерено, позабыто —
дорога ясна.
Почему же это, Никита,
тебе не до сна?

И стоишь ты, перебирая,
годы наперечет,
только песня твоя до края
вдоль земли течет.

Сердце замерло,
сердце встало —
не поднимешь рук,
но постукиваньё состава,
как сердечный стук.

Чуть пошатывает вагоны
на сторону одну,
а в соседнем вагоне кони
едут на войну.

И кобыла твоя, как поповна,
в заду широка —
знатно войлочная попона
греет ее бока.

И старается что есть мочи,
силу свою тая,
наша молодость через ночи —
молодость твоя.

Вот попомнят ее добрым словом
Махно и Шкуро.
Отливает на ней лиловым
сабельное тавро.

На коней мы с тобою сядем
по сигнальной трубе. . .
А любовь. . . достается дядям —
только не тебе.

И облизываются шкеты,
девушек маня. . .
Пущай любятся.
Всё же — где ты,
любовь, для меня?

Мы коня пришпорим шпорой,
мы поскачем во мгле
за такую любовь, которой
равной нет на земле.

Пускай грохаются снаряды,
поднимая смерч,
ночь надвинулась на отряды,
синяя, как смерть.

Молодою зарей пробита
утром ночь была.
Вот какие дела, Никита,
как сажа бела.

И еще одна ночь прошла — бессонная ночь Никиты. Рассветало в вагоне, он огляделся — и улыбка покривила его лицо. Спали даже девушки, наплакавшись за ночь, — не оправляя юбок, уснули они, а Пашка и Петька-матрос спали возле их ног. Спала женщина с ребенком, и Никита задумался, глядя на нее. Потом подошел, ткнул ребенка пальцем и отошел обратно. Заложил два пальца в рот и так свистнул, что матрос вскочил и схватил из-за пояса маузер.

Б а л м а ш о в

Эх, какой ты мятый, грязный, рыхлый. . .
Что, дурак, уставился, сопя?
Царствие небесное продрыхли —
так пеняйте сами на себя.

М а т р о с

Ну, ну, ну... Найди помыться воду —
тоже грязный...

Г о л о с б о й ц а

Хорошо поет
Балмашов... Забрал какую моду:
сам не спит и людям не дает.

Б а л м а ш о в

Что мне спать? Я гада караулю.
Коль просплю — достанемся врагу;
я литую из нагана пулю
для защиты вашей берегу.

П а ш к а

Всё, Никита, заливаешь пули,
всё страшась, лезешь на рожон;
что с того, что ночью мы заснули,
может, нам и сон не разрешен?
Черта с два!..

Б а л м а ш о в

Поди сюда, Павлуха...

П а ш к а

(подходит)

Ну, чего?.. Ну, подошел... Стою...

Б а л м а ш о в

Подними свое свинячье ухо,
слушай речь последнюю мою...
Слушай, гад...

П а ш к а

Я слушаю.

Б а л м а ш о в

Послушай,
не плясать Павлушке на лужке,
если я тебя вот этой грушей,
(показывает на гранату)
сняв кольцо, ударю по башке.

П а ш к а

А за что такое?

Б а л м а ш о в

Всё за это.
Слушай, Павел... на меня смотри —
я изъездил половину света,
исходил губерний сотни три.
Я прошел сквозь пламень черный адов,
мне Расея крикнула: владей!..
Видел много всевозможных гадов,
страшно непохожих на людей.
Ну, тебя я понимаю, Павел,
ты не контра, не бандит, не вор,
ты любовь покинул, мать оставил —
на погибель верную попер.
Ты подохнешь от кровавой шашки
нашему врагу на торжество,
знать поэтому прощу я Пашке
подлое насилие его. . .

П а ш к а

Где насилие? Мы полюбовно. . .

Б а л м а ш о в

Ты меня на тенор не бери. . .
Словно я не понимаю. . .
Словно
я дурак. . .
Молчи. . .
Не говори. . .
Ну так вот. Но я имею гада
страшного и гнусного в виду,
выявить которого мне надо —
я его, поганого, найду,
он ползет сквозь гибель нашу, залпы
тише трав и ниже чистых вод. . .

Г о л о с а

. . . Где такой, Никита? . . .
. . . Показал бы. . .

Балмашов

Покажу.

Голос

Скорей, Никита!

Балмашов

(указывает на женщину)

Вот.

Женщина

(укачивая ребенка)

Спи, младенец ты мой глупый,
долго до зари...

Балмашов

Ты своево младенчика пощупай,
а потом про сон ему ори...

(Идет к женщине, вырывает из ее рук сверток, срывает пленки и поднимает кверху мешок — то ли с мукой, то ли с солью.)

Интересный ребенок. Подолы не мочит,
недвижимый и тихий весьма,
он и титек не просит, и до ветру не хочет,
и людей не тревожит со сна...

Женщина

Дай обратно!

Бойцы

...Хороша, гадюка! ..
...Мамочка, ну до чего хитра! ..
...Вот так номер! ..
...Да, плохая штука...
...Так и прокачала до утра?
...Так и прокачала...
...Значит, втерла —
кабы не Никита — всем очки...
...Мать честная! ..
...Стерва! ..
...Кляп те в горло! ..

Ж е н щ и н а

Не я вас обманула, казачки. . .

Б о й ц ы

...А кто? ..
...Пребожья мать? ..
...Матка бозка? ..
...Слышь? Не она нас обманула! ..
...Да...
...Какая шкура! ..
...Хороша загвоздка... .

Ж е н щ и н а

А обманула вас моя беда... .

Б о й ц ы

Нехорошо, совсем нехорошо,
и подошло к несчастью большому.

Б а л м а ш о в

Твоей беде прощает Балмашов —
она не много стоит Балмашову.
Мне всё равно. И не подам я виду,
что сердце в клочья, черт его дери, —
за что купил, за то продам обиду.
Но, мать честная, пользуйся, бери... .
Но погляди кругом — за что тебе награда?
Вот казаки послушают — постой,
они тебя возвысили что надо
за материцтво женщины простой.
Оборотись на двух девиц,
что плачут,
что слезы сыплют горькие из глаз,
что не найдут себе покоя — значит,
как пострадавшие от нас.
Мы злобу пьем кровавыми губами,
на сердце рана черная свежей,
а жены наши плачут на Кубани,
исходят женской силой без мужей.
А мы тебя не трогали ни разу;
быть может, бог от этого упас?

Хотя тебя — поганую заразу —
повзводно трогать...

М а т р о с

Это в самый раз.

Б а л м а ш о в

И ты, как ворон, каркаешь над всею
Расеєю.

Ж е н щ и н а

Моя пропала соль,
а вы не думаете за Расею
и за ее безвыходную боль.
Кругом тоска, и я лишилась соли,
а вы спасаете от божьего суда...
Кого спасаете? Расею, что ли?
Вы Ленина спасаете — жида...

Б а л м а ш о в

Ты замолчи... Тебе бы пулю впору,
и ты ее получишь — подожди,
а за жидов не будет разговору,
которые рабочие вожди.
Они ведут нас через пламень адов
за лучшую идею воевать,
когда таких, как ты, не будет гадов,
а будут люди...

Ж е н щ и н а

Ну и наплевать!

Б а л м а ш о в

Вам наплевать, я знаю...

Б о й ц ы

...Что такое?..
...Какая гадина и плут!..
...Убить ее заразу — и капут!..
...От этой контры нет нигде покоя...
...Устроить ей ревтрибунал?

...А ну те —
тут не до шуточек...
...Дай я ее пошлю...

Б а л м а ш о в

Еще чего?
И на другой минуте
я из нагана гадину пришью.
Но так как руки мне марать отвратно
в такой нечистой и гнилой крови, —
взять из вагона,
выкинуть обратно...

Б о й ц ы

(надвигаясь)

Ну, господи тебя благослови,
пожалуйста на выкидку, мадам...

Ж е н щ и н а

Отдайте соль!

П а ш к а

Я соль тебе не дам.

Ж е н щ и н а

Отдайте соль!

П а ш к а

Не дам, зараза.

Бойцы выкидывают женщину из вагона. Желая посмотреть на дело рук своих, они бросаются к двери. Только Пашка хладнокровно констатирует:

Точка.

*(И внимательно рассматривает мешок соли,
недоумевая.)*

А что оно — сыночек или дочка?

Б о й ц ы

(от дверей)

...Встает, поганка...
...Баба — словно кошка...
...Гляди, пошла...

... Действительно...

... Ну вот...

... Эх, жалко все-таки. Еще немножко —
я бы ее...

... На бабе заживет...

Балмашов

Я соскочу.

Пашка

Держи его!

Балмашов

Не троньте,
я догоню, я допрошу ее,
за что мои товарищи на фронте
кончают молодое житие?
За что мы вечно в холоде, тревоге —
и существует почему вон та,
что медленно уходит по дороге.

Пашка

(подает ему винтовку)

Ударь ее, Никита, из винта.

Балмашов

А верно. Дай.

(Грозит кулаком женщине)

Попомни слово наше,
на — это слово вечное... Лови...
Ну, господи меня благослови...

(Целится, стреляет.)

Пашка

И царствие небесное мамаше...

Балмашов

(медленно поставив винтовку к ноге)

А послезавтра,
на коней сядая,

мы ринемся поэскадронно в бой,
и гибель нас подстережет седая,
а небосвод над нею голубой.
Получим и ранений и отличьев,
и, о тебе заботы не тая,
мы в наши руки
заберем Бердичев,
Республика советская моя!

Бойцы запевают песню.

За п е в а л о

И когда казаки
на коней сидали,
песни запевали
в голубой туман —
хоругви летели,
звякали медали,
сияли погоны,
плакал атаман.

В с е

(подхватывают припев)

Ты лети, лошадка,
пули — под рукой,
на затылке — шапка,
на ладони — шашка,
пика — на другой.

Ребятишки, будя!
Запеклася рана,
кровоточит эта рана глубока —
сорваны погоны,
нету атамана,
красные знамена
впереди полка.

И летит лошадка,
пули — под рукой,
на затылке — шапка,
на ладони — шашка,
пика — на другой.

Кончилась песня,
мы свое сказали,
и радость другая,
и тоска не та —
стало быть, с Кубани
ехали казаки,
стало быть, на битву вышла беднота.

И летит лошадка,
пули — под рукой,
на затылке — шапка,
на ладони — шашка,
пика — на другой.

1931

144. ТЕЗИСЫ РОМАНА

1

Искатель правды, наклонись над этой правдоподобной навсегда строкой, быть может, неуверенно пропетой, восторженной и молодой такой. Ты будь как дома. Закури и пояс ты распусти — мы будем толковать. Немудрую ты прочитаешь повесть, подумаешь и ляжешь на кровать. И не последней будет встреча эта, — ведь разговор наш краток, но хорош. Ты здесь не сыщешь стройного сюжета, любовных ситуаций не найдешь. Конечно, это недостатки. Всѣ же я говорю про наше бытие, и как-никак на это непохоже, что невозможно прочитать ее. Настанет день — дождями и туманом он закрывает вышнюю красу, — я выйду с преогромнейшим романом — тебе его, читатель, принесу. Его оценят в кулуарах разное — тут промолчат, пофыркает старье. Я напишу в нем, до чего прекрасно большое поколение мое, и, фабульное действие построив, я сквозь тоску и черную беду в литературу поведу героев, в поэзию героев поведу.

Я кой-кому скажу: «Папаша, врите,
что мы вообще... Вот Федор, вот Иван...»
И издадут в роскошном переплете
мой стихотворный в семь листов роман.
Ах, переплет! Тончайшей вязью вышит,
вовсю сияет, золотом звеня.
Чумандрин предисловие напишет,
а в предисловье поощрит меня.
И музы запоют, подобны гейшам,
передо мною руки завяя:
Хвала, хвала...
Но это всё в дальнейшем,
когда немного поумнею я.
Мечтание лишь про себя похвально,
прости, прости поэту болтовню,
она, понятно, профессиональна...

А все-таки роман я сочиню.
Сейчас немного похвалиться рано,
прости меня, читатель, — потому
я только схему, тезисы романа
вниманью предлагаю твоему.

2

Как мне диктует романистов школа,
начнем с того...
Короче говоря,
начнем роман с рожденья комсомола —
с семнадцатого года,
с октября.
Вот было дело. Господи помилуй! —
гудела пуля серая осой,
и Керенский (любимец... душка... милый...) —
скорее покатился колбасой.
Тогда на фронте, прекращая бойню
братанием и злобой на корню,
встал фронтовик и заложил обойму,
злопамятную поднял пятерню.
Готовый на погибельную муку,
прошедший через бурю и огонь,

он протянул ошпаренную руку,
и, как обойма, звякнула ладонь.
Тогда орлом сидевшая империя
последние свои теряла перья,
и — злы, неповторимы, велики —
путиловские встали подмастерья,
кронштадтские восстали моряки.
Как бомбовозы, песни пролетали,
легла на землю осень животом...

(Всё это — предисловие, детали
и подступы к роману. А потом...)

Уже тогда, метаясь разъяренно
у заводской ободранной стены,
ребята с Петергофского района
и с Выборгской ребята стороны
пошли вперед,
что не было нимало
смешною в революцию игрой,
хоть многого еще не понимала
и зарывалась молодость порой.
Ей всё бы гроыхала канонада,
она житье меняла на часы,
и Ленин останавливал где надо
и улыбался в рыжие усы.

(Не данным свыше, не защитой сирым,
не сладким велеречьем, а в связи
с любовью нашей, с ненавистью, с миром
ты Ленина, поэт,образи.
Пускай от горести напухли веки, —
писатель, помни — хоть сие старо:
ты пишешь о великом человеке —
ты в кровь свою обмакивай перо.)

Он знал тогда, — товарищи, поверьте, —
что эти заводские пацаны
не ради легкой от шрапнели смерти,
а ради новой жизни рождены.
Мы положенье поняли такое,
когда, сползая склонами зимы,



мы выиграли битвы у Джанкоя
и у Самары победили мы.
Из боя в битву сызнава и снова
ходили за единое одно —
Антонова мы били у Тамбова,
из Украины вымели Махно.
Они запомнят — эти интервенты —
навек незапамятных веков —
тяжелых наших пулеметов ленты
и ленточки балтийских моряков.
Когда блокадой зажимала в кольца
республику озлобленная рать, —
мы полагали — есть у комсомольца
умение и жить и умирать.
Всё в обороте — и любовь и злоба.
Война.
Империя идет ко дну...

(Когда я сяду за роман, особо
я опишу гражданскую войну.
Воспоминая дань большую отдав,
распределю материалы так:
на описание битв и переходов,
глубоких рейдов, лобовых атак —
две-три главы, чтоб вышло пошкарней,
потом я в песню приведу свою
сотрудников политотделов армий,
что пали за республику в бою, —
Якушкина, Кручинина Семена,
Ненилова, — мне все они близки, —
и преклоню багровые знамена
своей любви, печали и тоски.)

Несла войны развернутая лава,
уверенностью била от Москвы —
была Россия некогда двуглава,
а в сущности, совсем без головы.
Огромные орлы стоят косые —
геральдика — нельзя же без орлов!
За то, что ты без головы, Россия,
мы положили множество голов.
Но пулей срезан адмиральский ворон,

пообломали желтые клыки,
когда, патроны заложив затвором,
шагнули в битву наши старики.
Не износили английских мундиров,
не истрепали английских подошв.
Врагу заранее могилы вырыв,
за стариками вышла молодежь.
Офицерье отброшено, как ветошь,
последние, победные бои...
Советская республика, а это ж
вам не Россия, милые мои...

8

(Итак, в боях у Перекопа, Томска;
на станциях Самара, Луга, Дно
в романе нашем первое знакомство
с героями у нас заведено.
Они различны. Этот — забияка,
а этот лирик... Этого порой
приходится расценивать двояко:
не то — счастливый, а не то герой.
И я, писатель, выступив на сцену,
большую ношу взявший по плечу,
переживаний, настроений смену
в героях подмечаю, хлопочу,
рифмую, делу преданный без лести,
стараюсь, умничаю за двоих,
своих героев сталкиваю вместе,
потом опять разъединяю их —
как говорили раньше: тяжело
иметь талант, бумагу и стило.
Но это всё в дальнейшем, — слава богу,
я не хочу сейчас смущать умы —
сичу себе, кропаю понемногу,
героев просто называю «мы».)

4

Когда назад мы обернулись разом,
отчаянны, настойчивы и злы,
мы увидали...

Не окинуть глазом
развалин, пепла, щебня и золы.
Разбитые, разломанные тракты, —
над ними только месяц молодой, —
молчали фабрики,
зияли шахты,
подземною наполнены водой.
И ржавчина сидела на стропилах,
и крыши на сторону все снесло,
и высыпало снеговых опилок
на улицу несметное число.
По грязи гибель подползала ближе, —
ты чувствовал ехидную ее, —
в картофельной, слезоточивой жиже
голодное копалось воронье.
Мы лопали сосновые иголки,
под листьями искали желудей —
и люди все голодные, как волки,
а волки все голоднее людей.
Тут не спасет Россию слово божье —
качало нас от этих новостей,
что высохло от голода Поволжье
до желтых, до изношенных костей,
что только хлеба, хлеба...
Только хлеба.
Огромная разрушена страна,
над нею хлюпает и плачет небо,
ползучая, слепая пелена...

(Сему определению: разруха,
но у героев повести поэт
присутствие свидетельствует духа
и злобу
и настойчивость побед.
Стоит страна трухлявою избою
и шлепает промозглою губой —
выходят победители из боя
и снова в бой.)

И разошлись мы по дорогам разным
в развалины и пакостную слизь,

и вот, мечтам не предаваясь праздным,
мы сызнава за дело принялись.
Отцы — литейщики и хлеборобы,
шахтеры, кочегары, слесаря —
взялись за прежнее не ради пробы,
от нечего поделатъ и зазря.
Страна влекла свое существованье,
бревенчатая, грязная, в пыли —
у ней на бога было упованье,
который возыграет на земли,
Она ждала,
она теряла силы,
нелепа, неразумна и проста,
но не было и признака в России
вторичного пришествия Христа.
Он дурака валяет, боже правый, —
и вера в господа уже смешна.
А мы пришли —
и не узнать корявой,
так изменилась старая страна.

б

Пятнадцать лет и снегом и водою
упали, неразрывные, на нас —
пятнадцать лет работой молодою
упорствовал непобедимый класс.
Скрипели заскорузлые ладоши,
и ветер бушевал — норд-ост и вест, —
и отвела в работе молодежи
история одно из первых мест.
Дожди кипели, и пурга играла,
но мы работой грелись, как могли,
и в результате не узнать Урала,
ни гор, и ни воды, и ни земли.
Здесь ранее, отчаянно и пьяно
висевшая на ниточке, слаба,
свистела Пугачева Емельяна
и гасла обреченная судьба.
Не просто так, охочие до драки,
смятением и яростью горя,

рубилась оренбургские казаки
за своего мужицкого царя.
— Пожалуйте казацкой саблей бриться,
садитесь на тяжелое копье...
И падали фортеции царицы,
бревенчатые крепости ее.
Приподнимались мужики на пашнях,
сжимая топорище топора,
и много песен про Емелю страшных
запомнила Магнитная гора.
Она стоит, — по Пугачеву тризна,
республики тяжелая стена, —
свидетельствуя мощь социализма,
до неба нами поднята она.
Добытки руды, взрывая, роя,
с благоговеньем слушают ее —
от Пугачева до Магнитостроя
прекрасно поколение мое.

6

Мы вспоминаем гульбища и гульбы,
когда, садясь на утлые дубы,
прекраснодушные Тарасы Бульбы
растили оселедцы и чубы.
Горилку пили,
в бубны тарахтели,
широкоплечи, в меру высоки,
и спали на земле, как на постели,
посапывая носом, бурсаки.
Ходила тучей, беспокоя ляха
скрипением несмазанных телег,
и нехристи, приявшие Аллаха,
порубанные, падали навек.
Она носилась, на коней сидя,
по бездорожьям грозная беда, —
рассказывай об этом нам, седая
Днепра непостоянная вода.
Мы не даем тебе дурного ходу,
работай нам, и зла и глубока,
мы перегородили эту воду
бетоном и железом на века.

Опять сгибая на работе спину,
за голубой днепровский водоем,
за новую, за нашу Украину
мы молодость большую отдаем.

7

(Растет роман. Полны любви и славы,
быть может, неумелы и просты,
в чередованье поспешают главы,
с помарками ложатся на листы.
И скоро утро. Но, главой управлясь,
я всё еще заглядываю в тьму —
меня ненужная снедает зависть
к потомку будущему моему.
Во всех моих сомненьях и вопросах
он разберется здорово, друзья,
и разведет турусы на колесах
талантливей, чем предок, то есть я.
Он сочинит разумно и толково, —
на отдалении ему видней, —
накрутит так чего-нибудь такого
о славе наших небывалых дней,
что я заранее и злюсь, и вяну,
и на подмогу всё и вся зову,
чтоб только в эти тезисы к роману
включить еще, еще одну главу.)

8

Я рос в губернии Нижегородской,
ходил дорогой пыльной и кривой,
прекрасной осеняемый березкой
и окруженный дикою травой.
Кругом — Россия.
Нищая Россия,
ты житницей была совсем плохой.
Я вспоминаю домики косые,
покрытые соломенной трухой,
твой безразличный и унылый профиль,
твою тревогу повседневных дел

и мелкий, нерассыпчатый картофель
как лучшего желания предел.
Молчали дети — лишняя обуза, —
а ты скрипела челюстью со зла,
капустою заваленное пузо
ты словно наказание несла.
Смотри подслеповатыми глазами
и слушай волка глуховатый лай.
Твоими невеселыми слезами
весь залился Некрасов Николай.
Так и стоишь ты, опершись на посох,
покуда, не сгорая со стыда,
в крестьянских разбираются вопросах
смешно и безуспешно господ.
Про мужичка — про Сидора, Гаврилу —
они поют, качая головой,
а в это время бьет тебя по рылу
урядник, толстомясый становой.
Чего ты помышляешь, глядя на ночь?
Загадочной зовет тебя поэт,
и продает тебя Степан Иваныч —
по волости известный мироед.
Летят года, как проливни косые,
я поднимаю голову свою,
и я не узнаю своей России,
знакомых деревень не узнаю.
И даже воздух — изменился воздух,
в лицо меня ударила жара,
в машинно-тракторных огромных гнездах
жужжат и копошатся трактора.
И мы теперь на праздниках нарядных
припоминаем прежние деньки,
что был в России — мироед, урядник,
да кабаки, да церковь, да пеньки.

9

Но чем же победили мы в упорной
и долгой битве?
Разумом, спиной?
Учились мы по грамоте заборной,
по вывеске заплыванной пивной.

Шпана — и выражались неучтиво
мы, в детстве изучившие пинки,
а в битве — прямо скажем — не до чтива,
когда свистят над головой клинки.
Но мы не дураки. Когда с победой
мы вышли из огромного огня,
нам было сказано:

— Поди изведай
все знания сегодняшнего дня
и, не смыкая пресыщенно веки,
запомни, что висишь на волоске.
Чтобы тебя не продали навеки,
скрипи, товарищ, мелом по доске.
И мы пошли.

Мы знали, всё равно мы
одно, хоть, по профессиям деля,
теперь одни — поэты, агрономы,
другие — доктора, учителя.
Никто из них ни буквоед тягучий,
ни раб бездушный цифры, букваря...

.
Но это что...

Я знаю лучше случай,
не единичный, к слову говоря!
Я знаю, да и вы видали малых,
из молодых, подкрашенных подруг,
они тогда мотались на вокзалах,
тащили чемоданы из-под рук,
как мертвецы, на холоде синели,
закутанные в тухлое старье,
существовали где-то на панели —
домушники, карманники, ворье.
И каждый с участью поганой свыкся,
не думая, что смерть ему грозит,
один — бандит,
другая — шмара, бикса,
одна — зараза,
первый — паразит.
И, потаенно забиваясь в хазы,
в подвалы и разбитые дома,
они певали страшные рассказы,
от морфия сходявшие с ума.

«Оборванная куртка
и тонкая рука,
попомни слово, урка,
погибнешь от курка.

Загнешься ты со славой,
горяч смертельный пот,
когда тебя лягавый
на деле заметет.

Заплакают подружки
рыданьем молодым,
когда тебе от пушки
наступит вечный дым.

Оставь курнуть окурка,
не грохай в барабан...
Так что нам делать, урка?
Потопаем на бан...»

Вот эту тему поверни, потрогай, —
огромная, достойная она, —
чтобы понять, какую шли дорогой
домушники, хипесницы, шпана,
как после водкой полного стакана
и ножика под хрустнувшим ребром
выходит инженер из уркагана,
а из бандита нужный агроном.
Не выдумка —
вы на заводах наших
разыщите — тем лучше, чем скорей —
в недавних голодранцах и апашах
литейщиков, поэтов, токарей.

10

Умру я — будут новые витии,
прочтут они про наше торжество,
про наши беды и перипетии
характерные века моего.
Смешают все понятия и планы,
подумают, что мы-де — высота,

не люди, а левиафаны,
герои, полубоги, красота.
Что мы не говорили, а орали,
не знали, что такое есть покой,
одной рукой крутили на Урале,
в Узбекистане левою рукой.
Нет — мы попроще. Мы поем и пляшем,
мы с девочками шляемся в кино,
мы молоды,
и в положение нашем
с любовью не считается мудрено.
Мы с удовольствием цветами дышим,
в лесу довольны листьями ольхи,
ревнуем, удивляемся и пишем
порой сентиментальные стихи.
Но мы не забываем, что в позоре
мы выросли и числились в веках,
и костяные, желтые мозоли
у нас еще как перстни на руках.
И мы увидели еще до срока,
прекрасной радостью напоены,
и запад Запада,
восход Востока,
восход разбитой некогда страны.

II

И если ночью вдруг из-за границы
потянет сладким, приторным дымком,
война на наши села и станицы
через границу налетит рывком
и, газом сыпя с неба, как из сита,
отравой нашей питьевой воды
и язвами от яда люизита
свои оставит грязные следы, —
эх, мы махнем,
и, на коней сядая,
мы молодую песню запоем,
что, мама богородица святая,
помянь врага во царствии твоём.
Танкисты,
дегазаторы,

саперы,
кавалеристы,
летчики,
стрелки —
запрут страну свою на все запоры,
войдут во все земные уголки.
Нефтяник перепачканный и голый
и лесоруб возьмет свое ружье,
рабочие индустрии тяжелой, —
прекрасно поколение мое.

12

Когда заразой расплзлось тленье
и проникало в сердце и цвело, —
«печально я гляжу
на наше поколенье», —
стонал поэт и поднимал стило.
Он колдовал, хрипя, подобен магу,
смешное проклиная бытие,
и кровь струей стекала на бумагу
и прожигала чистую ее.
Он мчался на перекладных по стуже,
бродил, как волк, в рассыпчатом снегу, —
вот я не так —
я сочинитель хуже,
но я от поколенья не бегу.
Я задыхаюсь с ним одним рассветом,
одной работой,
качеством огня,
оно научит стать меня поэтом,
оно поставит на ноги меня.
И многого я не найду в основах,
там худ и скуден истины улов,
а с ним войду в мир положений новых,
в мир новых красок, действия и слов.
Раздолье мне, —
тьень Франсуа Виньона,
вставай и удивленья не таи.
Гляди — они идут побатальонно,
громадные ровесники мои.

Я их пишу,
а вы с меня взыщите,
коль окажусь в словесной нищете,
тогда, не апеллируя к защите, —
не со щитом,
так всё же на щите.

<1932—1933>.

145. ИЗ ПОЭМЫ «АГЕНТ УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА»

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Полуночь — мелькнувшая бросово —
и на постовые свистки
является песня Утесова —
дыхание горькой тоски.

И выровнена мандолиною
и россыпью звездной пыли,
уходит дорогою длинною
тебе параллельно, земля.

Себя возомнив уркаганами,
скупой проклиная уют,
ребята играют наганами
и водку из горлышка пьют.
Чего им?
Любовь?
Далеко ты...
Им девочки больше сродни.
В сияющие коверкоты
одетые, бродят они.

С гитарой, за плечи заброшенной,
притоптывая: гоп-ля, —
и галстука с красной горошиной
тугая на горле петля.

К любви не надобно навыка —
подруги весомы, как пни:
беретик, надвинутый на ухо,
и платье до самой ступни.

И каждый подругу за талию
на попеченье свое...
Несет от него вежеталью,
духами «Кармен» от нее.

Поет он:

— Погибну повесой,
не выдержу гордой души,
и полночью этой белесой
уходят меня лягаши...

Поет она румбу матросскую,
шумит кружевное белье,
и пламенную папирскую
указаны губы ее.

Покачиваются слегка они,
ногой попирая гранит,
от линии Первой
до Гавани
одесская песня гремит.

И скоро все песенки спеты —
из ножен выходят клинки,
на левые руки кастеты,
а в правых горят черенки.

И водка вонючею гушей
дойдет
и ударит в мозги,
и драка для удали пущей,
и гроб...
И не видно ни зги.

Видать по удару артиста —
рука его грянет жестка,
тоска милицейского свиста,
как матери старой тоска.

А парень лежит и не дышит,
уже не потеет стекло,
висок его розовым вышит,
и розовое потекло.

Луна удаляется белым,
большим бильярдным шаром —
и скоро за скрюченным телом
телегу везет першерон.

Дрожит он атласною кожей,
сырою ноздрею трубя,
пока покрывают рогожей
на грязной телеге тебя.

Конь ухом распоротым водит,
но всё ж ты не страшен ему —
ты слесарем был на заводе,
навек и ушедший во тьму.

И я задыхаюсь,
доколе
мне сумрак могильный зловещ.
Опишут тебя в протоколе,
как больше не нужную вещь.

Покуда тебя до мертвецкой
трясут по рябой мостовой —
уходит походкою веской
убийца растрепанный твой.

Он быстро уходит,
подруга
качается возле, темна,
и руку тяжелую туго
ему вытирает она.

Тускнеет багровая кожа,
и, дальше шагая в тоску,
она осторожно:
— Сережа,
зачем ты его по виску?

— Подумаешь...
Тонкий и дикий,
раскуривает, потом
глядит, улыбаясь:
— Не хныкай...
Поспорили...
К черту...
Идем...

-- Так что же теперь?
— Посоветуй...
Перчаткой в кармане звеня,
поэмы случившейся этой
уходит герой от меня.

Но нет,
он опознан и пойман,
в его я участен судьбе,
и полная словом обойма
тоскует, Сергей, по тебе.

По следу,
по пеплу окурка,
по лестнице грозной, крутой,
туда,
где скрывается урка —
убийца,
Сергей Золотой.

ГЛАВА ВТОРАЯ

На лестнице
и кухонною гарью,
кислятиной отборнейшею сплошь,
не то чтоб кошкой,
а какой-то тварью,
которой и названья не найдешь.

И эта тварь запуталась в перилах,
издохла, гадина,

и тухнет вся —
и потолок в прыщах, нарывах, рылах
над нею тоже тронулся, вися.

И стены все в зеленоватой пене,
они текут, качаясь и дрожа —
беги... беги...
Осиливай ступени,
взбираясь до шестого этажа,
беги по черной лестнице и сальной,
покуда, хитрый и громадный враг,
тебя не схватит сразу полумрак
из логова квартиры коммунальной.

Она хрипит.
Я в эту яму ринусь,
я выйду победителем, и я...
вхожу.
Раздутый до отказа примус
меня встречает запахом гнилья.

Его дыханье синее, сгорая,
шипящее и злое без конца,
твою рубашку освещает, Рая,
не освещая твоего лица.

И вот к тебе я подхожу вплотную,
но только ты не чувствуешь меня —
я слышу песенку твою блатную,
согретую дыханием огня...

— Я была такая резвая:
гром, огонь во всей семье.
На ходу подметки срезывая,
я гуляла по земле.

И не думала я уж никак,
что за так, не за рубли,
полюблю я домушника,
полюблю по любви.

Виноватые мы сами,
что любовь — острый нож.
Жду тебя со слезами —
ты домой не идешь.

Посветало на востоке.
Всё не сплю я, любя,
может быть, на гоп-стоке
уже угробили тебя...

Так поет она, как говорили раньше,
грустный, продолжительный напев,
а кругом — я сообщу вам — рвань же,
грязь идет на нас, рассвирепев.

Кислых тряпок мокнущие глыбы
в ряд расположились на воде,
лопается крошево из рыбы
и клокочет на сковороде.

Вот оно готово.
В клочьях пены
на воду, на тряпок острова
со сковороды глядит степенно
острая рыбешки голова.

Гаснет примус, нудно изрыгая
дымные свои остатки зла,
и Раиса — черная, другая —
сковороду с кухни унесла.

Комната Раисы.
Не уверен,
стоит ли описывать ее.
В жакте весь метраж ее измерен —
комната — не комната... жилье.

Два окна.
Две занавески грязных
из дешевенького полотна,

веером киноактеров разных
потная украшена стена.

Чайник на столе слезится жирно,
зеркало, тахта, кровать и ширма.

Инвентарь тоски, унылой скуки —
на тахте, мучительно сопя,
спит Сергей, в карманы сунув руки,
ноги подбирая под себя.

И во сне ему темно и тесно;
отливая заревом одним,
облаков рассыпчатое тесто
проплывает, шлепая, над ним.

Просыпается.

Глядит, не веря:

— Где я? Что я?

— Выспался?

— Угу!

Он шагает, весь похож на зверя.

Комната — как раз в его шаг.

Зеркало косило.

Вместо носа

что-то непонятное росло.

Физия раздута, как назло,
не похожа ни на что, раскоса.

— Фу ты, дьявол!..

— Что с тобой, Сережа?

— Погляди, Раиса,

серая какая рожа,

с похмелюги, что ли, такова?

Дай опохмелиться...

— И не думай...

— Ну!..

И с перекошенной губой,
вялый, полусонный и угрюмый,
заполняя комнату собой,
он тяжел.

Показывает норов,
шаркает подошвою босой...
— Слушайся, давай без разговоров.
— Ты и так, Сергей, еще бусой.
— Не твое собачье дело, шмара. —
Злом набухла жилка у виска,
а в затылке от полуугара
ходит безысходная тоска.

А часы подмигивают хитро, —
дескать, разморило молодца...
Он сидит — и перед ним пол-литра,
мертвенное тело огурца,
и находится в пол-литре в этом
забытье и песня, и огонь...
Я когда-то тоже пел фальцетом,
вышибая пробку о ладонь.

И, на всё в досаде и обиде,
в чашку зелено вино лия,
бушевала в полупьяном виде
молодость несмелая моя.

— Мол, не буду в этой жизни бабой...
Поощряли старшие:

— Хвалю,
только ты еще чего-то слабый
и порядком буен во хмелю...

— Всё равно умрешь,
так пей, миляга,
даже выпивают и клопы...
— Всяко возлияние есть влага, —
возвещали, выпивши, попы.

Но проходят годы —
мы стареем,
пьем, как подобает, в месяц раз,
и, пожалуй, пьяным иереям
стыдно до волнения за нас.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Не мерцанье сабель,
не цокот и гром эскадронов,
детству милая песня,
веселое уничтоженье врага...
Нет, война — это, оперы сей не затронув,
полустанок, заброшенный к дьяволу на рога.

Не ура, поднимаемое
атакующей конною лавой,
а солдатская песня про журу,
про журавля.
Станционный козел,
украшаемый костью трухлявой,
молча слушает песню,
покрытую вечною славой,
удивляется ей, золотой бородой шевеля.

Так война повернулась к Сергею.

Он видел,
от печального однообразья устав,
как худой машинист —
обгорелый, измазанный идол —
без гудков уводил
в осторожную полночь состав.

Полночь бьет пулеметами,
тараторит смертельною сплетней, —
безразличны Сергею идущие боком бои,
он отбил в дороге от матери —
десятилетний,
он тарашит на шпалы:
глаза молодые свои.

Ходят мимо солдаты,
тоскующие о женах,
стынет здание станции,
обреченное штабом на слом,
с юга ветер доносит
дыхание трав, зараженных
трупным ядом,

предсмертной испариной,
злом.

Вот на юге трава...
В ней бы скрылся такой человек,
как Сергей,
до макушки,
до золота пыльных волос...
Он бы лег,
он бы слушал
колыбельную песенку речек,
чтобы легче дышалось ему,
чтобы крепче спалось.

Ночью жгут у перрона костры:
варят кашу и сушат онучи...
И Сергей подползает на огонек ночевать.
— Ты откуда, парнишка? —
Корявые руки вонючи,
но зато уж и ласковы...
— Дяденька...
— Ну ничего...

А под утро,
когда, утомленные боем,
спят, завернутые в шинели,
и видят приятные сны,
и особенно пахнет весной
и травой зверобоем,
и смолистою, чуть подогретою, шишкой
сосны...

Вдруг ударили с левого фланга...

Вибрируя: п-иу... у...
сухо щелкая в камень,
пролетая, впиваясь в зарю...

Это пуля. Спасайся!

Сергей уползает в крапиву,
слышит:
— Сволочи, к пулеметам...
Андрюшка, тебе говорю...

Над Сергеем склоняется парень —
большой, одноглазый,
в ухе часики вместо серьги,
и на шее мерцанье монет...
— А ну, поскорей вылезай!..
Обратите внимание ваше,
какой небольшой коммунист...

Так Сергей попадает к махновцам.

Тут уж начинается буча —
гром, дым, пыль, война,
и мохнатое знамя предводительствует, как туча,
и распластана грива западенного скакуна.

Одноглазый бандит покровительствует Сергею,
то напоит его самогоном до белых чертей
и тоскует спьяна:
— Я тебя и люблю и радею,
потому обожаю еще не созревших детей.

Я и сам молодой был, красивый...
но глаз, понимаешь ли, вытек —
потому меня шашкой
коммунисты ударили раз...
И целует Сергея разбойник и сифилитик,
уважаемый бандой
за сифилис и за глаз.

У него был запой —
он трепался, бунтуя, по селам,
и, похожий на бред, на страшилище-нетопыря,
он расстреливал пленных,
в ажиотаже веселом
пулю в пулю сажая,
во всё матеря.

Липкой грязью зашлепанный,
словно коростой,
разводя на затылок квадратные плечи свои,
он размахивал жесткою плетью
четырёххвостой,

и свистели четыре хвоста,
как четыре змей.

С неба падали звезды,
гармоника тяжело вопила —
то в обнимку, в дыму разбредаясь по степи рябой,
сотоварищи пьют самогон
и багровое пиво,
одноглазого чествуя песней, тоской и пальбой.

А когда окружили ту банду
Буденновские отряды —
одноглазый попался, как мальчик,
как кура во щи,
говорил по слогам:
— До чего ж вам, товарищи, рады.
То-ва-ри-щи. . .
Он божился и клялся:
— Будь я гадом и будь я заразой. . .
Он вертелся в предсмертии колесом на оси,
но во имя победы
налево идет одноглазый —
и вороной душа его
улетает на небеси.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

«Черная рубашка, дыра на пупе.
Ящик под вагоном — прекрасное купе.
Что же мне надо?
Что же тебе надо?
Что же нам обоим с тобой — шантрапе?
Паровозы ходят с Москвы на Одессу,
а с Одессы ходу опять на Москву. . .
И тоска на сердце — ну ее к бесу
такую тоску!

Машинисты пару поддают, шуруя,
паровозы ходят прямо как стрела,
мне тоска такая —

скоро вот умру я,
так зачем же мама мне родила?»

Ребята поют не в голос,
хрипя выходит из горла
шатающаяся песня
в зеленую, сочную тьму...
Война их несла в ладонях,
война их мяла и терла,
война их учила злобе, как разуму и уму.

Тачанок припадочных грохот,
и жар полуденный адов,
и дышащий смрадно ладан
в руках жестяных попов,
но войны уходят в землю
осколками снарядов,
обрывками сухожилий,
остатками черепов.
Сергей поет, вспоминая,
как задом падали кони
перед клубами жирной и плодоносной земли.

Сергей поет.
Его слушает публика на перроне
и паровоз, идущий с Москвы на конец земли.
Когда подают копейку...
— Чего так распелся, на, мол...
Сергей копейку за щеку — она ему дорога.
Порою интересуются:
— А ты сегодня шамал?
— Я? Не... не шамал...
Выслушивают:
— Ага!

Уходят степенно и важно,
пышны, велики, спокойны,
их ожидает ужин,
дети, жена, постель;
они уходят в землю,
как всё уходит,

как войны —
осколками снарядов,
осколками костей.

А я пойду погуляю — меня окружает усталость
хандрой и табачным дымом,
а трубка моя пуста,
мне в этой жизни мало чего написать осталось,
написано строк четыреста —
еще не хватает ста.

Пойду через Марсово поле
до темного Летнего сада
с распахнутою душой...
Подумаю, как Сергею доехать до Ленинграда —
он очень хороший город:
вечерний, весенний, большой.

1933

146. ТРИПОЛЬЕ

*Памяти комсомольцев, павших
смертью храбрых в селе
Триполье*

Часть первая

ВОССТАНИЕ

ТИМОФЕЕВЫ

Пятый час.
Под навесом
сыятся травы коровам,
пахнет степью и лесом,
холодком приднепровым.

Ветер, тучи развеяв,
с маху хлопает дверью:
— Встань, старик Тимофеев,
сполосни морду зверью.

Рукавицами стукни,
выпей чашку на кухне,
стань веселым-веселым,
закуси малосолом.

Что теперь ты намерен?
Глыбой двинулся мерин,
морду заревом облил —
не запятишь в оглобли.

За плечами туманы,
за туманами страны, —
там живут богатеи,
многих наших лютее.

Что у нас?
Голодуха.
Подчистую всё чисто,
в бога, в господу, в духа,
да еще коммунисты.

На громадные версты
хлеборобы не рады, —
всюду хлеборазверстки,
всюду продотряды.

Так ли, этак ли битым,
супротиву затеяв,
сын уходит к бандитам,
звать — Иван Тимофеев.
А старик Тимофеев —
сам он из богатеев.
Он стоит, озирая
приделы, сараи.
Всё налажено, сбито
для богатого быта.

День богатого начат,
утя жирная кричет,
два огромные парня
в навозе батрачат.
Словно туша сомовья,
искушенье прямое,
тащит баба сыновья
в свинарник помои.

На хозяйстве великом
ни щели, ни пятен.
Сам хозяин, владыка,
наряден,
опрятен.

Сам он оспую вышит.
Поклонился иконам,
в морду мерину дышит
табаком, самогоном;
он хрипит, запрягая,
коммунистов ругая.

А хозяйка за старым
пышет гневом и жаром:
— Заскучал за базаром?
— Заскучал за базаром...
— Дурень! —
лается баба,
корчит рожу овечью...
— Постыдился хотя ба...
— Отойди! Изувечу!
— Старый пьяница, боров...
— Дура!
— ...дерево, камень!
И всего разговоров,
что махать кулаками!
Что ты куйишь?
Куренок
нынче тыщарублевый...
Горсть орехов каленых,
да нажрешься до блева,
до безумья!..

И баба,
большая, седая,
закудахтала слабо,
до земли приседая.

В окнах звякнули стекла,
вышел парень.
Спросонья
молодою и теплою
красотою фасоня
и пыхтя папиросой,
свистнул:
— Видывал шалых...

Привезем бабе роскошь —
пуховой полушалок...

Хватит вам барабанить —
запрягайте, папаня!
Сдвинул на ухо шапку,
осторожен и ловок,
снес в телегу охапку
маслянистых винтовок.

Мерин выкинул ногу —
крикнул мерину: «Балуй!..»
Выпил, крякая, малый
посошок на дорогу.

ТИМОФЕЕВ БЕРЕТ НА БОГА

Дым.
Навозное тесто,
вонь жирна и густа.
Огорожено место
для продажи скота.

И над этой квашней,
золотой и сырой,
встало солнце сплошной
неприкрытой дырой.

Брызжут гривами кони,
рев стоит до небес;
бык идет в миллионе,
полтора — жеребец.

Рубль скользит небосклоном
к маленьким миллионам.

Рвется денежка злая,
в эту кашу, звонка,
с головой покрывая
жеребца и быка.

Но бычачья, густая
шкура дыбится злей,
конь хрипит, вырастая
из-под кучи рублей.

Костью дикой и острой
в пыль по горло забит,
блекнет некогда пестрый
миллион у копыт.

И на всю Украину,
словно горе густое,
била ругань в кровину
и во всё пресвятое.

В чайной чайники стыли,
голубые, пустые.

Рыбой черной и жареной
несло от буфета...
Покрывались испариной
шеи синего цвета.
Терли шеи воловьи,
пили мутную радость —
подходящий сословью
крестьянскому градус.
Приступая к беседе,
говорили с оглядкой:
— Что же.

Это.

Соседи?

Жить.

Сословью.

Не сладко.

Парень, крытый мерлушкой,
стукнул толстою кружкой,
вырос:

— Слово дозвольте! —

Глаз косил веселó,
кольт на стол.

И на кольте
пальцы судорогой свело.

— Я — Иван Тимофеев
из деревни Халупы.
Мой папаня присутствует
вместе со мной.

Что вы стонете?

Глупо.

Нужен выход иной.
Я, Иван Тимофеев,
попрошу позволения
под зеленое знамя
собирать население.

К атаману Зеленому
вывести строем
хлеборобов на битву
и — дуй до горы!

Получай по винтовке!

Будь, зараза, героем!

Не желаем коммуний
и прочей муры.

Мы ходили до бога.

Бог до нашего брата
снизойдет нынче ночью
за нашим столом.

Каждый хутор до бога
посылай делегата —
все послушаем бога —
нельзя без того.

Он нам скажет решительно,
надо ль, не надо ль
гносно гибнуть под игом
и тухнуть, как падаль.

Либо скажет, что, горло и сердце

калеча,

под гремящими пулями
вырасти... выстой...

Отряхни, Украина,
отягченные плечи
красной вошью
и мерзостью красной...

нечистой...
Я закончил!

И парень
поперхнулся, как злостью,
золотым самогоном
и щучьею костью.

Вечер шел лиловатый.
Встали все за столом
и сказали:
— Ну что же?
— Пожалуй...
— Сосватай...
— Мы послушаем бога...
— Нельзя без того...

БОГ

Бог сидел на скамейке,
чинно с блюдечка чай пил...
Брови бога сияли
злыми крыльями чайки.

Двигал в сторону хмурой
бородою из пакли,
руки бога пропахли
рыбьей скользкою шкурой.

Хрупал сахар вприкуску,
и в поту
и в жару,
ел гусиную гузку
золотую,
в жиру.

Он сидел непреклонно —
все застыли по краю,
а насчет самогона
молвил:
— Не потребляю...

Возведя к небу очи,
все шепнули:
— Нельзя им!
И поднялся хозяин
и сказал богу:
— Отче!
Отче, праведный боже,
поучи, посоветуй,
как прожить в жизни этой,
не вылазя из кожи?
На земле с нами пробыв,
укажи беспорядок...
Жиды в продотрядах
извели хлеборобов.
Жиды ходят с наганом,
дышат духом поганым,
ищут чистые зерна!
Ой, прижали как туго!
Про Иисуса позорно
говорят без испуга.
Нам покой смертный вырыт,
путь к могиле короче.
Посоветуй нам, отче,
пожалей сырых сирот!..

Бог поднялся с иконой
в озлобленье великом,
он в рубахе посконной,
подпоясанной лыком.
Все упали:
— Отец мой! —
Ужас тихий и древний...
Бог мужицкий, известный,
из соседней деревни.

Там у бога в модельнях
всё иконы да ладан,
много девушек дельных
там работают ладом:

И в модельнях у бога
пышут ризы пожаром, —

богу девушек много
там работают даром.

Он стоял рыжей тучей,
бог сектантский, могучий.
Вечер двигался цвета
самоварного чада...
Бог сказал:
— Это, чадо,
преставление света.
Тяжко мне от обиды:
поругание, чадо, —
ведь явились из ада
коммунисты и жиды.
Запирай на засовы
хаты, уши и веки!
Схватят,
клеймы бесовы
выжгут на человеке.
И тогда всё пропало:
не простит тебе боже
сатаны пятипалую
лапу на коже...

Бог завыл.
Над народом,
как над рухлядью серой,
встал он, рыжебородый,
темной силой и верой.

Слезы, кашель и насморк —
всё прошло.
Зол, как прежде,
бог ревел:
— Бейте насмерть,
рушьте гадов и режьте!

Заряжайте обрезы,
отточите железы
и вперед непреклонно
с бомбой черной и круглой,

с атамана Зеленого
божьей хоругвой...

ГОНЕЦ

Били в колокол,
песни выли...
Небо знойное пропоров,
сто кулацких взяли вилы,
средняцких сто дворов.

И зеленый лоскут, насажен
на рогатину, цвел, звеня,
и плясал от земли на сажень
золотистый кусок огня.

Вел Иван Тимофеев
страшную банду —
сто кулацких
и сто средняцких дворов,
увозили муку,
самогон
и дуранду,
уводили баранов, коней и коров.
Бедняки — те молчали,
царапая щеки,
тяжело поворачивая глаза,
и глядели, как дуло огнем на востоке,
занимались всю хутора и леса,

как шагали, ломая дорогу, быки
и огромные кони,
покидая село.
Но один оседлал коня
и на Киев
повернул его морду,
взлетая в седло.

Он качался в седле
и достигнул до света
убегающий город,

и в городе том
двухэтажный, партийного комитета,
широкоплечий,
приземистый дом.

Секретарь приподнялся, шумя листами,
и навстречу ему,
седоватый, как лен,
прохрипел:
— Тимофеевы... гады... восстанье...
Поводите коня —
потому запален!..

И слова сквозь дыхание
в мокром клетоте
прибивались
и, сослепу рушась на локти,
подползали дрожа,
тычась носиком мокрым,
к ножкам стульев,
столов,
к подоконникам,
к окнам.

Всё забыть,
и, бескостно сползая книзу,
в темноте, огоньком синеватым горя,
разглядеть —
высоко идет по карнизу
и срывается слово секретаря:
— ...мобилизация коммунистов...
...по исполнении оповестите меня...
...комсомол...
...караулы, пожалуйста, выставь...
...накормите гонца...
...поводите коня...

Он ушел, секретарь.
Только будто на ладан,
тяжко дышит гонец,
позабыв про беду,

ходят песни поротно,
быют о камень прикладом,
свищет ветер,
и водят коня в поводу.

ОПИСАНИЕ БАНДЫ ЗЕЛЕНОГО

Табор тысячу оглобель
поднял к небу
в синий день.
За Зеленым ходит свита,
о камня — гром копыта...
И, нарочно ли,
по злобе ль,
крыши сбиты набекрень.

Все к Зеленому с поклоном —
почесть робкая низка...
Адъютанты за Зеленым
ходят в шелковых носках.
Сам Зеленый пышен, ярок,
выпивает не спеша
до обеда десять чарок,
за обедом два ковша.

На телегу ставят кресло,
жбан ведерный у локтя —
атаманья туша влезла
на сидение, пыхтя.

Он горит зеленой формой,
как хоругвой боевой...
На груди его отличья,
под ногами шкура бычья,
по бокам его отборный
охранение-конвой.

Он на шкуру ставит ногу,
и псаломщик на низу
похвалу ему, как богу,
произносит наизусть.

Атаман глядит сурово,
он к войскам имеет слово:
— Вы, бойцы мои лихие,
необъятны и смелы,
потому что вы — стихия,
словно море и орлы.

На Москву пойдем, паскуду
победим —
приказ таков. . .
Губернаторами всюду
мы посадим мужиков.

От Москвы и до Ростова
водки некуда девать, —
наша армия Христова
будет петь и воевать.

Это не великий пост вам,
не узилище,
не гроб,
и под нашим руководством
не погибнет хлебороб.
Я закончил.

И ревом
он увенчан, как славой.
Жалит глазом суровым
и дергает бровью. . .

На телегу влезает
некто робкий, плюгавый,
приседает, как заяц,
атаману, сословью.

Он одернул зеленый
вице-полупердончик,
показал запыленный
языка легкий кончик,
взвизгнул, к шуму прилаядься:
— Вы — живительный кладезь,

переполненный гневом
священным, от бога. . .
В предстоящей борьбе вам
мы, эсеры, — помога. . .
И от края до края
табор пьяный и пестрый.
Воют кони, пылая
кровью чистой и острой. . .

Анархист покрыт поповой
шляпою широкополой.
Анархисты пьянее
пьяного Ноя. . .

Вышла песня.
За нею
ходят стеною.

— Оплот всяя России,
анархия идет.
Ребята, не надо властей!
И черепа на знамени
облупленный рот
над белым крестом из костей.

Погибла тоска,
Россия в дыму,
гуляет Москва,
Ростов-на-Дону.

Я скоро погибну
в развале ночей.
И рухну, темнея от злости,
и белый, слюнявый
объест меня червь, —
оставит лишь череп да кости.

Я под ноги милой моей попаду
омытою костью нагою, —
она не узнает меня на ходу
и череп отбросит ногою.

Я песни певал,
молодой, холостой,
до жизни особенно жаден...
Теперь же я в землю
гляжу пустотой
глазных, отшлифованных впадин.

Зачем же рубился я,
сталью звеня,
зачем полюбил тебя, банда?
Одна мне утеха,
что после меня
останется череп...
И — амба!

Часть вторая

ГИБЕЛЬ ВТОРОГО КИЕВСКОГО ПОЛКА

ВТОРОЙ КИЕВСКИЙ

Ни пристанища, ни кровя —
пыль стоит до потолка,
и темны пути Второго
Киевского полка.

Комиссар сидит на чалом
жеребце, зимы лютей,
под его крутым началом
больше тысячи людей.

Комиссар сидит свирепо
на подтянутом коне,
бомба круглая, как репа,
повисает на ремне.

А за ним идут поротно
люди, сбитые в кусок,
виснут алые полотна,
бьют копыта о песок.

Люди разные по росту,
по характеру
и просто
люди разные на глаз, —
им тоска сдавила плечи. . .
Хорошо, что скоро вечер,
пыль немного улеглась.

Люди темные, как колья. . .
И одна из этих рот —
всё из вольницы Григорьева
подобранный народ.

Им ли пойманных бандитов
из наганов ночью кокать?
И не лучше ли, как раньше,
сабли выкинув со свистом,
конницей по коммунистам?
Кто поднимется на локоть
ломаным,
но недобитым —
бей в лицо его копытом! . .

Вот она, душа лесная,
неразмыкающее горе,
чаща черная,
туман.
Кто ведет их?
Я не знаю:
комиссар или Григорьев —
пьяный в доску атаман?

Шли они, мобилизованные
губвоенкоматом, —
из окрестностей —
из Киевщины, —
молоды,
темны. . .
Может, где завоюет битвы, —
ихние отцы,
домá там,
новотельные коровы,

кабаны
и табуны?

Пчелы легкие над вишней,
что цветет красою пышной?
Парни в кованных тулупах,
от овчины горький дух,
прижимают девок глупых,
о любви мечтая вслух. . .

А в полку —
без бабы. . . вдовый. . .
Нет любовей, окромя
горя,
устали пудовой,
да колеса рвут, гремя,
злую землю,
да седая
пыль легла на целый свет.
Воронье летит, гадая:
будет ужин
или нет?

Комиссар сидит державой,
темный,
каменный с лица,
шпорой тонкою и ржавой
погоняя жеребца.

А в полку за ним, нарядная,
трехрядная,
легка,
шла гармоника.
За ней
сто четырнадцать парней.

Сто парней, свободы полных,
с песней,
с кровью боевой,
каждый парень, как подсолнух,
гордо блещет головой.

Что им банда,
гайдамаки,
горе черное в пыли?
Вот и девушки, как маки,
беспокойно зацвели.

Комсомольские районы
вышли все почти подряд —
это в маузер патроны,
полный считанный заряд.
Это цвет организации,
одно большое имя,
поднимали в поднебесье
песню легкую одну.
Шли Аронова,
Ратманский
и гармоника за ними
на гражданскую войну.
А война глядит из каждой
темной хаты —
вся в боях. . .
Бьет на выбор,
мучит жаждой
и в колодцы сыплет яд.
Погляди ее, брюхату,
что для пули и ножа
хату каждую на хату
поднимает,
зло
визжа.

И не только на богатых
бедняки идут, строги,
и не только в разных хатах —
и в одной сидят враги.

Прилетела кособока.
Тут была
и тут была,
корневищами глубоко
в землю черную ушла
и орет:

— Назад вались-ка...
А вдогонку свищет: стой!
Шляпою синдикалиста
черепок покрыла свой.
Поздно ночью, по-за гумнам,
чтобы больше петь не мог,
обернет тебя безумным,
расстреляет под шумок.

Всколыхнется туча света
и уйдет совсем ко дну —
ваша песня не допета
про гражданскую войну.

«Ночи темны,
небо хмуро,
ни звезды на нем...
Кони двинули аллюром,
ходит гоголем Петлюра,
жито мнет конем.

Молодая, грозовая,
тонкою трубой
между Харьков — Лозовая
ходит песня, созывая
конников на бой.

Впереди помято жито,
боевой огонь,
сабля свистнула сердито,
на передние копыта
перекован конь.

Впереди степные дали
и ковыль седа...
А коней мы оседлали.
Девки пели: не сюда ли?
Жалко, не сюда...

Больше милую не чаю
вызвать под окно.

Может, ночью по случаю
ю дороге повстречаю
Нестора Махно.

Черной кровью изукрашу,
жеребцом сомну,
за порубанную в кашу,
за поруганную нашу
верную страну.

Будет кровью многогрешной
кончена война,
чтобы пела бы скворешней,
пахла ягодой черешней
наша сторона».

ПЕРВОЕ ИЗВЕСТИЕ

Красное знамя ветром набухло —
ветер тяжелый,
ветер густой. . .
Недалеко от местечка Обухова
он разносит команду: «Стой!»

Синим ветром земля налитая —
из-за ветра,
издалека,
восемь всадников, подлетая,
командира зовут полка.

Восемь всадников, избитых
ветром, падают с коней,
кони качаются на копытах, —
ветер дует еще сильней.

Командир с чахоточным свистом,
воздух глотая мокрым ртом,
шел навстречу кавалеристам,
ординарцы за ним гуртом.

И тишина.
И на целый на мир она.
Кавалеристы застыли в ряд...
Самый высокий рванулся:
— Смирно!
Так что в Обухове кавотряд...
И замолчал.
Тишина чужая,
но, совладав с тоской и бедой,
каменно вытянулся, продолжая:
— ...вырезан бандою.
И молодой
саблей ветер рубя над собою,
падая,
воя:
— Сабли к бою! ..
Конница лавою! ..
— Пленных не брать! .. —
бился в пыли,
вставал на колени,
и клокотало в черной пене
страшное,
бешеное:
— Ать! Ать!

НОЧЬ В ОБУХОВЕ

Хата стоит на реке, на Кубани,
тонкая пыль, тенето на стене,
черными мать пошевелит губами,
сына вспомянет, а сын на войне.

Небо бездонное, синее звездно,
облако — козий платок на луне,
выйдет жена и поплачет бесслезно,
мужа вспомянет, а муж на войне.

Много их бедных, от горя горбатых,
край и туманом и кровью пропах,
их сыновья полегли
на Карпатах,

сгнули без вести,
в Польше пропав.
А на Кубани разбитая хата,
бревна повыпали,
ветер в пазы;
мимо казачка прокрячет, брюхата:
— Горько живут, уж никак не тузы?
Мимо казак, чем хмурей, тем дородней:
— Жил тут чужой нам, иногородний,
был беспокоен, от гордости беден,
ждали, когда попадет на беду,
бога не чтил, не ходил до обеден,
взяли в четырнадцатом году
к чертовой матери.
Верно, убили!
Душная тлеет земля на глазах.
Может быть, скачет в раю на кобыле,
хвастает богу, что я-де казак.
В хате же этой на два окна
только старуха его да жена, —
так проворчит и уходит дородный,
черною спесью надут благородной.

Только ошибся: сперва по Карпатам
иногородний под пули ходил,
после сыпного он стал
хриповатым,
сел на коня
и летел без удил.
Звали его Припадочным Ваней,
был он высок,
перекошен,
зобат,
был он известен злобой кабаньей,
страшную рубкой
и трубкой в зубах.
В мягком седле,
по-татарски свисая
набок, —
и эта посадка косая
и на кубанке — витой позумент...
Выше затылка мерцает подкова:

конь —
за такого коня дорогого
даже бы девушку не взял взамен, —
всё приглянулось Ратманскому.

Тут же и подружились.
Войдя в тишину,
песнею дружбу стянули потуже, —
горькая песня была,
про жену.

Ваня сказал:
— Начиная с германца,
я не певал распрекрасней романса.
Как запою,
так припомню свою. . .
Будто бы в бархате вся и в батисте,
шелковый пояс,
парчовые кисти, —
я перед ней на коленях стою.

Ой, постарела, наверно, солдатка,
легкая девичья сгибла повадка. . .
Я же, конечно, военный, неверный —
чуть потемнело —
к другой на постой. . .
Этак и ты, полагаю, наверно?
Миша смеялся:
— А я холостой. . .

Ночью в Обухове, на сеновале,
Миша рассказывал всё о себе —
как горевали
и как воевали,
как о своей не радели судьбе.

Киев наряжен в пунцовые маки,
в розовых вишнях столица была, —
Киевом с визгом летят гайдамаки,
кони гремят
и свистят шомпола.

В этом разгуле, разбое, размахе
пуля тяжелая из-за угла, —

душною шкурой бараньей папахи
полночь растерзанная легла.

Миша не ищет оружия простого,
жители страхом зажаты в домах,
клейстера банка
и связка листовок. . .

Утром по улицам рвет гайдамак
слово — оружие наше. . .

Но рук вам
ваших не хватит,
отъявленный враг. . .
Бьет гайдамак
шомполами по буквам,
слово опять загоняя в мрак.

Эта война — велика, многоглава:
партия,
Киев
и конная лава,
ночь,
типография,
созыв на бой,
Миши Ратманского школа и слава —
голос тяжелый
и ноги трубой.

Ваня молчал.
А внизу на постое
кони ведро гроыхали пустое,
кони жевали ромашку во сне,
теплый навоз поднимался на воздух,
и облачка на украинских звездах
напоминали о легкой весне.

ПОДСТУПЫ К ТРИПОЛЮ

Бой катился к Триполю
со всей перестрелкой
от Обухова — всё
перебежкой мелкой.

Плутая, —
тупая —
от горки к ложине
банда шла, отступая,
крестясь, матерщина.

Сам Зеленый с телеги
командовал ими:
— Наступайте, родимые,
водкою вымою. . .
А один засмеялся
и плюнул со злобой:
— Наступайте. . .
Поди, попытайся,
попробуй. . .

А один повалился,
руки раскинув,
у пылающих,
дымом дышащих овинов.
Он хрипел:
— Одолела
сила красная, бесья,
отступай в чернолесье,
отступай в чернолесье. . .

И уже начинались пожары в Триполье.
Огневые вставали, пыхтя, петухи, —
старики уползали червями в подполье,
в сено,
часто чихая от едкой трухи.

А погода-красавица,
вся золотая,
лисьей легкою шубой
покрыла поля. . .

Птаха, камнем из потной травы
вылетая,
встала около солнца,
крылом шевеля.

Ей казались клинки
серебристой травой,
колыхаемой ветром,
а пуля — жуком,
трупы в черных жупанах —
землей неживою,
и не стоило ей тосковать ни о ком.

А внизу клокотали безумные кони,
задыхались,
взрывались
и гасли костры. . .
И Ратманский с Припадочным
из-под ладони
на пустое Триполье
глядели с горы.

воронье гнездо — триполье

Сверху видно — собрание
крыш невеселых, —
это черные гнезда,
вороний поселок.

Улетели хозяева
небом белесым,
хрипло каркая в зарево,
пали за лесом.

Там при лагере встали
у них часовые
на чешуйками крытые
лапы кривые.

И стоит с разговором,
с печалью,
со злобой
при оружии ворон —
часовой гололобий.

Он стоит — изваянье —
и думает с болью,

что родное Триполье
расположено в яме.

В яму с гор каменных
бьет волна коммунистов.
И в Триполье с музыкой,
седые от пыли,
с песней многоязыкой
комиссары вступили.

При ремнях, при наганах...
Бесовские клочки...
Мухи черные в рамах
отложили яички.

И со злости, от боли,
от мух ядовитых
запалили Триполье —
и надо давить их.

И у ворона сердце —
горя полная гиря...
Он закаркал, огромные
перья топыря.

Он к вороньим своим
обращается стаям:
— Что на месте стоим, выжидаем?
Вертаем!...
И они повернули к Триполью.

СМЕРТЬ МИШИ РАТМАНСКОГО

Льется банда в прорыв непрерывно.
На правом
фланге красноармейцев
смятение, вой...
Пуля острая в морду
летящим оравам
не удержит.
Приходится лечь головой.

Это черная гибель
приходит расплатой,
и на зло отвечает
огромное зло...
И уже с панихидою
дьякон кудлатый
на телеге Зеленого
скачет в село.

А в селе из щелей,
из гнилого подполья
лезут вилы,
скрипит острое топора.
Вот оно —
озверелое вышло Триполье —
старики, и старухи, и дети:
— Ура!

Наступает и давит семьею единой,
борода из коневьего волоса зла,
так и кажется —
липкою паутиной
всё лицо затуманила и оплела.

А бандиты стоят палачами на плахе,
с топорами —
система убоя проста:
рвут рубахи с плеча,
и спадают рубахи.
— Гибни, кто без нательного
ходит креста!

И Припадочный рвет:
— Кровь по капельке выдой,
мне не страшны погибель
и вострый топор...
И кричит Михайлу:
— Михайло, не выдай...
Миша пулю за пулей
с колена в упор.

Он высок и красив,
отнесен подбородок

со злобою влево,
а волос у лба
весь намок;
и огромный, клопочущий продох,
и опять по бандиту
с колена стрельба.
Но уже надвигается
тысяча хриплых:
— Ничего, попадешься...
— Сурьезный сынок...
Изумрудное солнце, из облака выплыв,
круглой бомбой над Мишею занесено.

Не хватает патронов.
Последние восемь,
восемь душ волосатых и черных губя.
И встает полусонный,
винтовкою оземь:
— Я не сдамся бандиту... —
стреляет в себя.

И Припадочный саблей врубается с маху
в тучу синих жупанов,
густых шаровар —
на усатого зверя похож росомаху,
черной булькая кровью:
— За Мишу, товар...
и упал.

Затрубила погибель трубою,
сабля тонкой звездой
мелькнула вдали,
голова его с поднятою губою
всё катилась пинками
в грязи и в пыли.

Ночью пленных вели по Триполью,
играя
на гармониках «Яблочко».
А впереди
шел плясун,
от веселья и тьмы помирая,

и висели часы у него на груди
как медали.
Гуляло Триполье до света,
всё рвало и метало,
гудело струной. . .
И разгулье тяжелое, мутное это,
водка с бабой,
тогда называлось войной.

Часть третья

ПЯТЬ ШАГОВ ВПЕРЕД

КОММУНИСТЫ ИДУТ ВПЕРЕД

Утро.
Смазано небо
зарей, как жиром. . .
И на улице пленных
равняют ранжиром.

Вдоль по фронту, не сыто
оружьем играя,
ходит батько и свита
от края до края.

Ходит молча, ни слова,
не ругаясь, не спорясь, —
глаза черного, злого
прищурена прорезь.

Атаман опоясан
изумрудною лентой.
Перед ним секретарь
изогнулся паяцем.

Изогнулся и скалит
кариозные зубы, —
из кармана его
выливается шкалик.

Атаман, замечая,
читает рацею:

— Это льется с какою,
спрошу тебя, целью?
Водка — это не чай,
заткни ее пробкой. . .

Секретарь затыкает,
смущенный и робкий.

На ходу поминая
и бога и маму,
молодой Тимофеев
идет к атаману,
полфунтовой подковой
траву приминяя;
шита ниткой шелковой
рубаха льняная.

Сапоги его смазаны
салом и дегтем,
петушиным украшены
выгнутым когтем.

Коготь бьет словно в бубен,
сыплет звон за спиною:
— Долго чикаться будем
с такою шпаную?
И тяжелые руки,
перстнями расшиты,
разорвали молчанье,
и выбросил рот:
— Пять шагов,
коммунисты,
кацапы
и жидаы! . .
Коммунисты,
вперед —
выходите вперед! . .

Ой, немного осталось,
ребята,
до смерти. . .

Пять шагов до могилы,
ребята,
отмерьте!

Вот она перед вами,
с воем гиенным,
с окончанием жизни,
с распадом,
с гниением.

Что за нею?
Не видно...
Ни сердцу, ни глазу...
Так прощайте ж,
весна, и леса, и снег!..

И шагнули сто двадцать...
Товарищи...
Сразу...
Начиная — товарищи —
с левой ноги.

Так выходят на бой.
За плечами — знамена,
сабель чистое, синее
полукольцо.
Так выходят,
кто знает врагов
поименно...
Поименно —
не то чтобы только в лицо.
Так выходят на битву —
не ради трофеев,
сладкой жизни, любви
и густого вина...

И назад отступает
молодой Тимофеев, —
руки налиты страхом,
нога сведена.

У Зеленого в ухе завяли монисты,
штаб попятился вместе,
багров и усат. . .
Пять шагов, коммунисты.
Вперед, коммунисты. . .
И назад отступают бандиты. . .
Назад.

ИЗМЕНА

И последнее солнце
стоит над базаром,
и выходят вперед
командир с комиссаром.

Щеки, крытые прахом,
лиловые
в страхе,
ноги, гнутые страхом,
худые папахи.

Бело тело скукожено,
с разумом — худо,
в галифе поналожено
сраму с полпуда.

Русый волос ладонью
пригладивши гладкой,
командир поперхнулся
и молвил с оглядкой:
— Подведите к начальнику,
добрые люди,
я скажу, где зарыты
замки от орудий. . .

И стояла над ними
с душой захоловувшей
Революция,
матерью нашей скорбя,
что таких прокормила

с любовью
гаденышей,
отрывая последний кусок от себя.

И ее утешая —
родную, больную, —
Шейнин злобой в один задыхается дых:
— Трусы,
сволочь,
такого позора миную,
честной смерти учитесь
у нас, молодых.

Даже банде — и той
стало весело дядям,
целой тысяче хриплых
горластых дворов:
— Что же?
Этих вояк
в сарафаны нарядим,
будут с бабой доить
новотельных коров. . .

— Так что нюхает нос-от,
а воздух несвежий:
комиссаров проносит
болезнью медвежьей. . .
— Разве это начальники?
Гадово семя. . .

И прекрасное солнце
цвело надо всеми.
Над морями.
Над пахотой,
и надо рвами,
над лесами
сказанья шумели ветра,
что бесславленным — ползти
дальше срока червями,
а бессмертным —
осталось прожить до утра.

допрос

В перекошенной хатке
на столе беспорядки.
Пиво пенное в кадке,
огуречные грядки
и пузатой редиски
хвосты и огрызки.

Выпьют водки.
На закуску —
бок ощипанный рыбий...
Снова потчуют:
— Накось,
без дыхания выпей!

Так сидят под иконой
штаб
и батько Зеленый.

Пьет штабная квартира,
вся косая, хромая...
Входят два конвоира,
папахи ломая.

— Так что, батька, зацапав
штук десяток за космы,
привели на допрос мы
поганных кацапов...
Атаман поднимается:
— Очень приятно!

По лицу его ползают мокрые пятна.
Поднимается дьякон
ободранным лешим:
— Потолкуем
и душеньку нашу потешим...

Комсомольцы идут
стопудовой стеною,
руки схвачены проволокой
за спиною.

— Говорите, гадюки,
последнее слово,
всё как есть
говорить представляем самим...
Здесь и поп и приход,
и могила готова;
похороним,
поплачем
и справим помин...

Но молчат комсомольцы,
локоть об локоть стоя
и тяжелые черные губы жуя...
Тишина.
Только злое дыханье густое
и шуршащая
рваных рубах чешуя.

И о чем они думают?
Нет, не о мокрой
безымянной могиле,
что с разных сторон
вся укрыта
осеннюю лиственной охрой
и окаркана горькою скорбью ворон.

Восемнадцатилетние парни —
могли ли
биться, падая наземь,
меняясь в лице?
Коммунисты не думают о могиле
как о всё завершающем
страшном конце.

Может, их понесут
с фонарем и лопатой,
закидают землю,
подошвой примнут, —
славно дело закончено
в десять минут,

но не с ними,
а только с могилой горбатой.

Коммунисты живут,
чтобы с боем,
с баяном
чернолесьем,
болотами,
балкой,
бурьяном
уводить революцию дальше свою
на тачанках,
на седлах, обшитых сафьяном,
погибая во имя победы в бою.

— Онемели?
Но только молчанье — не выход...
Ну, которые слева —
еврейские...
вы хоть...
Вы — идейные!
Вас не равняем со всеми;
Украину сосали,
поганое семя.
Всё равно вас потопим
с клеймом на сусалах:
«Это хриstopродавец» —
так будет занятней...
Агитируйте там
водяных и русалок —
проходящее, ваше, собаки, занятие.

И выходит один —
ни молений, ни крика...
Только парню такому
могила тесна;
говорит он,
и страшно, когда не укрыта
оголенная
черной губою
десна.

— Не развяжете рук
перебитых,
опухших,
не скажу, как подмога
несется в дыму. . .
Сколько войска и сабель,
тачанок и пушек. . .
И Зеленый хрипит:
— Развяжите ему!

Парень встал, не теряя
прекрасного шика,
рукавом утирая
изломанный рот. . .
Перед ним — Украина
цветами расшита,
золоченые дыни,
тяжелое жито;
он прощается с нею,
выходит вперед.

— Перед смертью
ответ окончательный вот наш:
получи. . .
И, огромною кошкой присев,
бьет Зеленого диким ударом наотмашь
и бросается к горлу
и душит при всех.
Закорузлые пальцы
всё туже и туже. . .
Но уже на него
адъютантов гора, —
арестованных в угол загнали
и тут же
в кучу пулю за пулей
часа полтора.

КОНЕЦ ТРИПОЛЯ

У деревни Халупы
обрывист, возвышен,
камнем ломаным выложен
берег до дна.
Небо крашено соком
растоптанных вишен,
может, час, или два,
или три до темна.

Машет облака сивая
старая грива
над водой,
над горой,
над прибрежным песком,
и ведут комсомольцев
к Днепру до обрыва,
и идут комсомольцы
к обрыву гуськом.
Подошли, умирая —
слюнявой дырой
дышит черная, злая
вода под горой.
Как не хочется смерть
принимать от бандита...

Вяжут по двое проволокой ребят.

Раз последний взглянуть и услышать:
сердито
мускулистые
длинные сучья скрипят.
Эти руки достанут еще атамана,
занося кулаков отлитые пуды,
чтобы бросить туда же,
в дыханье тумана,
во гниющую жирную пропасть воды.
Это вся Украина
в печали великой
приподнимется, встанет

и дубом и липой,
чтобы мстить
за свою молодежь,
за породу
золотую, свою,
что погибли смелы,
у деревни Халупы,
покиданы в воду
с этой страшной,
тяжелой
и дикой скалы.

Тяжело умирать,
а особенно смолоду,
додышать бы,
дожить бы
минуту одну,
но вдогонку летят
пули, шмякая о воду,
добивая,
навек пуская ко дну.
И глотает вода комсомольцев.
И Киев
сиротеет.
В садах постареет седых.
И какие нам песни придумать...
Какие
о гибели наших
друзей молодых?

Чтобы каждому парню,
до боли знакома,
про победу бы пела,
про смерть,
про бои —
от райкома бы легкая шла
до райкома,
и райкомы снимали бы
шапки свои.
Чтобы видели всё —
как разгулья лесного,

чернолесья тяжелого свищет беда,
как расстрелянный Дымерец тонет
и снова,
задыхаясь, Фастовского
сносит вода.
Он спасется.
Но сколько лежит по могилам
молодых!
Не сочтешь, не узнаешь вовек.
И скольких затаило
расплавленным илом
наших старых, неверных
с притоками рек.

А над ними — туман
и гулянье сомовье,
плачут липы горячею
чистой росой,
и на месте Триполья
село Комсомолье
молодою и новой
бушует красой.
И опять Украина
цветами расшита,
молодое лелеет
любимое жито.
Парень — ласковый друг —
обнимает товарку,
золотую антоновку
с песней трясут.
И колхозы к свиному
густому приварку
караваи пшеничного хлеба несут.

Но гуляют, покрытые волчьей шкурой,
за республику нашу
бои впереди.
Молодой Тимофеев
обернется Петлюрой,
атаманом Зеленым,
того и гляди.

Он опять зашумел,
загулял,
заелозил —
атаман. . .
Украина,
уйди от беды. . .
И тогда комсомольцы,
винтовки из козел
вынимая,
тяжелые сдвоят ряды.

Мы еще не забыли
пороха запах,
мы еще разбираемся
в наших врагах,
чтобы снова Триполье
не встало на лапах,
на звериных,
лохматых,
медвежьих ногах.

КОНЕЦ АТАМАНА ЗЕЛЕНОГО

Вот и кончена песня,
нет дороги обману —
на Украине тесно,
и конец атаману.

И от Киева сила,
и от Харькова сила —
погуляли красиво,
атаману — могила.

По лесам да в тумане
ходит, прячется банда,
ходят при атамане
два его адъютанта.

У Максима Подковы
руки, ноги толковы,
сабля звякает бойко,

газыри костяные,
сапоги из опойка,
галифе шерстяные,
на черкеске багровой
серебро — украшеньё. . .
Молодой,
чернобровый;
для девиц — утешеньё.
У Максима Удада,
видно, та же порода.
Водки злой на изюме
(чтобы сладко и пьяно)
в общей выпито сумме,
может, пол-океана.
Ходит черною тучей
в коже мягкой, скрипучей.
Улыбнется щербатый
улыбкой кривою,
покачает чубатой
смоляной головою. . .

По нагану в кармане,
шелк зеленого банта —
ходят при атамане
два его адъютанта.

Атаман пьет неделю,
плачет голосом сучьим —
на спасенье надею
носит в сердце скрипучем.

Но от Харькова — сила,
Травиенко с отрядом,
что совсем некрасиво,
полагаю, что рядом
говорят хлебробы:
— Будя, отвоевали. . .
Нет на гадов хворобы,
да и будет едва ли.
Атаман пьет вторую,
говорит: «Я горюю»,
черной щелкает плетью.

Неприятность какая, —
переходит на третью,
адъютантов скликаая.

— Вот, Удод и Подкова,
не найду я покоя.
Что придумать такого,
что бы было такое.

Вместе водку глушили,
воевали раз двести,
вместе, голуби, жили,
умирать надо вместе.

Холод смерти почуя,
заявляет Подкова:
— Атаман...
не хочу я
умирать бестолково.

Трое нас настоящих
кровь прольют, а не воду...
Схватим денежный ящик
на тачанку —
и ходу.

Если золота много,
у коней быстры ноги, —
нам открыта дорога,
все четыре дороги...

Слышен голос второго,
молодого Максима:
— Всё равно нам хреново:
пуля,
петля,
осина...
Я за то, что Подкова,
лучше нету такого.

Тройка, вся вороняя,
гонит, пену роняя.

Пристяжные — как крылья,
кровью грудь налитая,
свищет ярость кобыля,
из ноздрей вылетая.

Коренник запыленный.
Рвется тройка хрипящих, —
убегает Зеленый,
держит денежный ящик.

Где-то ходит в тумане
безголовая банда...
Только при атамане
два его адъютанта.

Тихо шепчет Подкова
Максиму Удоду:
— Что же в этом такого?
Кокнем тихо — и ходу.
Мы проделаем чисто
операцию эту —
на две равные части
мы поделим монету.
А в Париже закутим,
дом из мрамора купим,
дым идет из кармана,
порешим атамана.

И догнала смешная
смерть атамана —
на затылке сплошная
алая рана.
Рухнул, землю царапая,
темной дергая бровью.
Куртка синяя, драповая
грязной крашена кровью.

Умер смертью поганую —
вот погибель плохая!
Пляшут мухи над раной,

веселясь
и порхая.

На губах его черных
сохнет белая пенка.
И рабочих из Киева
в бой повел Травиенко.

Вот и кончена песня, —
нет дороги обману, —
и тепло,
и не тесно,
и конец атаману.

1933—1934

147. МОЯ АФРИКА

Под небом Африки моей
Вздыхать о сумрачной России.

Александр Пушкин

Зима пришла большая, завывая,
за ней морозы — тысяча друзей,
и для нее дорожка пуховая
по улице постелена по всей,
не мятая,
помытая,
глухая —
она легла на улицы, дома...
Попахивая холодом,
10 порхая,
по ней гуляет в серебре зима.
Война.
Из петроградских переулков
рванулся дым, прозрачен и жесток,
через мосты,
на Зимний
и на Пулков,
на Украину,
к югу,
20 на Восток.
Все боевые батальоны класса
во всей своей законченной красе
с Гвоздильного,
Балтийского,
Айваза,

с Путиловского,
Трубочного...
Все...
Они пошли...
30 Кому судьба какая?
Вот этот парень упадет во тьму,
и воронье, хрипя и спотыкаясь,
подпрыгивая, двинется к нему.
А тот, от Парвиейнена, высокий,
умоется водицею донской,
обрежется прибрежною осокой
и захлебнется собственной тоской.
Кто принесет назад пережитое?
Шинели офицерского сукна,
40 почетное оружие золотое,
серебряные к сердцу ордена
и славу как военную награду,
что с орденами наравне в чести?..
Кому из них опять по Петрограду
знамена доведется понести?

И Петроград.

На вид пустой, хоть выжги,
ни беготней, ничем не занятой,
закрылся на замки и на задвижки,
60 укрылся с головою темнотой, —
темны дома,
и в темноте круглы
гранитные, тяжелые углы.
Как будто бы уснувший безобидно,
забытый всеми, вымерший до дна, —
и даже с Исаакия не видно
хоть лампой освещенного окна,
хоть б коптилкую,
хоть свечкой сальной,
60 хоть звездочкой рождественской сусальной.
Зима.
Война.
Метельная погода.
Всё кануло в метелицу, во тьму...
Зимю восемнадцатого года
семнадцать лет герою моему.

Семнадцати —
еще совсем зеленым,
еще такого молоком корми —
70 он в документах значился
Семеном
Добычиним,
из города Перми,
учащийся. . .
Учащиеся. . .
Что ж в них!
И дабы не «учащимся» начать
«Учащийся» — зачеркнуто,
«Художник» — начертано. . .
80 Поставлена печать.
А на печати явственное — РОСТА¹.
Всё по закону.
Правильно и просто.

Предание времен не столь старинных
дошло до нас преградам вопреки,
что клеили под утро на витринах
плакаты красочные от руки.
Вернее, то была карикатура —
кармин и тушь,
90 и острое перо,
и подпись сочиненная, что
Шкура
фамилию меняет
на *Шкуро*.
Или такая:
Гадину Краснова
Сегодня били деятельно снова.
Красноармеец шел, скрипя подсумком,
или в атаку конница пошла, —
100 под каждым обязательно рисунком
и подпись надлежащая была.
Всё это вместе называлось — РОСТА.
Всезнающая,
насмешлива,
страшна. . .

¹ РОСТА — Российское телеграфное агентство.

Казалось, это женщина,
и роста,
пожалуй, поднебесного она.
Ей видно всё — на юге, на востоке,
110 ей понимать незнамо кем дано,
где у войны притоки и истоки,
где потушили,
где подождено.
Она глядела золотым и бычьим
блестящим глазом через все века,
и для нее писал Семен Добычин
Краснова,
Врангеля
и Колчака,
120 красноармейца,
спекулянта злого,
того, другого, пятого, любого. . .

Он голодал.
Натянута на ребра,
трещала кожа.
Мучило, трясло.
И всё она — сухая рыба — вобла,
всё вобла — каждодневно, как назло.
Вот обещали — выдадут конины. . .
130 Не может быть. . .
Когда? . .
Конины? . .
Где? . .
И растопить бы в комнате каминь,
разрезать мясо на сковороде. . .
Оно трещало бы в жиру,
и мякоть,
поджаренная впору с чесноком,
бы подана была. . .
140 Хотелось плакать
и песни петь на пиршестве таком.

Ему уха приснилась из налима,
ватрушки, розоваты и мягки,
несут баранину неумолимо

ему на стол родные пермяки,
на сладкое чего-то там из вишен,
посудину густого молока
и самовар.

Но самовар излишен —
150 ну, можно меду —
капельку...
слегка...

Теперь заснуть — часов примерно на семь,
как незаметно время пробежит, —
он падает под липу ли,
под ясень,
и сон во сне уютен и свежит.

Но всё плывет —
деревья, песня... мимо, —
160 не надо спать,
совсем не надо спать...

Вот кисточки
и блюдечко кармина —
опять работа,
оторопь опять...
Кармин ли?..
Не варенье ли?..
Добычин
попробовал...
170 Поганое — невмочь...

По-прежнему помчался день обычен —
а впрочем — день ли?
Может, вечер?
Ночь?

У нас темнеет в Ленинграде рано,
густая ночь — владычица зимой,
оконная надоедает рама,
с пяти часов подернутая тьмой.
Хозяйки ждут своих мужей усталых, —
180 они домой приходят до шести...

И дворники сидят на пьедесталах
полярными медведями в шерсти.

Уже нахохлился пушистый чижик,
под ним тюльпаны мощные цветут,
и с улицы отъявленных мальчишек
домой мамыши за уши ведут.

А ночь идет.

Она вползает в стены,
она берет во тьму за домом дом,
190 она владычествует. . .

Скоро все мы
за чижиком нахохлимся, уснем.
На дворнике поблескивает бляха,
он захрапел в предутреннем дыму,
и только где-то пьяница-гуляка
не спит — поет, что весело ему.

Добычин встал.

И тонкие омыл он
под краном руки.

200 Поглядел в окно.

А ходики, тиктикая уныло,
показывали за полночь давно.

Знобило что-то.

Ударяло в холод,

и в изморозь,

и в голод,

и в тоску.

И тонкий череп, будто бы надколот,
разваливался,

210 падал по куску.

Потом пошел

тяжелым снегом талым, —
кидало в сторону, валило с ног,
на лестнице Добычина шатало,
но он свое бессилье превозмог.

Он шел домой.

Да нет — куда же шел он?

Дома шагали рядом у плеча,

и снег живой под валенком тяжелым
220 похрустывал, как вошь,
как саранча.
Метелица гуляла, потаскуха,
по Невскому.
Морозить началó.
И ни огня.
Ни говора.
Ни стука.
Нигде.
Ни человека.
230 Ничего.

С немалыми причудами поземка:
то завивает змейку и венók,
то сделает веселого бесенка —
бесенок прыг. . .
Рассыпался у ног.
То дразнится невиданною рожей
и осыпает острою порошей,
беснуется, на выдумки хитра,
повоевать до ясной, до хорошей,
240 до радостной погоды,
до утра.
По всей по глади Невского проспекта
(Добычин увидал через пургу)
хлыстов радеет яростная секта,
и он в ее бушующем кругу.
Она с распущенными волосами,
она одна жива под небесами —
метет платками, вышитыми алым,
подскочит вверх
250 и стелется опять
и под одним стоцветным одеялом
его с собой укладывает спать.
И боги темные с икон старинных,
кровавым намалеваны,
грубы, —
туда же вниз.
На снеговых перинах
вповалку с ними божии рабы.
Скорей домой —

260 но улица туманна,
морозами набитая битком...
Скорей домой,
где теплота дивана
и чайника и воблы с кипятком...

Скорей домой —
но перед ним со стоном,
с ужимкою приплясывает снег...
Скорей домой —
и вдруг перед Семеном
270 огромный возникает человек.
Он шел вперед, тяжелый над снегами,
поскрипывая, грохоча, звеня
шевровыми своими сапогами,
начищенными сажей до огня.
Он подвигался, фыркая могуче,
шагал по бесенятам и венкам,
и галифе, лиловые как тучи,
не отставая, плыли по бокам.
Шло от него железное сиянье,
280 туманности, мечта, ацетилен...
И руки у него по-обезьяньи
висели, доставая до колен.
Он отряхался —
всё на нем звенело,
он оступался, по снегу скользя,
и сквозь пургу ладонь его синела,
но так синеть от холода нельзя.
Не человек, не призрак и не леший,
кавалерийской стянутый бекешей.
290 Ремнями светлыми перевитая,
производя сверканье и гром,
была его бекеша золотая
отделана мерлушки серебром.
За ним, на пол-аршина отставая,
не в лад гремела шашка боевая
нарядной, золоченою ножной,
и на ремнях, от черноты горящих,
висел недвижно маузера ящик;
как будто безобидный и смешной.
300 Он мог убить врага

или на милость
махнуть рукой:
иди, мол, уходи...
Он шел с войны,
война за ним дымилась
и клокотала бурей впереди.
Она ему навеки повелела,
чтобы в ладонь,
прозрачна и чиста,
810 на злой папахе, сломанной налево,
алела пятипалая звезда.

Он надвигался прямо на Семена,
который в стены спрятаться не мог,
вместилище оружия и звона,
земли здоровье, сбитое в комок.
Казалось, это бредовое —
словом,
метель вокруг ходила колесом,
а он откуда выходец?
820 С лиловым,
огромным, оплывающим лицом...
Глаза глядели яростно и косо,
в ночи огнями белыми горя,
широкого, приплюснутого носа
пошевелилась черная ноздря.

И дернулась, до десен обнажая
все зубы белочистые, губа
отпеченная,
жирная,
830 большая,
мурашками покрыта и груба.
Он шел вперед,
на памятник похожий,
на севере,
в метели,
чернокожий...

Как тучу пронесло перед Семеном
и охватило жаром и зимой,
и оглушило грохотом и звоном,

340 и ослепило золотом и тьмой. . .
Метель шумела:
— Мы тебя уложим
постель у нас мягка и хороша. . .
А он глядел вослед за чернокожим,
в пургу,
не понимая, не дыша. . .
Хотел за ним —
а ноги как чужие. . .
Душило. . .

350 Надавило на плечо
и стыло,
стыло,
стыло в каждой жиле,
потом и хорошо и горячо. . .

Текут моря —
и вот он, берег дальний,
где отдохнуть от горести не грех —
мы ляжем под кокосовую пальмой,
я принесу кокосовый орех. . .

360 Усни, усни. . .
Неправда, не пора ли
забыть. . . Уснуть. . .
Всё хорошо вдали. . .
Виденья перепутались и ввали,
и понесло.
Добычина спасли —
его полуживого подобрали
и сразу же в больницу увезли.

370 Тяжелый год — по-боевому грозный, —
он угрожал нам тучею-копной,
он подбирался, дикий и тифозный,
и зажигал, багровый и сыпной.
Курносая была, пожалуй, рада,
насытилась на несколько веков, —
от Киева почти до Петрограда
поленицы лежали мертвяков.
Был человек — уснул,
глядишь — не дышит. . .
И ни за что — костей охапка, хлам. . .

380 Температура за сорок
и выше,
и разрывало сердце пополам.

Завалены больницы до отказа,
страна больная — подчистую, сплошь, —
по ней ползет кровавая зараза,
тифозная, распаренная вошь.
На битву с нею —
люди на дозорах,
земля лежит могилою — дырой —
390 замучена.
Температура сорок.
И за сорок.
И пахнет камфарой.

Добычина четвертая палата
совсем забита —
коек пятьдесят.
Тесемочки кофейного халата
не шелохнутся —
мертвые висят.
400 Запахло сукровицей.
Воздух спертый.
И, накаляя простынь добела,
опять огонь гуляет по четвертой
(четвертая предсмертная была).
Такой жары,
такого горя — вдоволь...
За что меня?
Ужели не простят?
Несет, качает в темноте бредовой,
410 и огненные обручи свистят —
про горький дым,
слепящий нас навеки,
про черную, могильную беду,
про то, что мало жизни в человеке...
И чудится Добычину в бреду:
текут пески куда-то золотые,
кипящие,
огнями залитые,
ни темноты,

420 ни ветра,
ни воды,
ни свежести, хоть еле уловимой,
и только в небо красное лавиной
ползет песок, смывая все следы.
Застынь, песок. . .
Остановись. . .
Не мучай
жарой, переходящею в туман. . .
Вот по песку,
430 по Африке дремучей,
цепочкой растянулся караван.
Курчавы негры,
кожа вся лилова.
На неграх стопудовые тюки —
они идут, не говоря ни слова,
темны,
широкоплечи,
высоки.
Их сотни три,
440 а может, меньше — двести. . .
Неважно сколько. . .
Главное — все вместе
носильщики,
как лошади они. . .
Куда идут?
На негров непохожи,
обуты в сапоги шевровой кожи,
одетые в бекешы и ремни.
Жарки кавалерийские рубахи,
450 клоочет сердца пламенный кусок,
тесны ремни,
и тяжелы папахи,
и шпоры задевают за песок.
Песок мерцает, шпорами изрытый,
и негры тонут в море золотом. . .
Широкополой шляпою покрытый,
погонщик белый гонит их кнутом.
Всё завертелось в дикой карусели,
а негры вырастают из песка, —
460 на них тюки, как облака, осели,
на них папахи, словно облака,

ремни скрипучи,
сапоги скрипучи,
по-львиному оскалены клыки,
и галифе лиловые, как тучи,
и лица голубые велики,
и падая
и снова вырастая,
хрипят, а дышат пылью золотой —
470 их всех несет жары струя густая
по Африке, огнями залитой.
Песок течет, дымясь и высыхая,
тюками душит,
солнце пепелит,
и закружилась Африка глухая,
ни жить, ни петь,
ни плакать не велит.
За что такая страшная расплата?
Добычин бредит неграми, жарой...
480 Открыл глаза —
четвертая палата,
сиделка дремлет,
пахнет камфарой.
На столике стакан воды отварной...
Немного воздуха,
глоток питья —
и снова бестолочь
и дым угарный
и, может, полминуты забытья.
490 И снова в мире грохота и воя
живет каким-то ужасом одним —
опять одно и то же бредовое,
огромное,
и гонятся за ним.
Он падает, Добычин,
уползая
в кустарники колючие...
Рывком
за ним летит пятнистая борзая
500 и по земле волочит языком
и нюхает.
Брыластая,
сухая,

с тяжелым клокотанием дыша,
глазами то горя,
то потухая,
найдет его звериная душа.
Нашла его.
Захотела хрипло,
610 залаяла собачья голова...
Язык висит,
а на язык прилипла
какая-то поганая трава.
Глядит в глаза.
Несет невыносимой,
зловонной,
тошнотворной беленой, —
вонючее, как трупное, —
и псиной.
520 Нельзя дышать.
И брызгает слюной.
Ужели жизни близко увяданье?
Погибель непонятна и глупа,
и на собачье злобное рыданье
бежит осатанелая толпа.
Уже алеет небо голубое,
всё жарче солнечное колесо,
и вяжут белокурые ковбои
Добычина волосяным лассо.
530 Его волочат по корням еловым
и бьют прикладами наперебой,
он — не Добычин,
он — с лицом лиловым,
с отпаченной и жирною губой.
Он африканец, раб и чернокожий,
он — бедный трус,
а белые смелы...
Он кожей на белых непохожий,
и только зубы у него белы.
540 И волосы тяжелые курчавы,
на кулаки его пошел свинец,
под небом Африки его начало,
и здесь, в Америке, его конец.
Покрыто тело
страха острым зудом,

прощай, земля...
Его зовут: идем!
Ведут судить
и судят самосудом —
560 и судят Линча старого судом.
За то, что черен —
по причине этой...
И он идет —
в глазах его круги, —
в бекешу золотистую одетый,
в шевровые обутый сапоги.
Нога болит —
портянкой, видно, стерта,
немного жмут нагрудные ремни,
560 застегнута на горле гимнастерка, —
ему велят:
— Скорее расстегни...
Петля готова.
Сук дубовый тоже,
наверно, тело выдержит —
хорош.
И вешают.
И по лиловой коже
еще бежит веселой зыбью дрожь.
570 В последний раз
сквозь листья вырезные,
дубовые,
сквозь облака сквозные
в небесную глядит голубизну,
где нет людей
ни черных
и ни белых,
где ничего не знают о пределах,
где солнце опускается ко сну.
580 Но петля душит...
Воздуха и света!
Оставьте жить!..
И нет земли у ног,
и каплют слезы маленькие с веток,
кругом темно,
и хрустнул позвонок...
За что такая страшная расплата?

Добычин бредит неграми, жарой...
Открыл глаза —
590 четвертая палата,
сиделка дремлет,
пахнет камфарой.
Недели две Добычина носила,
кружила бесноватая, звеня,
сыпного тифа
пламенная сила
по берегам безумья и огня.
Недели две боролась молодая
Добычина старательная плоть
600 с погибелью,
тоскуя, увядая,
и все-таки хотела побороть.
Недели две — две вечности летели,
огромные,
пылающие,
две...
Всё Африка,
всё негры,
всё метели
610 в больной его кружились голове.
И этот бред
единый образ выжег
соединил, как цельное, в одно
всё, что Добычин
вычитал из книжек,
из «Дяди Тома хижины» давно.
И только негры.
Будто для парада,
прошли перед Добычиным они,
620 обутые в шевровые —
что надо...
Одетые в бекешы и ремни.
В кавалерийских, шерстяных рубахах —
всё было настоящее добро:
оружие
и звезды на папахах,
кавказское на саблях серебро.
И, всем понятиям противореча,
прошли они тяжелою стеной,

630 по-видимому, та ночная встреча
была тому единственной виной
(когда в тифу,
в дыму,
в буране резком
он шел домой
и чувствовал: горю...
И встретил негра
(верить ли?)
на Невском,
640 одетого, как выше говорю).
Знать, потому
и не было покоя
Добычину и за полночь
и в ночь,
хотя, по правде,
зрелище такое,
пожалуй, и здоровому невмочь.
На самом деле —
ночью,
650 в Петрограде,
в метелицу
(запомнится навек)
в бряцающем
воинственном наряде
громадный
чернокожий человек.
(У нас в России —
волки,
снег
660 и Волга,
дожди растят мохнатую траву,
леса...)
Добычин
сомневался долго;
что он такое видел наяву.
До самой выписки из лазарета
станковая,
цветиста,
тяжела,
670 молниеносная картина эта
в его воображении жила.

Чем ближе дело шло к выздоровлению,
надоедали доктора, кровать,
по твердому душевному велению,
он знал, что — буду это рисовать,
что скоро... скоро...

Через две недели
я нарисую эту
хоть одну

680 про негра, уходящего в метели,
в Россию сумрачную,
на войну.

Он вышел из больницы.

Стало таять.

Есть теплота в небесной синеве.

Уже весна,

как раньше, золотая

и полыньи всё шире на Неве.

Всё зимнее и злое забывая,

690 весна, весна —

как весело с тобой!

И хлопает,

и брызжет мостовая,

и всё же хорошо на мостовой.

Опять гадаю о поездке дальней

до берегов озер или морей,

о девушке моей сентиментальной,

о самой лучшей участи моей.

Веду свою весеннюю беседу

700 и забываю, льдинками звеня,

что из-за лени к морю не поеду,

что разлюбила девушка меня.

Окраина,

Московская застава —

бревенчатые низкие дома,

тиха, и молчалива, и устала,

а почему — не ведаешь сама.

Березы машут хилыми руками.

Ты счастья не видала отродясь,

710 кисейной занавеской и замками,

стеной ото всего отгородясь.

Вся в горестных и сумеречных пятнах,

тебе бы только спрятаться скорей
от непослушных,
злых
и непонятных,
веселых сыновей и дочерей.
Без боли,
без раздумий,
720 без сомненья,
не плача,
не жалея,
не любя,
без позволения,
и благословенья
они навек уходят от тебя.
У них любовь и ненависть другая,
а ты скорби
и скорби не таи,
780 и, лампой керосиновой моргая,
заплачут окна серые твои.
Здесь каждый дом к несчастьям привычен,
знать, потому печален и суров,
и неприветлив...

И когда Добычин
пришел сюда в один из вечеров —
на лестнице всё так же
сохнет веник,
видна забота,
740 маленький покой,
опять скрипят четырнадцать ступенек,
качаются перила под рукой.
Он постучал.
— Елена дома?
— Дома.
Крюки и цепи лязгнули спеша.
— Елена, здравствуй!
— В кои веки... Сема...
Где пропадал, пропащая душа?
750 Пел самовар хвалебную покою,
что тот покой — начало всех начал,
и кот ходил мохнатою дугою
и коготками по полу стучал.

Мурлыкая, он лазил на колени,
свивался в серебристое кольцо...
Опять Елена...

(Впрочем, о Елене.
Она в рассказе новое лицо.)
Шестнадцать лет.

760 Но плечи налитые,
тяжелые.
Глаза — как небеса,
а волосы до звона золотые,
огромные —
до пояса коса.
Нездешняя, какая-то лесная,
оборки распушились по плечам,
и непонятная.
Почем я знаю,
770 какие сны ей снятся по ночам,
какие песни вечером тревожат,
о чем вчера скучала у окна.
Да и сама она сказать не может,
какая настоящая она.

Вы все такие —
в кофточках из ситца,
любимые, —
другими вам не быть, —
вам надо десять раз перебеситься,
780 и переплакать,
и перелюбить.
И позабыть.
И снова, вспоминая,
подумаешь,
осмотришься кругом —
и всё не так,
и ты теперь иная,
поешь другое,
плачешь о другом.
790 Всё по-другому в этом синем мире,
на сенокосе,
в городе,
в лесу...

А я запомню года на четыре
волос твоих пушистую лису.
Запомню всё, что не было и было.
Румяна ли? Румяна и бела.
Любила ли? Пожалуй, не любила,
и все-таки любимая была.

800 Шестнадцать лет.
Из Петрограда родом.
Смешные стоптаные каблуки.
Служила в исполкоме счетоводом
и выдавала служащим пайки.
Стрельба машинки.
Льется кровь — чернила —
зеленая,
жирна и холодна. . .
Своих родных она похоронила,
810 жила, скучала, плакала одна.
Но молодости ясные законы
(она всегда потребует свое), —
и вот они с Добычиным знакомы,
он провожает до дому ее,
он говорит:
— Я нарисую воздух,
грозу,
в зеленых молниях орла —
и над грозою,
820 над орлом,
на звездах
чтобы моя любимая была.
Я нарисую так, чтоб слышно было —
десятый вал прогрохотал у скал,
чтобы меня любимая любила,
чтобы знамена ветер полоскал.
Орел разрушит молний паутину,
и волны хлещут понизу, грубы. . .
И скажут люди, посмотрев картину,
830 что то изображение борьбы,
что образ мой велик и символичен:
то наша Революция, звеня,
летит вперед. . .
И назовут меня:

художник Революции Добычин.
Мечтание, как песня до рассвета,
нисколько не противное уму,
огромное и сладкое. . .

А это

840 и дорого и радостно ему.
Мила любви темная дорога,
тиха,
неутомительна,
длинна.
И много ль надо девушке?
Немного —
которая к тому же влюблена.
Всё золотое.
Вечер непорочен
850 и, кажется, уже неповторим. . .

(Любви в рассказе воздано.
Но, впрочем,
мы о любви еще поговорим.)

Тяжелый год — по-боевому грозный, —
земля в крови, посыпана золой, —
повсюду фронт:
в Архангельске — морозный,
на Украине — пламенный и злой.
Башлык, черкеска, галифе — наряды. . .
860 Война, война. . .
И песни далеки. . .
Идут на бой дроздовские отряды
и Каппеля отборные полки.
И побежали к морю, завывая
дурным, истощным голосом, леса. . .
Греми, лети, тачанка боевая,
во все свои четыре колеса.
Гуляй вовсю по родине красивой,
носи расшитый золотом погон,
870 в Орле воруй,
в Бердичеве насилуй,
зеленым трупом пахнет самогон.
Ты, родина, в огне великом крепла.
Идут дроздовцы, воя и пыля,

и где прошли — седая туча пепла,
где ночевали — мертвая земля,
заглохшее, кладбищенское место,
осина обгорела,
тишина. . .

880 И нет невесты — где была невеста,
и нет жены — где плакала жена.
Так нет же,
не в покорности спасенье
(запомни это правило земли),
мы покидали и любовь и семьи
во имя славы, радости, семьи!
Седлали чистокровных полукровок —
седые степи, белая трава,
на бархатных полотнищах багровых
890 мы написали страшные слова.
Такое позабудется едва ли, —
посередине зарева и тьмы
мы за любовь за нашу воевали,
и ненависть приветствовали мы.
Ни сожаленье,
ни тоска
ни разу,
что, может быть,
судьба — кусок свинца. . .

900 (Но мы вернемся все-таки к рассказу,
которому недолго до конца.)

Мурлычет кот — кусок седого пуха.
Молчит Елена.
Самовар горит.
И о разлуке тягостно и глухо
вполголоса Добычин говорит:
— Я не могу. . .
Она неотвратима. . .
Пойми меня,
910 уж несколько недель,
как я рисую —
эта же картина
про негра, уходящего в метель,
и всё не то. . .

Он шел тогда, сверкая,
покачиваясь,
фыркая,
звения,
и шашка и бекеша не такая,
820 какая на картине у меня.
И всё не так,
всё пакостно,
всё худо...
Ужели это мне не по плечу?
Хоть раз его увидеть.
Кто?
Откуда?
Всё разузнать, поговорить хочу.
Ты отпусти меня, не беспокоясь, —
930 я никогда не попаду в беду,
приеду скоро...
Сяду в агитпоезд...
Его на фронте всё-таки найду...
Не плачь, моя...
Всё чепуха пустая...

Добычин встал.
Добычин говорит.
Мурлычет кошка, когти выпуская.
Елена плачет.
940 Самовар горит.

Страна летела, дикая, лесная —
бой,
передвижение,
привал,
тринадцатая армия,
восьмая...
И только где Добычин не бывал!
Выспрашивал, мечту оберегая.
Война была совсем невесела,
950 и конница Шкуро и Улагая
еще всю хоругвями цвела.
Еще горели села и местечки
со всем своим накопленным добром,

но все-таки погоны на уздечке
уздечку украшали серебром.

И говорили конники:

— Деникин,
валяй, мотай,
не наводи тоску,
960 из головы, собака, сука, выкинь
Россию, православную Москву...
А мы тебя закончим на амине,
на Страшном, гад, покаешься суде...

И только негра не было в помине,
как говорили конники, нигде.

— Китайцы здесь, конечно, воевали,
офицеров закапывали в грязь...

И только раз,
однажды на привале,
970 с конноармейцами разговорюсь..

Конноармеец, маленький и юркий,
веселой рожею румян и бел,
за полчаса стоянки и закурки
рассказывал,
захлебывался,
пел...

Он говорил на стороны, на обе,
шаманя,
декламируя слегка,
980 о смерти,
о победе
и о злобе,
о командире своего полка.

— За командира нашего милого
я расскажу, товарищи, два слова.
Я был при нем,
когда его убили,
и беляков я видел торжество.
Ему приятно, земляки, в могиле,
990 что не забыли все-таки его,

что поминаем добрыми словами
и отомстить клянемся подлецам,
казачьими качаем головами,
а слезы протекают по усам.
Он был черен,
с опухшими губами,
он с Африки — далекой стороны,
но, как и мы,
донские и с Кубани,
1000 стремился до свободы и войны.
Не за награды
и не за медали —
за то, чтоб африканским буржуям,
капиталистам африканским дали,
как и у нас, в России, по шеям,
он с нами шел —
на белом,
на буланом,
погиб за нас
1010 от огнестрельных ран...
Его крестили в Африке Виланом,
что правильно по-русскому Иван.
Ушла его усмешка костяная,
перешагнул житейскую межу...
Теперь, бойцы,
тоскуя и стеная,
я за его погибель расскажу.
Когда пришло его распоряженье,
что надо для разбития оков
1020 для, то есть, полного уничтоженья,
пошли мы лавою на беляков.
Ну, думаю, Россия,
кровью вымой,
что на твоей нагадили груди...
И командир
на самой
на любимой,
на белой
на кобыле
1030 впереди.
Ну, как сейчас
его я вижу бурку —

летит вперед,
оружием звеня...
(Отсыпьте-ка махорки на закурку,
волнения замучили меня.)
У беляков же
мнения иные —
не за свободу.
3040 В золоте погон.
Лежат у пулеметов номерные
готовые.
Командуют: огонь!
И дали жару.
Двадцать два «максима»
пошли косить
жарчее и сильней,
что, сами знаете, невыносимо.
Скорее заворачивай коней!
1050 Мы все назад...
За нами белых сила...
Где командир?
А он на беляков
один пошел...
— Да здравствует Россия
и полное разбитие оков!
Какой красивый...
Мать его любила...
К полковнику
1060 в карьер,
наискосок,
сам черный — образина,
а кобыла
вся белая, что сахарный песок.
Как резанул полковника гурдою¹,
вся поалела рыжая трава.
Качнул полковник
головой седою —
налево сам,
1070 направо голова.
Но и ему осталось жить недолго —

¹ Шашка особой закалки.

пробита грудь,
отрубана рука...
Ой, поминай, Россия,
мама Волга,
ты командира нашего полка!
Москва и Тула,
Киев и Саратов,
пожалуйста, запомните навек,
1080 что он, конечно,
родом из арапов,
но абсолютно русский человек.
Он воевал за нас,
не за медали,
а мы, когда ударила беда,
геройскую кончину наблюдали,
и многие сгорели со стыда.
Не вытерпев подобного примера,
коней поворотили боевых —
1090 до самой смерти,
не сходя с карьера,
уж лучше в мертвых,
нежели в живых.
Так вот дела какие были,
брат мой,
под городом Воронежем,
в дыму, —
мы командира
привезли обратно,
1100 и почести мы сделали ему.
Когда-нибудь и я,
веселый, шалый,
прилягу на могильную кровать...
Но думаю,
что в Африке, пожалуй,
мне за него придется воевать.
И я уверен,
поздно или рано
я упаду в пороховой туман,
1110 меня зарюют,
белого Вилана,
который был по-русскому — Иван...
Он замолчал.

Прошел по бездорожью
веселый ветер,
свистнул вдалеке. . .
От ветра, что ли,
прохватило дрожью,
забегали мурашки по руке.
1120 И стало всё Добычину понятно,
смятением подуло и бедой,
зашевелились темные, как пятна,
румянцы под пушистой бородой.
Над ним береза сирая простерла
четыре замечательных крыла,
тоска схватила горькая за горло —
всё кончено, —
картина умерла.
Она ушла под гробовую кровлю,
1130 написанная золотом и кровью,
знаменами,
железом и огнем,
казачьей песней ярою,
любою
победой,
пулеметною стрельбою
и к бою перекованным конем.

Все снова закурили.
Помолчали.
1140 Подумали.
Костер лежал у ног.
Один сказал:
— Веселые печали,
оно бывает всякое, сынок.
Мы человека —
это же обида —
должны всегда рассматривать с лица.
Другая сука ангельского вида. . .
— А как похоронили мертвеца?
.
1150 — Его похоронили на рассвете,
мы все за ним,
поэскадронно шли,

на орудийном повезли лафете,
знамена преклонили до земли.
Его коню завидовали кони —
поджарые, степные жеребцы,
когда коня
в малиновой попоне
за гробом проводили под уздцы.
1160 На нем была кавказская рубаха,
он, как живой,
наряженный, лежал,
на крышке гроба черная папаха,
лихая сабля,
золотой кинжал.
И возложили ордена на груди,
пылающие радостным огнем,
салютовали трижды из орудий
и тосковали тягостно о нем.
1170 Ему спокойно, земляки, в могиле,
поет вода подземная, звеня...
Хотелось бы, чтоб так похоронили
когда-нибудь товарищи меня.

Он замолчал.
И вот завыли трубы,
и кони зашарахались в пыли.
— Сидай на конь!
— Сидай на конь, голубы, —
запели эскадронные вдали.
1180 Бойцы сказали:
— Порубаем гада!
Знамена, рдея, пышные висят.
И вся кавалерийская бригада
ушла до места боя на рысях.
Они пошли тропинками лесными,
просторами потоптанных полей,
и навсегда ушел Добычин с ними,
и ты его, товарищ, не жалея.

Пожалуй, всё.
1190 И вместо эпилога
мне остается рассказать не много
(последние мгновения лови).

Дай на прощанье
дружеские руки,
поговорим о горе,
о разлуке,
о Пушкине, о славе, о любви.
Пришел к Елене.
И меня встречая,
1200 мурлычет кот,
свивается кольцом.
Шипит стакан дымящегося чая.
Поет Елена, теплая лицом.
Нам хорошо.
Любви большая сила,
веселая
клокочет и поет...
— А я письмо сегодня получила, —
Елена мне письмо передает.
1210 И я читаю.
Сумрак бьется черный
в мои глаза...
«Родная, не зови...
Пишу тебе со станции Касторной
о гибели, о славе, о любви.
Нет места ни печали,
ни бессилью,
ни горести...
Как умер он в бою
1220 за сумрачную,
за свою Россию,
так я умру за Африку мою».

1934—1935

А я письмо ~~свое~~^{свое} получила
Елена мне письмо перезает

И я читаю:

Сумрак бьется черной
в мои глаза

— Родная не зови

пишу тебе со станции Каспийской

о ~~любви~~^{любви} о славе, о любви

нет места ни печали,

ни бессилью

ни горести.

Как чужд он в Бою

за сумрачною земью

России.

Пож я чужд за Африку

моею

Юри. Корн

148. ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ КИРОВА

1

Скоро девять, пожалуй.
Утро.
Весел и прост,
он идет, моложавый,
через Троицкий мост.
Хорошо и морозно —
да, зимой холодней...
Он совсем несерьезно
относится к ней.
Он идет, улыбаясь:
лучше, если весна.
Всё же мелочь любая
забавна весьма.
Вон в небесной долине
полусвет синевы,
и хранят в нафталине
равнину Невы.
Он мурлычет:
— Иду я,
полегоньку иду...
Люди греются, дуя
в кулаки на ходу.
Сколько разных попыток,
чтоб согреться, нашли?

На огромных копытах
першероны прошли.
Торопясь, —
не с того ли,
что кормушка зовет?
Повезли листовое
на какой-то завод.
Всё дымит, индеея...
Тянет к печке,
домой, —
нет, —
не сыщешь новее
декораций зимой.
Даже вымысла ради,
красоты
и ума...
Но зима в Ленинграде —
лучше всякой зима.
Ты еще не воспета:
зло морозных ночей,
солнце красного цвета,
совсем без лучей.
Как на улицах ранних
засыпают, дрожа
в тулупах бараньих,
домов сторожа.
Всё озябло.
И что теперь —
населенью беда?
Неожиданно оттепель —
и туман,
и вода.
Туча липкая плачет
и на улицы льет.
Люди падают, —
значит,
гололедица, лед.
Макинтошами машем,
держась за дома.
Только в городе нашем
столь смешная зима.
Но сегодня иное —

веселы облака,
и светило дневное,
и морозит слегка.
Он скрипит, словно ржавый,
под подошвами снег,
и идет моложавый
через мост человек.

2

Он идет, улыбаясь,
как зимы торжество,
и снежинка любая
забавляет его.
Площадь Жертв Революции
снегом полна —
сколько горя и радости
площадь таит,
начинается сразу
у моста она,
где машина огромная
«бьюик» стоит.
Как летящее туловище орла,
горделивая,
ночи полярной темней,
и готовы взмахнуть
два орлиных крыла.
Человек, улыбаясь,
направляется к ней.
Он садится в машину,
легок, вымыт и брит...
— Ну, поехали, —
шоферу говорит.
Замечательным,
зимним согретый огнем,
гладит шофер
пушистый каштановый ус.
И смеется —
до пояса бурки на нем,
рукавицы оленьи,
суконный картуз.
— Утро доброе...

Солнышко...
Славно горит... —
шофер Кирову радостно говорит.

8

Как мне день этот горек
и черен этот снег.
Я поэт — не историк,
я простой человек.
Но желанье имею,
негодую,
скорбя,
рассказать, как умею,
всё, что знал про тебя.
Про любовь
и про разум,
про невзгоды ночей,
всё, что знал по рассказам
твоих вятчей.
Ты в рядах и в колоннах
по России кружил,
мест не столь отдаленных
молодой старожил.
Ночь тебя испытала
и сказала: владей!
Это сплав из металла,
годов
и людей...
Сколько было тяжелых
в стране непогод,
как ошметки летели,
и гибла страна, —
кто тебя позабудет,
девятнадцатый год.
Украина,
Каспийское море,
война.
На рыбачьих баркасах
стоит пулемет,
и скорее, скорее —
ни сна, ни жилья.

Кто меня понимает,
конечно, поймет —
это Киров на Каспии —
песня моя.
Нефти кровь животворная,
жирная
вновь
на заводы,
на фабрики,
в наши края. . .
Это Кирова дело
и Кирова кровь.
Это только о Кирове
песня моя.
— То, что видно, то видно,
дела велики, —
говорили солидно
о нем старики. . .
Мне рассказывал как-то
кузнец на ходу:
— Значит, так это было,
дорогие мои.
Это в августе было,
в тридцатом году, —
я сижу со старухой,
гоняю чай.
Дочка где-то в кино,
сын читает к уроку,
мухи сонные ползают по стене,
и чего-то кричит,
значит, радио сбоку.
Открывается дверь —
и Мироныч ко мне.
Никогда не бывал.
Но, себя уважая,
я, конечно, и виду не подаю,
а в душе, понимаете,
радость большая.
Он мне руку свою,
я, понятно, свою.
Говорили мы с ним.
И сомнения были.

Посидел,
посоветовался со мной.
Мы Сергея Мироныча
очень любили. . .
Хоть и молод, а умный,
веселый, земной.

4

На роскошных моторах
и ночи и дни
в пышных шубах матерых
разъезжают они.
День такого не труден —
это видимый враг,
тунеядец
и трутень,
и совсем не дурак.
Этим был ненавистен
Киров, знавший навек
много тягостных истин,
большевик,
человек.
И за то, что спокоен,
за улыбку твою,
победитель
и воин
в открытом бою.
Молят:
— Бог, помоги нам
и спаси нас, господь,
самого господина
и лакеев господ.
Мелким бисером вышит,
бог ни слова в ответ, —
может, просто не слышит,
может, господа нет.
Что за гадкая свора?
Живут — благодать, —
от банкира до вора
рукою подать.

Так и ползают тучей,
забывши покой...
Был, товарищи, случай
забавный такой.
Случай тот достоверен,
проверен давно, —
рассказать вам намерен
про свиданье одно.

б

По равнине пурга
порошит пушисто...
Сидит баба-яга
в гостях у фашиста.
У фашиста рога,
видимость свиная,
а у бабы нога,
нога костяная.
Злая ночь на носу,
и с лицом сварливым
ест фашист колбасу,
запивает пивом.
И красив, и не стар,
он сидит,
у бабы
кипятится навар
из могильной жабы.
И у бабы наряд —
одета по-вдови, —
и они говорят
о средневекови.
Поднялась, тяжела,
зашептала слабо:
— Я в России жила, —
заявила баба, —
и глупа,
и темна,
и могилы тише,
и солому она
стелет на крыши.

Ночью ходит во двор,
покрытая тенью,
и не ест помидор
по предубежденью.
В кровь избита жена,
праздники,
сивуха,
волостной старшина
воскликает: «В ухо!»
Сыро, словно в гробу,
я же, мой коханий,
вылетала в трубу
на метле поганой.
Под небесным огнем,
молодой и храброй,
как бы зверем-конем,
управляю шваброй.
Покидала кровать,
милый, по простору
я неслась танцевать
на Лысую гору.
Злые звезды горят,
плоть лихую тешим,
две недели подряд
танцевала с лешим...
И захмыкала в нос
много слов соседних...
— Хорошо! —
произнес
мрачный собеседник.
Голова из огня
высунула жало.
— Все боялись меня, —
баба продолжала, —
каждый русский — мой вассал,
темнота,
бессилье.
Гоголь про меня писал,
Николай Васильевич.
Собеседник встал, как тьма,
крик подобен лаю:
— Про писателей, кума,

вовсе не желаю...
Баба, слезы лия,
сразу стала красной...
— Про писателей я,
собственно, напрасно.
Ах, Иванова ночь!..
Хорошо в России,
не губить
и помочь
все меня просили.
Золотое бытье,
молодое тело...
Ой, как время мое
быстро пролетело.
Дни мои далеки —
в том краю рѣскосом
всюду большевики
кроют хаты тесом.
Ни вина,
ни плетей...
Леший — медведь мой,
нынче даже детей
не пугают ведьмой.
Где прилечь?
Где присесть,
бесова невеста?
У тебя, может, есть
безработной место?
И захмыкала в нос
много слов соседних.
— Я убью, — произнес
мрачный собеседник, —
я меча не хочу,
речь скажу на тему,
как топор наточу,
свастику надену.
Нам не надо ума,
мы — средневековье,
оставайся, кума...
За твое здоровье!

Я писал не в бреду —
я не шизофреник, —
даже в Дантовом аду
не считал ступенек.
Не фантазии запас —
злые тени эти, —
только сказка для вас,
взрослые дети.
Я устало дышу,
и перо сломалось...
Прочитайте — прошу,
подумайте малость.

6

До чего разозлила
господина беда!
Он лакеям трусливо
говорит: «Господа...
ждали многие годы,
что-то делать пора.
Вот пока на расходы,
так сказать, серебра».
Говорит — привечает,
жаден,
зlobен,
поган,
и оружие вручает
системы «наган».
Угостил у стола их
(он окупит расход).
Господин Николаев
в гостях у господ.
Господин Николаев
может сделать один
всё, чего пожелает
его господин.
К револьверу-железу
идет, как в бреду...
Прикажите — зарежу,
убью,
украду...

Буду преданным другом
и вашим слугой,
вечно к вашим услугам,
золотой,
дорогой.
План уже разработан
совсем, почитай...
Вы желаете?
Вот он,
прошу почитать.
Как сильней и ретивей
побеждать и творить,
на партийном активе
будет он говорить.
Как поход новый начат,
про Советский Союз...
Только... (Поняли.)
...значит,
не расскажет, боюсь.
Мы подходим к решенью
смелее,
смелей, —
Киров будет мишенью
для пули моей...
И мерцает похожий
на роскошь уют...
Он встает.
Из прихожей
пальто подают.
Лихорадка и злоба,
потом торжество —
оттопырены оба
кармана его.
И на каждой ступеньке
бьют по ногам —
в левом потные деньги,
а в правом — наган.

7

И дорожная лента
сходит на нет,

это Смольный,
легенда,
Областной комитет.
Полный шума и света,
легкой кровью согрет,
секретарь комитета
идет в комитет,
по-мальчишечьи, левой
портфель охватив.
Через час заседание —
партийный актив.
Лучший цвет Ленинграда,
весь Ленинград
будет слушать звенящий
и чистый доклад.
Слово будет, как птица,
и петь и кружить.
Он им скажет:
— До чертиков
хочется жить . . .
Он идет, улыбаясь,
засмеяться готов, —
основатель заводов,
людей,
городов.
— Мы не то еще сделаем, —
скажет опять, —
где была только белая
заполярная гладь,
мы повсюду готовы,
где по шею снега,
где полярные совы
и баба-яга.
Всё проклятое это
сыграет на нет. . .
Секретарь комитета
идет в кабинет.
Подлой смертью подуло,
и грохот летит,
вороненое дуло
в затылок глядит.
И упал секретарь,

и качнулась высоко
вековая России
тяжелая мгла.
Это нас убивают
в затылок и сбоку,
чтобы мы их не видели,
из-за угла.
Мы их знаем, продажных,
и черных и белых,
и над ними огромная
наша гроза.
Секретарь, секретарь,
незабвенный и милый!
Я не знаю, куда мне
тоску положить. . .
Вьется песня моя
над твоею могилой,
потому что «до чертиков
хочется жить».
Я гляжу, задыхаясь,
в могильную пропасть,
буду вечно, как ты,
чтоб догнать не могла
ни меня,
ни товарищей
подлость
и робость,
ни тоска
и ни пуля из-за угла.

8

Песня вьется живая,
вечер весел и прост,
я иду, напевая,
через Кировский мост.
И веселого снова,
и любя, и скорбя,
молодого,
живого,
вспоминаю тебя.

Я даю обещанье
провалам морей —
будет наше прощанье
возле смерти моей.
Я повсюду, где вырос
в полный рост
город Киров,
и Кировск,
и Кировский мост.
Ты могилу не вырыла,
пуля.
Живет
имени Кирова,
дышит завод.
Это жизнь боевая,
которой рад.
Я иду, напевая...
Зима...
Ленинград.

<1935>

149. НАЧАЛО ЗЕМЛИ

1

Я часто думаю:
она
свободна,
невредима,
и спутница у ней одна,
се фамилия — Луна,
меж ними мягкая стена
из голубого дыма.
А на земле плодовой сень,
и всё, что видим, — наше,
сегодня день
и завтра день,
один другого краше.
Луга и реки велики,
красивы,
жатва сжата,
гуляют кони и быки,
играют медвежата.
Есть непонятные слова:
«хозяин»,
«голод»,
«деньги».
Ребенок родится едва,
встает на четвереньки,
и про такого говорят:
«Толстяк...»

Люблю потискать.
На нем младенческий наряд
по пояс
из батиста.
Ну, не наряд —
всего одна
смешная рубашонка,
и называется она
под рифму — распашонка.
Осуществимая всегда
мечта к переселению —
морская надоест вода,
живи хоть под сиренью.
Захочешь — слушай соловья,
живешь — не худосочишь. . .
И вся земля
везде твоя, —
шатайся куда хочешь. . .
Хочу, чтобы на век веков,
не лишены идиллий,
все сочинители стихов
по всей земле ходили.
Увидят девушку — спуют,
в душе любовь схоронят,
и сосны над землей встают,
и каждая в короне.
О, разноцветный этот рай,
тепло небесной выси.
Захочешь жить — не умирай,
всё от тебя зависит.
Ты славословие мое
прими, Земля. . .
Тоскую,
хотел бы видеть я ее,
огромную такую.

2

Но, золотистая, она
людьми на всякий случай
связана,

оскорблена
проволоккой колючей.
Разломанная на куски
и в рассеченной коже —
дороги на земле узки
и над землею тоже.
Так повелось из рода в род,
что по равнине гладкой
любой из нас идет вперед,
но все-таки с оглядкой.
Крадется около стены,
чтоб не напали со спины.
Глаза,
биенье крови
и руки наготове.
Живет на свете лиходея,
его богатство душит —
к его услугам тьма людей
и десять тысяч пушек.
Он болен.
У него врачи,
он зол и мал, как кречет...
Он говорит врачам: «Лечи...»
Врачи больного лечат.
Он изнемог,
он одинок,
и злую щепку эту,
больную с головы до ног,
сажают на диету,
чтобы приятна и легка, —
секрет, конечно, найден:
стакан парного молока
и две тартинки на день.
Но до здоровья далеко:
он полтартинки гложет,
пьет с отвращеньем молоко
и больше есть не может.
Зачем ему его дома,
его суда и пушки?
Приходит ночь,
угрюма тьма —
он жалок на подушке.

Он беден, как старик любой,
но вот к нему, глухому,
веселый, чистый, голубой
звонок по телефону.
Он выслушал.
Его щека
вся дернулась, застыла,
и поднялась его рука,
рука больного старика,
лиловая, как мыло.
Он через силу поднялся —
изломанный —
с подушки.
Он крикнул.
Через полчаса
заговорили пушки.
И люди гибли той порой
(чего им делать, бедным?)
за то, чтобы стальной король
стал нефтяным и медным.
Он людям говорил: «Велю!..»
И шли на битву снова,
пока стальному королю
несли стакан парного.

8

А в то же время жил кузнец,
его нужда качала...
Когда тоске его конец
и радости начало?
Беда...
В подвале, как в дыму,
житье совсем особое...
По безработице ему
назначили пособие.
Пособие — как сто плетей:
не радоваться — плакать...
Жена
и четверо детей,
и за квартиру — плата.

И деньги к своему концу
не таяли —
летели,
хватало денег кузнецу
на полторы недели.
Когда ударил гром свинца
и мир в бреду затрясся,
определили кузнеца
на пушечное мясо.
Он шел под яростным дождем
от Киева до Омска
и думал: «Что же, подождем,
чего-нибудь дождемся. . .»
Четыре года шла война,
ломая всё на свете,
и умерла его жена,
и потерялись дети.
В те годы темные — отцов,
детей пропало сколько?
И сам кузнец в конце концов
не миновал осколка.
Желая отплатить вдвойне,
он выжил понемногу,
оставив жалость на войне
и в госпитале ногу.
Но не сказал он: «Помоги. . .»,
надел свои медали,
и деревяшку для ноги
ему в дорогу дали.
И думал он:
«В конце концов,
полезны штуки эти:
узнал я —
больше кузнецов,
чем королей на свете. . .
Мы не потонем,
не сгорим. . .
Переменясь ролями,
мы, кузнецы, поговорим
сегодня с королями. . .»

И вы у Зимнего дворца
под осенью нагою
видали, может, кузнеца
с оторванной ногою?
Он говорил мне:
«Торжество
мое такое, друже,
что ногу — это ничего,
вот руку если — хуже.
Теперь, в семнадцатом году,
свою цену я рану —
я с нею с места не сойду,
стрелять не перестану...»
Мой бородач...
Его Аким,
по-видимому, звали,
и я хотел бы быть таким,
но буду ли?
Едва ли...
Как мало испытали мы
в сравнении с отцами:
войны,
и голода,
и тьмы
годами,
месяцами.
Но уважаю старика,
отца-единоверца,
и вот ему моя рука,
мое большое сердце,
и вот ему мои глаза,
острее ястребиных,
и кровь — горячая гроза,
красней, чем на рябинах.
Я страшной клятвой говорю —
у нас одна награда,
что слово наше королю
произнесем как надо;
что не впадем в истощный крик —
с полёй,

заводов,
штолен,
и ты останешься, старик,
ребятами доволен. . .

5

Вот почему одной, прямой
идем дорогой прямо. . .
Нам — это праздник —
твой и мой. . .
Кому-то — волчья яма.
И сердце гордое гудит,
и руки не ослабли,
и каждый в небеса глядит,
где ходят дирижабли,
где в теплом воздухе, сухом
забыты наши раны. . .
Где журавлиным косяком
трубят аэропланы.
Штыков и сабель острие
ценю я как примету, —
мы переделаем ее,
красавицу планету.
Иллюминации горят —
уже сейчас встречала
сплошная лава октябрат
земли своей начало.
Им было весело.
Они
от солнца золотые. . .
Мой дорогой старик,
взгляни —
какие молодые.
Вот волосы твои в дыму,
усов зловеща проседей, —
скажи им: «Царь. . .»
«А почему?» —
все октябраты спросят.
Ты расскажи им,
не спеши,
слеза в глазах зажата, —

они не знают, малыши,
смешные медвежата.
А я пойду —
часы к шести,
и мой маршрут особый.
Тут делать нечего,
прости:
свидание с особой.
Приду я от нее домой,
закрою на ночь двери,
и парабеллум надо мой
мне заново проверить.
Проверим,
смажем,
ствол протрем;
пожалуй, очень скоро
и мне придется с королем
войти в переговоры.
В каком-то
будущем году,
но поздно
или рано
я тоже с места не сойду,
стрелять не перестану.
Я вспомню про тебя в бою
и песню вспомню эту,
про изумрудную
мою
красавицу планету.

12 октября 1935

150. САМСОН

Мой герой поэмы этой, здравствуй!
По-татарски мрачен и скулат,
и широкоплеч,
и коренастый,
бескозырка,
брюки клеш,
бушлат.
Выправкой красуясь образцовой,
молод,
неприветлив
и тяжел,
он по набережной
по Дворцовой
шатко, как по палубе, прошел.
Этой белой ночью,
мимолетной,
летнею,
идет навстречу мне,
лентой опоясан пулеметной,
маузер,
гранаты на ремне.
И глядит с особенным фасоном
глазом золотым
и полусонным,
как ему —
удобно на земле.

Все его товарищи
Самсоном
звали на линейном корабле.
Сколько дней голодных,
несчастливых,
сколько силы отдано труду...
И во флот
из волжских водоливов
он пришел в пятнадцатом году.
Балтика —
она одна на свете
так же молчалива и сера,
как ее возлюбленные дети —
бронированные крейсера.
Корабли
империи на благо,
верноподданные сторожа,
и кресты андреевского флага
пролетали, по ветру дрожа.
Шла война дорогою прямою —
по смертоубийственным делам,
крейсера ходили
вдоль по морю,
разрезая воду пополам.
И орудья поднимали жерла...
Шла война — всеобщая грызня...
В кубриках и мучилась и мерла
вся в холщовой робе матросня;
в кочегарках запекалось горло,
никому не сладко на войне, —
так, что называется, приперло,
что приперло здорово к стене.
Не солдату говорить про негу,
он привыкнет ко всему:
к огню,
на дожде, на холоде ночлегу
и к неприхотливому меню.
Щи пустые,
ячневая каша,
это тоже надо понимать —
родина заботливая наша,
почему ты мачеха, не мать?

И страдали, умирая рядом,
разрешая тягостный вопрос,
ополченец третьего разряда,
доброволец,
кадровый,
матрос.
И когда сказали: «Не желаем,
в двадцать лет себя не отдадим,
пусть Вильгельм воюет с Николаем,
чтобы так —
один и на один, —
рухнула империи опора;
нам война такая не резон. . .»
И назад ударила «Аврора»,
и Самсона с Балтики, минера,
называли попросту Самсон.
Он узнал,
за что такое дрался;
он по палубе прошел, суров,
наконец-то все-таки добрался
до своих морских офицеров.
И за мордобитье,
и за горе,
также за военные суды
и офицера хлебнули в море
той смертельной гадины-воды.
Так ушли офицера на место.
А Самсон припомнил про свое —
что на Волге у него невеста
и коса по пояс у нее,
ждет она.
У белокурой Иры
и любви хватает и тоски,
письма шлет ему
и сувениры,
шлет махорку,
теплые носки. . .
Повидаться надобно с Ириной,
погулять пушистой травой —
милый,
дорогой,
неповторимый

Волги левый берег,
луговой.
Свадьба замечательная,
с плясом,
самогонки будет без конца...
Будут дети.
Первенца Тарасом
назовут, в честь родного отца.
Хорошо, товарищи, до дому,
прямо на домашние хлеба,
но судьба судила по-иному,
как любая темная судьба.
Комиссар в защитном рваном френче,
умная,
большая голова,
говорил матросам о Юдениче, —
вот его дословные слова:
«Наступает царское отродье,
вашество,
высокоблагородье,
сила, гад...
Короче говоря,
коль не император будет —
вроде
этого российского царя.
Вот когда настанет нам расплата,
уверяю вас,
на этот раз
он вместо нашего бушлата
снимет шкуру с каждого из нас.
Нет уж...
что бы там ни говорили,
снова начинается война...
Браты,
если кашу заварили,
так пускай доварится она...»
Ничего на это не сказали
моряки.
Вздохнули тяжело.
Через час грузили на вокзале
боевой матросский эшелон.
Повинуясь боевым приказам,

на перроне черная стена —
то матросы выстроились разом,
в дудки засвистели боцмана. . .
И под небом, сумрачным и голым,
с корабля,
пожалуй, через день
и Самсон
пошел правофланговым, —
бескозырка сбита набекрень,
вьются ленты черные с надрезом,
кораблей на лентах имена.
Шел Самсон Тарасович, —
железом
опоясала его война.
А кругом братаны:
с «Ростислава»,
с «Князя Игоря»,
кругом бон,
и над каждым простирала слава
руки незабвенные свои.
На привале в хуторе зеленом
их кормили жирным творогом,
их поили молоком топленным
и пеклись о госте дорогом.
Тяжко было Ганнам и Аленам
вспоминать товарищей уход,
перешептывания под кленом,
девятьсот двадцатый этот год.
Их видали люди в Первой Конной,
как они, в мерцанье и в пыли,
сомкнутой,
передовой колонной
в город занимаемый вошли.
Их видали люди в поле чистом,
как летели, шашками звеня,
каждый был из них кавалеристом,
только с моря —
прямо на коня.
Их погибло много.
Я тоскую
о погибших в яростном бою
и ничем, пожалуй, не рискую,

если о погибели спую.
Нарисуй мне большое слово,
как, опутанный со всех сторон,
окружен,
у города Ростова
в плен попался третий эскадрон.
Все патроны были на исходе, —
ну, земля,
сынов благослови!
Только клеши,
по тогдашней моде
в пол-аршина шириной,
в крови.
Белые...
В спасенье не поверив,
все бойцы прощаются любя,
и последней пулей Мишка Зверев
убивает самого себя.
Милые...
Увидимся? Едва ли...
Но красиво прожили свой век,
отгуляли
и отвоевали...
В плен попало десять человек.
Двух из них прикончили.
Расправа
штыковая...
На душе мороз.
Остальных оставили:
— Направо,
шагом марш!..
В штабную, на допрос.
А в штабной,
в большом поповском доме,
генерал угрюмый и седой,
адъютанты собрались в истоме
около поповны молодой.
Песню пели голосом веселым
про «Аллаверды» и про бои,
огуречным вымыты рассолом
руки у дебелой попадьи.
Местные помещики,

их жены,
жирно угощает попадья —
на столе
грибы и корнишоны,
самогона целая бадья.
Выпьют
и закусывают снова
тельцем поросенка заливного
(на закуску всякая еда!),
и молóками,
и карасями,
жареными теплыми гусями,
квашеной капустою со льда. . .
Ходят за поповной молодою,
весело на пиршестве таком
пьют
и насыщаются едою,
руки моют ключевой водою,
губы утирают рушником.
И когда всё съедено, допито,
чашка в честь хозяйюшки разбита,
унесен последний каравай,
стол свободен,
генерал сердито
говорит:
«Конвойные, давай! . .
подавайте каждого матроса! . .»
От еды обильной клонит в сон,
и ведут матросов для допроса,
впереди всей партии — Самсон.
Он встает
и начинает сразу:
«Мы тебя, такую-то заразу,
вот увидишь, душу с тебя вон!
Мы умрем,
придут другие снова,
это — заключительное слово,
род гадючий. . .»
И молчит Самсон.
И стоит, дымясь и вырастая,
молодой и злобный, впереди,
по лицу струится кровь густая,

рваная тельняшка на груди, —
тут не до мольбы и не до прятков.
Генерал поднялся голубой,
приговор и яростен и краток:
«Шомполами. . .
Сволочь. . .
На убой. . .»
Фонаря мерцающее пламя,
дух амбарный,
на дворе мороз,
и матросов били шомполами,
кочья мяса падали в навоз. . .
Этой ночью было наступленье
Красной Армии.
И не совру,
коль скажу, что все-таки селенье
было всё очищено к утру.
Выносили трупы из амбара,
трупы, связанные по рукам, —
два красноармейских комиссара
приложили руки к козырькам.
На сырую землю положили,
встали, молчаливые, вокруг,
видели разорванные жилы,
но Самсон пошевелился вдруг,
застонал.
Еще одно движенье —
поскрипел зубами, чуть дыша,
видимо, недаром при рожденье
назвали Самсоном малыша.
В лазарете чистые палаты,
слышен птичий щебет со двора,
на сиделках белые халаты,
на осмотр приходят доктора.
Их больные стонами встречают,
доктора смеются: «Ты живой. . .»
Подойдут к Самсону,
покачают,
каждый покачает головой.
Но проходит всё на этом свете,
всё проходит, задушевный мой,
и Самсон полгода в лазарете

пролежал
и выписан домой. . .
Вот она,
река моя родная,
величава, широка она. . .
Правая — гористая,
лесная —
левая на Волге сторона.
До села еще версты четыре,
где Ирина,
дом его отца. . .
Хорошо идти на этом мире
только до какого-то конца.
Только той знакомою дорогой,
радуясь, волнуясь и любя,
думая о той,
о босоногой,
что всего дороже для тебя.
Как обнимет,
сразу приголубит. . .
Что ж — ромашку по пути сорвать,
погадать,
не любит или любит,
поцелует или наплевать?
Сколько всё же размышлений лишних!
Вот и дом,
и постучал Самсон
в столь знакомый
голубой наличник
и прогнал хозяйки теплый сон.
Выглянула, ахнула —
тоскою
всё лицо
и горестью горит,
замахала теплою рукою:
«Ах, скорей, уйдите! — говорит. —
Ах, уйдите, — говорит, от окон, —
оглянулась:
в доме тишина. —
Я теперь уже не одинока,
я теперь замужняя жена».
И пропала.

Это всё знакомо —
бьется сердце,
застывает кровь,
если ты потерянный у дома,
где была огромная любовь.
Много лет прошло.
Уже стареем,
смотрим прямо и по сторонам,
бороды свои большие бреем,
чтоб казаться помоложе нам.
Утро наступает золотое,
мы ему не говорим: «Уйди»,
вспоминая всё пережитое,
всё, что остается позади.
Я проснулся.
Дел сегодня разных
короба, пожалуй, полтора;
первое —
у нас сегодня праздник,
праздник начинается с утра.
Сердце замирающее радо,
кровью молодой зажжено —
гордость первомайского парада
чувствует заранее оно.
Как несутся танки броневые,
самолеты в небесах гудят,
и знамена, как цветы живые,
на просторе пахнут и шумят.
Гордость первомайского парада
радостной улыбкою цветет,
и кавалерийская бригада
на галопе площадью пройдет.
Поздним вечером,
совсем бессонным
(в эту ночь, конечно, не до сна),
я неожиданно встретился с Самсоном.
Радость. . .
Удивление. . .
Весна. . .
Всё такой же, молодой и плотный, —
тела человеческого стена,
в голубой, красивой форме летной,

на груди сверкают ордена.
Пели дети,
мы запели с ними,
и пошли, толкаясь и шутя...
«Истребителями скоростными
управляю я теперь, дитя».
И припомнил я года глухие
и подумал:
«Да, его не тронь, —
человек,
прошедший все стихии:
воду,
землю,
воздух
и огонь...»
Пили чай, смеялись и курили,
и тепло расплескано в крови.
Обо всем в ту ночь мы говорили,
но не говорили
о любви.

1936
Москва

НЕОКОНЧЕННОЕ

151. ВОЗЗВАНИЕ

Ты пришла ко мне, как мама,
волос тонкий, золотой,
на тебя взглянул упрямо
и решил, что я не твой.

Мы на Волге
и в Сибири,
мы на Каме,
на Оке
целовались,
говорили
любовались на реке.

Нам казалось — это лето,
нам казалось — это сад.
Только лето, но не это,
гусь не высидит гусят.

Утка в полночь не прокрячет,
петухи не запоют,
дорогая — это значит,
не назначен нам уют.

Но случилось всё не в меру,
получилось всё не то,
и ушла ты к инженеру
под названием «Авто».

Он откуда-то из Форда
и доволен сам собой.
Поглядел немного гордо
и в спецовке голубой.

Молодой, голубоглазый,
а рука белым-бела.
Ты же все-таки заразой,
нехорошею
была.

Сарафан ли твой не гладен,
он в замасленной пыли,
да и сам я парень ладен —
ноги прямо до земли.

Хороша была погода,
за весной была зима,
не видались мы полгода,
подошла ко мне сама.

И услышал я угрюмый:
— Милой,
я беременна,
ты, пожалуйста, не думай —
это только временно.
Я сказал:
— Не дорогого
ждал я счастья впереди,
от кого-нибудь другого,
только все-таки роди.

Начало 30-х годов

На ниве Украины,
у большой воды,
на путине Каспия
всё ее следы.

Передник ее
незабудками вышит,
и косы — во хмелю.
Шахтер из Донбасса
письмо ей напишет;
что — я тебя люблю. . .

И завтра будет встреча,
ночь, июнь, туман.
Звать ее Романтика,
а его Роман. . .

И я подымаю иссохшие руки,
пою во славу дня.
Пою о любви,
о боях,
о разлуке,
что ты забыл меня.

12 января 1934

153

Каурые, замызганные кони
и жеребят веселых табунки,
и звезды, заплетенные в венки,
и я опять в Семеновском районе,
где по ночам гармоника тонки.
В этом мире,
как у своей мамы на квартире. . .

1934?

154

Я приличий не нарушу,
не накликаю беду —
погляжу в чужую душу,
погляжу и отойду.

1934?

155. ПЯТЬДЕСЯТ ПОРОСЯТ

Шли по улице в ряд
пятьдесят октябрят.
А навстречу им рысят
пятьдесят поросят.
У веселых октябрят
красным галстуки горят,
а у бедных поросят
только хвостики висят.

1935?

156

Сто сорок человек —
Особого полка
вторая рота —
от полка отбита. . .
И говорит: кака
обида.
Толпою, без еды, в ночи гуляй пешком,
подумаешь, гуляки. . .
Налево, значит, лес,
направо черт-те что,
кругом белополяки.

1935?

157

Выпьем водки. . .
Густая, злая,
в горловину,
в дыханье,
в рот —
пролетает, блистая, пылая,
молодая, за сердце берет.
Ну, чего еще?
Неужели
повзрослели, похорошели.

Выпьем рюмку веселой, пшеничной,
заедем ее золотой,
аппетитную и яичной
маслянистою красотой.

1935?

158

Хмель в голову пошел, висясь, —
вся в голубых,
зеленых звездах,
луна ударила, как язь,
взлетая из воды на воздух.
У ней я вижу плавники,
чешуйчатую прелесть кожи,
а мы с тобою двойники —
уже на третьего похожи.

1935?

159

У моей, у милой, у прелестной
на меня управа найдена.
Красотой душевной и телесной
издавна прославилась она.
Говорит, ругается:
— Ты шалый,
я с тобою попаду в беду,
если будешь водку пить — пожалуй,
не прощу,
пожалуй, и уйду.
Навсегда тебя я позабуду...
Я встаю.
В глазах моих темно...
— Я не буду водку пить,
не буду,
перейду на красное вино.

1935?

Вы меня теперь не трогте —
 мне ни петь,
 ни плясать —
 мне осталось только локти
 кусать.

Было весело и пьяно,
 а теперь я не такой,
 за четыре океана
 улетел мой покой.
 Шепчут листья на берегах:
 — Нехороший ты,
 хмельной. . .
 Я иду домой —
 тверезых
 обхожу стороной.
 Пиво горькое на солоде —
 затопило мой покой. . .
 Все хорошие, веселые, —
 один я плохой.

1935?

Всё уйдет.
 Четыреста четыре
 умных человеческих голов
 в этом грязном и веселом мире —
 песен, поцелуев и столов.
 Ахнут в жижу черную могилы,
 в том числе, наверно, буду я.
 Ничего, ни радости, ни силы,
 и прощай, красивая моя.

Сочиняйте разные мотивы,
 всё равно недолго до могилы.

1935?

Он дышит, камень, и звенит,
и кто, преодолев гранит,
его рукою осквернит,
того ничто не сохранит.
И проклят он из рода в род,
песок ему набьется в рот,
а камень тот живых пород
предсмертно вспыхнет и умрет.

Он живет на вершине высокой скалы,
там где скалы голы,
где на скалах орлы,
где над скалами горные птицы парят,
и глаза их, как лунные камни, горят.

Жизнь ему золотая не нами дана,
жизнь его охраняет года, как стена.
Бойся мести! Ты слышишь, как ветры
свистят —
смерти камни тебе никогда не простят.

Пир бокалом звенит,
Хорошо нам на свете,
Мы пройдем сквозь гранит,
Геологии дети.

Ломоносов-старик,
Инженер и Геолог,
Надевает парик —
Волос пудренный долог.
В Ломоносова честь
Выпьем малую малость.

Кто хочет, тот пива, а кто кипятку,
наверно, в бутылках немного осталось,
наверное, хватит еще по глотку.

Вот студенты идут —
Толпы слева и справа —
Горный наш институт,
Наша гордость и слава.

Мы за наш институт. . .

Если в ад попаду,
буду не бесполезный —
раскопаю руду,
что зовется железной.

Мы за эту руду.

В ширину, в глубину
нам открыта дорога.
Хорошо б на Луну —
покопаться немного.

Мы за эту Луну.

1935?

163

Интересно говорить стихами
О печали тягостной моей,
О природе,
О любви,
О маме
И о слове северных морей.

1935?

164

Как же так?
Не любя, не страдая,
даже слово приветя тая,
ты уходишь, моя молодая,
золотая когда-то моя. . .

Ну, качну головою устало,
о лице позабуду твоём —
только песни веселой не стало,
что запели, пропели вдвоём.

1935?

165. ЛЮСЯ

1

Отходит поезд
с грохотом и гулом —
известный ненавистник тишины,
уже на полках
чемодан с баулом
удобно, хорошо размещены.

И ничего на легком сердце, кроме
спокойствия.
Глаза печаль таят.
А на дощатом,
узеньком перроне
шеренгой провожатые стоят.

Жена беречь здоровье наказала,
дала фуфайку шерстяную,
плед. . .
Еще, наверно, не ушла с вокзала,
рукою машет полною вослед.

О, сборы и заботы о супруге —
я до сих пор, убейте, не пойму —
зачем фуфайки теплые на юге
и плед
в июле месяце
в Крыму?

Вот так всегда.
Терпите понемногу,
семейную цените дребедень —

пекут вам подорожники в дорогу,
которые засохнут через день.

И в результате просьбы, и указа,
и требований любящей жены —
набиты чемоданы до отказа,
вы чемоданами окружены.

Проклятье,
истерпение,
истома. . .

Вы молча наблюдаете, дрожа,
перед отъездом забывая дома
любую половину багажа,
как поступил
герой поэмы этой,
ворчливо резюмируя: «Каюк!»
В защитное, военное одетый,
обычный путешественник на юг.

2

Он гимнастерку снял.
Тяжелой, сочной
была его суровая рука. . .
Он с проседью серебряной, височной,
но, видимо, не старше сорока.

Он успокоился.
Вагон качало.
Он расстегнул сорочку на груди,
и все увидели, что грудь курчава,
с боков побольше,
меньше посреди.

И в комнатке,
в купе четырехместном,
в табачном,
серо-крашеном дыму
он был, пожалуй,

самым интересным,
но это неизвестно почему.

Обыкновенны были все соседи,
включая всех —
и даму
и юнца,
в неторопливой длительной беседе,
которой ни начала, ни конца.

Юнец краснел.
Ему мешали руки.

Другой сосед раскладывал кровать.

А дама что ж?
Она уже со скуки
была с любым готова флиртовать.

Она и не умела быть иною,
всё было так с девичества у ней:
и волосы, подкрашенные хною,
темнее у корней,
багровый рот.

.
Как часто я
в вагонном коридоре,
порой ночами не смыкая глаз,
позабывал о радости и горе,
раскуривая трубку сотый раз.

Кто завтра мне — поэту и бродяге —
постель постелет,
приготовит чай?
В какой смешной
и новой передраге
придется очутиться невзначай?

В любом селенье,
на любом привале

каких мы только. . . .
(легки дороги)
любили,
ревновали,
горевали,
лезгинку танцевали,
пировали,
араку пили,
ели шашлыки.

Вот полустанок.
Пролетая мимо,
я на секунду вижу вдалеке
бревенчатые избы,
клочья дыма
и девушку в малиновом платке.
Она рукою робкою махнула.
Быть может, мне. . .

.
Погасла сразу лампочка ночная
и разбудила медленно одних,
другие спали, ничего не зная,
им снилась жизнь
далекая, иная. . .
Прошел по коридору проводник.

Военный, всполошенный шумом этим,
вскочил и вспомнил:
. . . поезд. . .
. . . еду в Крым. . .
Был у уборной в очереди третьим,
а потерпев немного, и вторым.

Тяжелым телом хвастаясь холеным,
он вымылся до пояса.
Потом
он вытерся везде одеколоном
и отполировал себя жгутом
из простыни сухой-сухой,
махровой,
минуты три,

а может, больше —

шесть. . .

И вышел замечательный,
здоровый,
блестели зубы,
захотелось есть.

О, ветчина, слезящаяся жирно,
уже тобой позавтракать пора,
на столике разложена обширно
телятина,
зернистая икра.

.
.

1936

166. ПАРАШЮТИСТ

(Отрывок из поэмы «Люся»)

Ворча, машина вышла из ангара.
Чудовище, не торопясь, плыло.
Чуть красноватым,
словно от загара,
блестело занесенное крыло.
Гуляли ветры злобно и привольно,
и летчики нахмурились слегка.
Один сказал другому недовольно:
— Того гляди, надуют облака.
Другой сказал:
— Пожалуй, но едва ли. . .
Хотя и он уверен был в душе. . .
А на парашютиста надевали
два ранца с парашютами уже.
Два ранца, выверенных,
заряженных,
пригодных в положении любом. . .
Парашютист —
мохнатый медвежонок
в комбинезоне зимнем, голубом —
стоял, неловко растопыря руки,

казался незаметным,
небольшим,
позевывал и ежился от скуки,
спокоен,
равнодушен,
недвижим.
Взял карабин —
и по аэродрому
пошел к машине
прямо, неспеша.
Один из летчиков сказал другому
смешно и непонятно:
— Хороша...
Они молчали.
Редко, редко — слово.
Казалось, это — темная стена.
В ней — на груди комбрига Бережного,
переливаясь, рдели ордена.
Все разговоры ветром относило...
— Прыжок парашютиста...
— Затяжной...
— Семь тысяч метров, кажется...
— Красиво... —
услышал, улыбаясь, Бережной.
Но вдруг,
подобна яростной лавине,
пошла машина,
воя и гремя,
огромными моторами гремя,
по бетонированной луговине.
И не заметил устремленный глаз,
как от земли она оторвалась —
и выше, выше,
видно еле-еле,
как уходила птица напрямик —
на крыльях звезды алые горели,
легко,
не потухая ни на миг.
И ждали люди,
локтем чуя локоть —
соседа локоть...
Тишина была.

И ничего не видно,
только клетот
стального
разъяренного орла.
Проходит час,
а может быть, минута,
а может быть,
тяжелый долгий век,
и вот — момент
до бесконечья жуток —
летит, не раскрывая парашюта,
из облака на землю человек.
И смотрят все в смятенье и истоме,
смешав понятия слов и скоростей.
Еще секунда —
на аэродроме. . .
Сейчас, сейчас. . .
Но вдруг, переливая
цветами и заката и утра,
мелькнула в небе звездочка живая
и расцвела. . .
И крикнули — ура!
И страх ушел,
как будто вовсе не был,
и человек качался над тобой,
его берег
огромный купол неба,
оранжевый,
лиловый,
голубой.
И я повествованью не перечу,
когда скажу, что, задыхаясь, все
бежали с криком
храбрецу навстречу,
спеша через канавы и шоссе.

А он стоял смущенно и неловко
уже теперь совсем недалеко.
Поблескивала матово винтовка
в его еще мальчишеской руке.
Он шлем снимал,
увидели —

девичья
кудрявая сверкнула голова...
И замолчали все до неприличья,
пропали песни,
светлые слова.
А волосы витые, золотые,
и нос горбинкой,
чуточку смешной...
И только: «Люся, Люся, это ты ли?» —
сказал, себе не веря, Бережной.
Но все теперь опомнились.
Кричали,
другие радостно еще вдали.
А эти, прибежавшие вначале,
уже к ангарам Люсю повели.

1936

ВАРИАНТЫ

26. ВОСПОМИНАНИЕ

*«Нижегородская
Коммуна»,
1928, 5 августа*

День пропадает, догорев,
Передо мной вечерний город,
И непонятен барельеф
Исаакиевского собора.
Поньше я в толпе гуляк
Тоскую только по простору,
Пока безумный краковяк
Не переламывает шпору.
А он уже летит, нагнись,
Как перед смертью, как осока,
Его под говоры монист
Ведет угрюмый гармонист,
Закинув голову высоко.
И деньги падают звеня.
Они летят по снегу марта,
Они копыта у коня,
Лохмотья красные штандарта.
И гармонисту потому
Припоминать, наверно, горше
Опять войну, местечко в Польше:
Оно в пороховом дыму.
Оно под заревом атак.
Одна забава на стоянке
Играть, конечно, краковяк,
На той гармонике любимой.
Покуда бомба на карниз
Не прилетает. . . Слава богу. . .
Но в этот белый день горнист
По лагерям повел тревогу.
С высоким голосом своим
Она летела, словно птица, —
Когда упал в окопы к ним
На человеческие лица
Удушливый, зеленый дым.
И меркнет песенка подруги,
Лицо царапает клешня,
И вот — выламывая руки,
Солдаты падают плашмя.

И гармонисту потому
Припоминать, наверно, горше...
Какая черная гроза —
Война, измор, война, зараза,
Навек потеряны глаза,
И у слепца кипит слеза,
И может, слез не будет больше, —
Он обменял свои глаза
На краковяк веселой Польши.
И гармонисту потому
Запомнилась беда такая,
Когда в немыслимом дыму
Глаза на землю вытекают,
Под желтым заревом атак...
А в это время под руками
Летит, хохочет краковяк,
Постукивая каблуками.

29. БАРЫШНИК

Центавром он бродит у самой луны.

О. Берггольц

«Звезда», 1928,
№ 10, с. 44

Ого, ого — какому черту
На жеребце лететь на том...
И зубы медные горят,
И ноги черные дрожат —
Он жеребца берет за челку
И бьет по морде кулаком.
Хозяин хлопает ладонью,
Бессовестно, конечно, врет,
Берет барышника за грудки,
За эту цену отдает,
Берет полою недоуздок,
Барышнику передает.
И мокроты зелёный сгусток
Втирает в землю сапогом,
По жеребцу ревет, как сыч,
Пока не хлещет магарыч.
А рыбы пресных вод России
Лежат, и щука и сомы,
Горячей водкой оросили
Свои большие плавники,
Укропом резаным посыпали
И луком белые бока...
— Поешьте, милые сударики,
Она не тухлая пока...
Барышник бронзовой скобою
Намасленных волос горит,
Барышник хвастает собою,
Бахвал — с конями говорит.

Дрожат и пляшут табуны,
Ревут и пышут жеребцы,
Опять кобылы влюблены,
По гривам ленты вплетены,
С боков играют сосунки,
Визжат веселые сынки.
И, как барышник, — звонок, рыж,
Поет по кошелям барыш.
А водка хлещет четвертями,
Коньяк багровый — полведра.
И черти с длинными когтями
Ревут и прыгают с утра.
На пьяной ярмарке, на пышной,
Хвостун, бахвал, кудрями рыж,
За всё, за барышню барышник,
Конечно, отдает барыш.
И улетает с табунами,
Хвостами плещут табуны
Над сосунками, над полями,
Над появлением луны.

А белые над ними дни
Высокого огня белее. . .
Цыган, цыган — твои огни,
И кони дохлые уже
В этнографическом музее,
Но вот — барышник при ноже,
При табуне, при седине. . .
И рвань летит на эту просесть,
И хохот падает, когда
Он золотую цену просит
За одичалого коня
И плачет с горем — с табунами. . .
Хвостами плещут табуны.
Над сосунками, над полями,
Над появлением луны.

85

*«Звезда»,
1930, № 4
с. 60
После 36*

Чудовище, мой добрый дух
и голос мой, и рост —
спросонья схваченный петух
щупальцами звезд.

После 55

А утро близкое идет
сегодня, как вчера, и вот
звезда желта,
и ночь тиха,
темна — нигде ни зги,
и стынут крылья петуха
над прахом мелюзги.

Сегодня, как вчера, — опять
в 12, в 2 и в 5
он на работе, о стране
напоминает мне.

69

*«Юный
пролетарий»,
1932,
№ 36, с. 1
После 13*

Новый год изображался деткой,
что вполне понятно — молодой.
Старый — с длинной, путаной и редкой,
словно из мочалы, бородой.

73

*«Юный
пролетарий»,
1932,
№ 27, с. 3
После 16*

И с легкой песней скоро
Шагнет на серый мол
Последнего набора
Веселый комсомол.

Кругом рабочие придут от самого
От сердца черной литой земли,
Опять республика пускает заново
И кровь и силу в корабли.

После 24

Учеба и работа,
Ребята, впереди —
До золотого пота
На молодой груди.

Синеет палуба — дорога скользкая,
Качает досыта на корабле,
Но юность кованая, комсомольская
Идет по палубе, как по земле.

После 32

Ничто нас не скосило,
Не спутало следы, —
Мы — шефы, кровь и сила
Крутой морской воды.

102

*Автограф
После 34
(зачеркнуто)*

Может быть, она не любила,
Но прощала мои грехи
И на цыпочках уходила,
Если я сочинял стихи.

И любимая ли? . . . А впрочем,
Как угодно ее назови —
расстояния нет короче,
чем от вымысла до любви.

Автограф
После 38
(зачеркнуто)

Позабуду. Работать буду,
Ты, пожалуйста, не скучай.
На пятнадцать лет позабуду
И варенье твое и чай.

Вдруг припомню. Звон комариный,
предвечерние небеса,
пахнет ягодой малиной,
может, звали ее Ириной —
будет скучно на полчаса.

112

Автограф
После 34
(зачеркнуто)

На площадях слепило нас от света,
она сказала тихо на ходу:
— Иду на перевыборы Совета,
по городу, по нашему иду.

После 62
(зачеркнуто)

Зима пришла — через леса, по травам,
Шагнула, грозная, через реку,
Еще вчера мы голько сняли траур
по лучшему из нас большевику,
убитому из-за угла герою,
чтобы теперь на долгие века
быть яростнее и сильнее второе
во имя славного большевика

147

Автограф
(черновик)
Начало поэмы

Зима росла.
Ветра из переулков
Охажками выбрасывали снег.
На Петергоф,
На Царское,
На Пулков,
На злобу,
На страдание,
На смех.

«Юный
пролетарий»,
1934, № 13,
с. 10;
«Новый мир»,
1935,
№ 3, с. 28
Начало
поэмы

Попархивая, мельтеша и тая,
зима пришла — тяжелая, литая,
и снег свинцовой тушею залег —
на севере — сугробом и завалом,
лишь Петроград довольствовался малым —
снежинка за снежинкой...
мотылек.

Автограф
(зачеркнуто)
После 20

Из горя формируют эскадроны,
из бедности — дивизии штыков;
и кровью вымыты аэродромы
дымящейся,

густой
большевиков.
Из молодости партии разведок,
а санитарный поезд — из любви,
и только так, страна,
и только этак,
республика,
иди переживи.

*«Юный
пролетарий»,
1934,
№ 13, с. 11;
«Новый
мир», 1935,
№ 3, с. 29
После 60*

И лишь по ненаписанным приказам,
почуя вдоволь прибыльные дни,
на лестницах,
по улицам,
по хазам
расставлены грабеж и западни.
И редко-редко выглянет свиная
личина изумленная луны,
когда мелькнут, прохожего сминая,
через забор, как с неба, «прыгуны».
Из простыней смастреченный нарядец —
и для бандита — масленица, рай,
и плавай в мутном мире неурядиц,
и убивай, воруй и обирай.
Еще орел топорщится двуглавый,
и браунинги разговор ведут,
и по квартирам запертым с облавой
и с арестом и с обыском идут.
Вот почему — квартиры на засовы,
и в облаке застывшем тишины
все люди, белоглазые как совы,
запуганы и вооружены.

*Автограф
После 241*

Не доходя Литейного проспекта
Семену померещилось в жару —
Что не поземка зимняя, а секта
Его швырнула в богову игру.

*Автограф
После 325
(зачеркнуто)*

Глаза и нос, и вьюга над Семеном,
Морозное сияние во рту.
И с посвистом и с грохотом, со звоном
в холодную упали темноту.
Его ночные поглотили недра,
Красноармейца, командира, негра,
Казалось, где-то грянули «ура» —
И кинулся тогда Добычин следом,
Но голова его кипела бредом,
тифозная окутала жара,
виденья перепутались и вралы...
и понесло

*Автограф
После 410*

Так мы умрем.
Спасти уже не в силах
Ничто, никто.

Мы рухнем, как дубы,
на серое полотнище носилок,
и впереди — мертвецкая,
гробы.

Добычин бредит.

Золото и пламень.
Кипящие раскинуты пески.
Ступню босую прожигает камень,
и голова разбита на куски.
Но все-таки в его сознание рваном
он вдаль идет вослед за караваном.
На неграх стопудовые тюки.
Курчавы негры.
Кожа вся лилова.
Они идут, не говоря ни слова,
Широкоплечи, злы и высоки.
Их сотни две.
А может, больше — триста.
До пояса они обнажены.
Ни говора,
ни песенки,
ни свиста,
ни слова — посредине тишины.
Они идут —
идет за голым голый
по Африке, огнями залитой.
Покрытый шляпою широкополой,
Их бьет погонщик палкой золотой.
И тишина.
Хотя бы легкий лепет,
пески текут, смывая все следы.
Они идут.
А солнце жжет и слепит,
и пепелит. . .
Хоть капельку воды. . .
Они идут.
Добычин ищет. . .
Где он,
Что шел тогда через войны грозу?
Ужель бекешу тонкую раздел он
и сапоги шевровые разул?
Найти его. . .
Добычин ищет —
вот он, в папахе он,
но звон его зачах,
но залито лицо блестящим потом,
и тюк лежит обвалом на плечах.
Но руки опускаются плохие,
он выше был —
теперь не так высок,

тесны ремни нагрудные сухие,
и шпоры задевают за песок.
Всё как тогда —
и сабля и папаха...
Он отстает,
он падает,
и в зной —
врывается свистящая с размаха,
сияя, палка
в палец толщиной.
Еще, еще...
И он встает, тяжелый,
и шпора звякнула на каблуке.
Убей его!
Вот он — в широкополой,
хрустящей шляпе,
с палкою в руке.
Но он идет вослед за караваном,
за неграми —
и тюк на плечи лег —
по Африке,
по зыби и по рвам он,
по Африке...
И путь его далек.

Опять Добычин в темноте бредовой.
Нет никого.
Замыло все следы.
Но на плечах огонь многопудовый,
и губы шелестят его: воды...
Потом — стрельба.
И люди —
с коней...
Скорей...
В кустарники рывком
влетает озверелая борзая
и по земле волочит языком
и нюхает.

И тишина.
Но только на мгновенье.
Опять светло и зелено в саду.
И где-то бьют копыта о камень,
и кони ржут
и хрипнут на ходу.

*Автограф
После 656*

Его уносит снежною рекою —
бойца и негра —
в северную ночь...
Скажу наверно —
зрелище такое,
пожалуй, и здоровому невмочь.

ПРИМЕЧАНИЯ

При жизни поэта вышло шесть сборников его стихотворений: «Молодость» (1928), «Первая книга» (1931), «Все мои приятели» (1931), «Книга стихов» и «Стихи и поэмы» (1933), «Новое» (1935); отдельным изданием выходили поэмы: «Триполье» (дважды, в 1933 и 1934 гг.) и «Моя Африка» (1935). Сохранилась также верстка книги «Избранное», которая должна была выйти в 1936 г., но так и не увидела света. Первое посмертное издание стихотворений и поэм Бориса Корнилова, предпринятое издательством «Советский писатель» в 1957 г., после реабилитации поэта, и повторенное в 1960 г., не охватывает всего созданного Корниловым. Потребовалось время, чтобы собрать стихи и поэмы, разбросанные по газетам и журналам, уцелевшие рукописи.

В данной книге собраны стихотворения Корнилова, сохраняющие художественную ценность. В конце книги приводится перечень стихотворений, не вошедших в книгу, с указанием, где и когда они были опубликованы. Возможно, что некоторые стихотворения, затерявшиеся в газетах или напечатанные под псевдонимами, еще не найдены.

Все стихотворения расположены в хронологическом порядке. В особый раздел выделены поэмы.

В разделе «Варианты» приводятся наиболее значительные варианты и черновые наброски стихотворений и поэм.

Все тексты приводятся по последней прижизненной публикации.

Там, где точные даты установить не удалось, произведения датируются по году первой публикации, в угловых скобках.

В примечаниях указывается место первой публикации и те издания, в которых текст подвергался изменениям; даются необходимые пояснения к тексту. Все отточия в тексте — авторские.

Большая часть рукописей Корнилова погибла. В Рукописном отделе Института русской литературы (Пушкинский Дом) в Ленинграде хранится рукопись сборника «Все мои приятели», расклейка наборного экземпляра книги «Новое» и гранки сборника «Избранное», а также две черновые тетради Корнилова: первая со стихами 1934—1935 гг. (в оранжевом переплете), подаренная поэту в сентябре 1934 г. Зинаидой Райх, с шутливой надписью: «От

поставщицы бумажных изделий для Бориса Корнилова»; вторая — темно-коричневая тетрадь, содержащая большую часть рукописи поэмы «Моя Африка» и ряд стихотворений 1935—1936 гг.

Составитель выражает благодарность за помощь, оказанную ему при подготовке рукописи, матери поэта Т. М. Корниловой, О. Ф. Берггольц, Л. А. Заманскому, А. А. Гроссман и П. П. Ширмакову, К. И. Поздняеву.

Сокращения, принятые в примечаниях

- «Все мои приятели» — Б. Корнилов, Все мои приятели. Стихотворения 1930—1931, Л.—М., без даты.
«Избранное» — Б. Корнилов, Избранное, стихотворения. Гранки с правкой (1936). Архив ГИЗа, Лен. отд. (Рукописный отдел Института русской литературы).
«Книга стихов» — Б. Корнилов, Книга стихов, Л.—М., 1933.
«Молодость» — Б. Корнилов, Молодость. Стихи, Л., 1928.
«Новое» — Б. Корнилов, Новое, Л., 1935.
«Первая книга» — Б. Корнилов, Первая книга. Стихотворения 1927—1931, Л.—М., «Молодая гвардия», 1931.
«Стихи и поэмы» — Б. Корнилов, Стихи и поэмы, Л., 1933.

СТИХОТВОРЕНИЯ

Книга «Молодость» вышла в 1928 г. в Ленинграде, в изд-ве «Красная газета», как приложение к журналу «Резец», с посвящением Ольге Берггольц и с эпиграфом из стихотворения Э. Багрицкого «Контрабандисты» (1927):

Так бей же по жилам,
Кидайся в края,
Бездомная молодость,
Ярость моя.

В последующие издания автор включал только некоторые стихи из первого сборника.

1. «Звезда», 1927, № 2, с. 77, под заглавием «Про родное». Печ. по сб. «Молодость», с. 9. Положено на музыку Г. В. Свиридовым (под заглавием «Лесная сторона»). *Кулига* — лесная поляна, небольшой покос в лесу.

2. «Смена», 1926, 21 марта.

3. «Юный пролетарий», 1926, № 9, с. 10. *Всадник, скомканный из меди* — Медный всадник, памятник Петру I в Ленинграде работы Фальконе.

4. «Смена», 1926, 28 ноября.

5. «Звезда», 1926, № 3, с. 68, без эпиграфа. Печ. по сб. «Молодость», с. 21. Эпиграф — частушка.

6. «Юный пролетарий», 1926, № 12, с. 21; «Резец», 1927, № 12. Печ. по сб. «Молодость», с. 23.
7. «Молодость», с. 33.
8. «Смена», 1927, 11 декабря, под заглавием «За стеной»; «Резец», 1927, № 12, под заглавием «Девичье». Печ. по сб. «Молодость», с. 37.
9. «Смена», 1926, 23 мая. Печ. по сб. «Молодость», с. 54.
10. «Резец», 1927, № 47, с. 1. Печ. по сб. «Молодость», с. 56. Эпиграф — заключительные строки баллады Н. Асеева «Черный принц». *Викинги* — древние скандинавские морские пираты, сочтавшие разбой с торговлей. *Марат Жан-Поль* (1743—1793) — выдающийся французский политический деятель конца XVIII в. Его именем был назван один из линейных кораблей Балтийского флота.
11. «Смена», 1927, 16 января. Печ. по сб. «Молодость», с. 10.
12. «Смена», 1927, 20 ноября. Эпиграф — 1-я строка из стих. Ф. И. Тютчева «Весенняя гроза».
13. «Резец», 1927, № 26, с. 8. *Елоха* (обл.) — ольха.
14. «Смена», 1927, 12 марта, под заглавием «Дом в лесу»; сб. «Кадры», Л., 1928, под заглавием «Лесной домик». Печ. по сб. «Молодость», с. 35.
15. «Резец», 1927, № 36, с. 12. Печ. по сб. «Первая книга», с. 73.
16. «Резец», 1927, № 8, с. 1.
17. «Молодость», с. 11.
18. «Молодость», с. 27.
19. «Резец», 1927, № 12, с. 8. Печ. по сб. «Молодость», с. 29.
20. «Смена», 1927, 9 октября, с посвящением Т. Степениной, школьной подруге поэта; «Стихи и поэмы» и «Первая книга», без заглавия. Печ. по сб. «Избранное».
21. «Молодость», с. 47.
22. 1-я часть — «Смена», 1927, 21 августа; 2-я часть — «Юный пролетарий», 1928, № 3, с. 7. Печ. по сб. «Молодость», с. 50. *Каледин, Юденич* — царские генералы, организаторы белогвардейской добровольческой армии. *Страдивариус* (Страдивари, 1644—1737) — знаменитый итальянский скрипичный мастер. *Татьяна* — героиня оперы Чайковского «Евгений Онегин». *Маргарита* — героиня оперы

Гуно «Фауст». *Тамара* — героиня оперы Рубинштейна «Демон». *Суламиць* — героиня одноименной оперы Рубинштейна.

23. «Первая книга», с. 75, под заглавием «Последнее письмо на родину». Печ. по сб. «Книга стихов», с. 85.

24. «Молодость», с. 25. *Я уйду с толпой цыганок* и т. д. — из стих. Я. Полонского «Песня цыганки».

25. «Молодость», с. 39. Печ. по сб. «Первая книга», с. 86.

26. «Литературное приложение» к «Ленинградской правде», 1928, 6 мая, № 104; «Нижегородская коммуна», 1928, 5 августа, под заглавием «Воспоминание». Печ. по журналу «Резец», 1928, № 28, с. 3.

27. «Нижегородская коммуна», 1928, 18 ноября, под заглавием «Начало культуры»; то же — «Смена», 1929, 19 мая. Печ. по альманаху «Мы», М.—Л., «Молодая гвардия», 1931, с. 23. *Батый* (Бату) — монгольский хан, основатель Золотой орды. *Царь Иван Васильевич* — Иван Грозный (1530—1584).

28. «Смена», 1928, 14 октября. Печ. по сб. «Первая книга», с. 94.

29. «Звезда», 1928, № 10, с. 44, под заглавием «Барышник». Печ. по сб. «Стихи и поэмы», с. 46.

30. «Звезда», 1929, № 4, с. 104; «Первая книга». Печ. по сб. «Стихи и поэмы», с. 87.

31. «Ленинград», 1930, № 1, с. 12, с посвящением Ольге Берггольц и редакционным примечанием: «Редакция помещает это талантливое стихотворение как характерный показатель отказа околопролетарского поэта от путей пролетарской литературы...». Печ. по сб. «Стихи и поэмы», с. 93.

32. «Первая книга», с. 81.

33. «Первая книга», с. 78.

34. «Звезда», 1929, № 9, с. 49.

35. «Звезда», 1930, № 4, с. 60.

36. «Звезда», 1930, № 2, с. 24. Эпиграф — из стих. В. Нарбута «Чета» (сб. «Плоть», быто-эпос, Одесса, 1920),

37. «Резец», 1930, № 13, с. 14.

38. «Все мои приятели», с. 42.

39. «Стихи и поэмы», с. 91.

40. «Первая книга», с. 96.

41. «Новый мир», 1931, № 2, с. 54.

42—50. Полностью — «Все мои приятели», с. 44. Цикл написан в результате творческой командировки от Ленинградской киностудии в Азербайджан. Корнилов совершил эту поездку летом 1930 г.

1. «Первая книга», с. 25 и «Все мои приятели», с. 44.

2. «Все мои приятели», с. 45. *Кавказ предо мною* — перефразировка первой строки стих. Пушкина «Кавказ». *Второй по ранжиру российский поэт* — М. Ю. Лермонтов. Корнилов имел в виду изображение Лермонтовым царицы Тамары в стих. «Тамара». *Строка Пастернака* — стих. Б. Пастернака «Памяти Демона». *Владимир Владимирович зарычал* — см. стих. Маяковского «Тамара и Демон».

3. «Первая книга», с. 27 и «Все мои приятели», с. 48.

4. «Звезда», 1931, № 6, с. 91. *СТО* — Совет труда и обороны. *ВСНХ* — Высший совет народного хозяйства. *НКПС* — Народный комиссариат путей сообщения. *Бухта Ильича, Сураханы, Сабунчи, Биби-Эйбат* — районы нефтедобычи вблизи Баку. *Генри Детердинг* (1866—1939) — один из крупнейших английских «нефтяных королей», вдохновителей антисоветской интервенции на юге.

5. «Звезда», 1931, № 6, с. 92. *Правительство временное* — поэт имеет в виду правительство мусаватистов, захвативших после революции власть в Азербайджане. *Билл Окинсы* — обобщенное наименование английских солдат. *Редьярд Джозеф Киплинг* (1865—1936) — английский поэт и прозаик, крупнейший певец английского империализма.

6. «Звезда», 1931, № 6, с. 93.

7. «Звезда», 1931, № 6, с. 94. *Британский лев* изображен на государственном гербе Англии.

8. «Первая книга», с. 35 и «Все мои приятели», с. 54. *Тюрчанки* — бытовавшее в 20-е годы название азербайджанок.

9. «Первая книга», с. 37 и «Все мои приятели», с. 55.

51. «Ленинград», 1931, № 2, с. 3. Печ. по сб. «Все мои приятели», с. 10.

52. «Все мои приятели», с. 13.

53. «Все мои приятели», с. 19.

54. «Все мои приятели», с. 22.

55. «Все мои приятели», с. 25.

56. «Первая книга», с. 88.

57. «Стройка», 1931, № 11, с. 13, с посвящением Вл. Маяковскому. Печ. по сб. «Первая книга», с. 55, где посвящение заменено эпиграфом из стих. Маяковского «Сергею Есенину». *Нарвская застава и Охта* — районы Ленинграда.

58. «Стройка», 1931, № 17-18, с. 21, под заглавием «Подруга». Печ. по сб. «Книга стихов», с. 90.

59. «Все мои приятели», с. 61. Доклад Саянова был прочитан 8 января 1931 г. на пленуме ЛАПП — Ленинградской ассоциации пролетарских писателей. Г. С. *Фиш* начинал свой творческий путь как поэт, был членом ЛАПП. Л. И. *Левин* — литературный критик. В. П. *Друзин* — критик и литературовед, в конце 20-х и в 30-е годы выступал со статьями по вопросам поэзии. А. Е. *Горелов* — критик, литературовед. *Литфронт* — рапповская группировка, существовавшая под этим названием с августа по ноябрь 1930 г. *Пар чаепитий*. Корнилов имел в виду свое стих. «Чаепитие». *À la naturelle* (франц. à la naturelle) — в собственном виде. *Пуанкаре* (1860 — 1934) — французский политик, деятельность которого по подготовке первой мировой войны снискала ему прозвище «Пуанкаре-Война», один из главных организаторов антисоветской интервенции в годы гражданской войны.

60. «Звезда», 1931, № 5, с. 108. Печ. по сб. «Все мои приятели», с. 3. Эпиграф — из стих. Пушкина «19 октября» («Роняет лес багряный свой убор...»). Стихотворение адресовано друзьям Корнилова по комсомольской работе в Семеновском уездном комитете ВЛКСМ. Михаил *Кузнецов* — ныне пенсионер. Алексей Павлович *Егоров* — бывший член Семеновского уездного комитета комсомола, в настоящее время пенсионер. Василий Фаддеевич *Молчанов* с 1924 г. работал в Семеновском военкомате. *Батальоны ЧОНа* — части особого назначения по борьбе с контрреволюционными бандитскими отрядами. В. Ф. Молчанов часто рассказывал Корнилову, с которым очень дружил, о боевых операциях чоновских батальонов. Сведения о том, что Корнилов служил в одном из отрядов ЧОНа, опровергаются матерью поэта.

61. «Все мои приятели», с. 28, с посвящением Николаю Слепневу (был редактором журнала «Стройка»). Печ. по сб. «Стихи и поэмы», с. 11.

62. «Юный пролетарий», 1932, № 33, с. 10. Печ. по сб. «Стихи и поэмы», с. 8.

63. «Юный пролетарий», 1932, № 30, с. 4, под заглавием «Октябрьская песня»; «Еж», 1932, № 19-20, с. 6, под заглавием «Питерская молодежь». Печ. по сб. «Книга стихов», с. 15. Василий Петрович *Алексеев* (1896—1919) — один из организаторов комсомола в Петрограде, первый редактор журнала «Юный пролетарий», на страницах которого Корнилов печатался с 1926 г.

64. «Юный пролетарий», 1932, № 33, с. 11. Печ. по сб. «Стихи и поэмы», с. 24.

65. «Красная газета» (веч. вып.), 1932, 23 августа. Печ. по сб. «Книга стихов», с. 57.

66. «Литературный современник», 1933, № 1, с. 34; «Книга стихов», под заглавием «Весна». Печ. по сб. «Стихи и поэмы», с. 72.

67. «Литературный современник», 1933, № 1, с. 35, под заглавием «Осень». Печ. по сб. «Стихи и поэмы», с. 74.

68. «Звезда», 1932, № 12, с. 21.

69. «Юный пролетарий», 1932, № 36, с. 1. Печ. по сб. «Книга стихов», с. 74. *Герберт Уэллс* (1866—1946) — выдающийся английский писатель-фантаст.

70. «Красная газета» (веч. вып.), 1932, 11 августа; то же — «Звезда», 1932, № 8, с. 57. Печ. по сб. «Стихи и поэмы», с. 58. Рукопись стихотворения хранится у А. Д. Чуркина.

71. Написано для кинофильма «Встречный», музыка Д. Д. Шостаковича. Печ. по отдельному изданию Музгиза, Л., 1933. В годы, когда имя Корнилова было под строгим запретом, «Песня о встречном» продолжала звучать без упоминания имени автора текста. Песня выдержала 14 изданий на русском языке, не считая многочисленных песенников, и 3 издания на иностранных языках (английском, немецком и французском).

72. «Залп», 1932, № 7, с. 23, под заглавием «Красноармейская интернациональная». Печ. по сб. «Книга стихов», с. 9.

73. «Юный пролетарий», 1932, № 27, с. 3. Печ. по сб. «Книга стихов», с. 7.

74. «Книга стихов», с. 40.

75. «Книга стихов», с. 48.

76. «Книга стихов», с. 82. Печ. по сб. «Стихи и поэмы», с. 89.

77. «Красная газета» (веч. вып.), 1932, 6 ноября. Печ. по журналу «Звезда», 1932, № 10-11, с. 27. *Риза* — шитое золотом облачение священника. *Адмиралтейство* — здание в Ленинграде, выдающийся памятник архитектуры, созданный русским зодчим А. Д. Захаровым. *Веселые амазонки* — ироническое название женского батальона, охранявшего Зимний дворец за несколько дней до его штурма.

78. «Звезда», 1932, № 10-11, с. 29. Стихотворение, как и предыдущее, написано к 15-й годовщине Октябрьской революции.

79. «Стихи и поэмы», с. 49.

80. «Звезда», 1932, № 7, с. 66, под заглавием «Кулак». Печ. по сб. «Стихи и поэмы», с. 53.

81. «Книга стихов», с. 71. *Ус Вильгельма*. Имеется в виду последний немецкий император Вильгельм II. *Во спасенье Николая*. Имеется в виду последний русский царь Николай II.

82. «Книга стихов», с. 88.
83. «Книга стихов», с. 102.
84. «Книга стихов», с. 104.
85. «Книга стихов», с. 44.
86. «Книга стихов», с. 79.
87. «Звезда», 1933, № 4, с. 35. Печ. по сб. «Стихи и поэмы», с. 21. Валентин Иосифович *Стенич* (Сметанич) — переводчик.
88. «Литературный современник», 1933, № 6, с. 30. Печ. по сб. «Стихи и поэмы», с. 78.
89. «Книга стихов», с. 31.
90. «Книга стихов», с. 95. Печ. по сб. «Стихи и поэмы», с. 68. *Кузьма* Краюшкин — школьный товарищ поэта, впоследствии сельский учитель, убитый кулаками в деревне Зубово, Горьковской области.
91. «Известия», 1934, 24 мая; «Юность», 1962, № 1. Печ. по рукописи. *Торгсин* — государственный специализированный магазин в 30-х годах.
92. «Известия», 1934, 18 июня, под заглавием «Века прославят». Печ. по рукописи. В августе 1933 г. пароход «Челюскин» вышел из Мурманска во Владивосток по Северному морскому пути, а 13 февраля 1934 г. был раздавлен льдами в Чукотском море; участники экспедиции на самолетах были доставлены на материк. *Г. М. Димитров* (1882—1949) — выдающийся деятель болгарского и международного революционного движения, в 1933 г. арестованный фашистами в Берлине по ложному обвинению в поджоге рейхстага, после судебного процесса — 27 февраля 1934 г. — приехал в СССР. *О. Ю. Шмидт* (1891—1956) — выдающийся советский ученый, один из крупнейших исследователей Арктики, возглавлял экспедицию на «Челюскине».
93. «Известия», 1934, 1 августа. Написано к 20-й годовщине начала первой мировой войны.
94. «Известия», 1934, 6 августа, под заглавием «Шуточное сказание о герое гражданской войны товарище Громобое». Печ. по сб. «Новое», с. 65.
95. «Известия», 1934, 6 августа. Печ. по сб. «Новое», с. 67.
96. «Звезда», 1934, № 4, с. 30. Печ. по сб. «Новое», с. 7. Эпиграф — из стих. А. Блока «Поэты». Стихотворение было закончено через 15 дней после смерти Багрицкого. *Тиль Уленшпигель* и *Лам-же* — из книги бельгийского писателя Шарля де Костера, любимые герои Э. Багрицкого. *Гёзы* — прозвище народных повстанцев-партизан, которые вели борьбу с господствовавшими над Нидерландами

испанцами в XVI в. *Охотник, поэт, рыбовод* — перефразированная строка из стих. Багрицкого «Вмешательство поэта». *Опанас* — герой поэмы Багрицкого «Дума про Опанаса». *Ах, Черному, злому, ах, морю* — перефразировка строки из стих. Багрицкого «Контрабандисты». *И молодость — горькой и злой кидается, бьется по жилам...* Перефразировка из того же стихотворения. *Вдыхая дымок от астмы*. В последние годы жизни из-за болезни Багрицкий должен был вдыхать астматол. *И тут же начнет меж нас его подмосковный зяблик* — перефразировка строк Багрицкого из его эпитафии к поэме «Человек предместья». *Двустволка — его подарок*. Багрицкий подарил Корнилову охотничье ружье.

97. «Известия», 1934, 12 июля. Автограф, под заглавием «Ревность». Печ. по сб. «Новое», с. 38.

98. «Литературная газета», 1959, 1 августа, с пометой «Из неопубликованного». Печ. по рукописи.

99. «Вечерняя Красная газета», 1934, 19 мая.

100. «Юный пролетарий», 1934, № 23, с. 17. Автограф (коричневая тетрадь).

101. «Известия», 1934, 24 августа. Корнилов был делегатом от ленинградской писательской организации на Первом Всесоюзном съезде писателей, состоявшемся в 1934 г. в Москве. *Сулейман Стальский (1869—1937)* — дагестанский ашуг, делегат съезда писателей.

102. «Смена», 1934, 30 октября, с пометой «Из книги „Лирика“». Автограф (оранжевая тетрадь). Печ. по журналу «Юный пролетарий», 1934, № 23, с. 16 (то же — «Звезда», 1934, № 11).

103. «Известия», 1935, 1 января; то же — «Литературный Ленинград», 1935, 1 января.

104. «Известия», 1935, 1 мая.

105. «Известия», 1934, 30 мая, под заглавием «О медведе»; то же — «Литературный Ленинград», 1934, 8 июля. Печ. по сб. «Новое», с. 52.

106. «Литературная Россия», 1964, № 48, с. 11.

107. «Известия», 1934, 30 августа.

108. «Известия», 1934, 18 сентября. Печ. по гранкам «Избранное». *Соловки* — древний монастырь на Белом море.

109. «Известия», 1934, 24 ноября (опубликовано в 15-ю годовщину разгрома армии Деникина). Печ. по сб. «Новое», с. 70. *Галиция, Львов, Воронеж, Касторная* — путь Первой Конной, которой командовал С. М. Буденный. *Мамонтов, Шкуро* — белогвар-

лейские генералы, чьи банды были разгромлены бойцами Первой Конной армии «С неба полуденного» — первая строка популярной песни о Первой Конной Н. Н. Асеева. *Выдох на на* — сознательно заимствовано у И. Сельвинского.

110. «Известия», 1934, 3 декабря.

111. «Известия», 1934, 6 декабря, под заглавием «Свое» — главы: 1-я, 4-я, 5-я; «Смена», 1934, 12 декабря — главы: 2-я, 3-я; то же — «Юный пролетарий», 1934, № 23, под заглавием «Я поверить никак не мог»; полностью — сб. «Новое», с. 21. *Маркизова лужа* — ироническое название части Финского залива, от устья Невы до Кронштадта, за его незначительную глубину, бытующее со времен царствования Александра I, когда пост морского министра занимал маркиз де Траверсе. *Елагин, Голодай* — острова в устье Невы; Елагин входит в группу островов, переименованных в Кировские; Голодай — переименован в остров Декабристов: здесь были преданы земле тела казненных декабристов.

112. Печ. по рукописи.

113. «Известия», 1935, 15 июня. Последний раз Корнилов гостил у своих родителей в г. Семенове в 1934 г., после съезда писателей.

114. «Литературный современник», 1935, № 6, с. 33. Корнилов родился в селе Покровском, а в деревню *Дьяково* родители привезли его в 1910 г. Мать поэта Таисия Михайловна Корнилова вспоминает: «В 1910 г. мы переехали ближе к Семенову, в Дьяковскую школу. Там дети подросли и обучились... Жизнь на их долю выпала тяжелая. Трудные годы: война 1914 г. Муж был в армии до 1920 года и вернулся домой после перенесенного тифа. Голод и болезни заставляли заняться сельским хозяйством. Получив полосу земли от общества, посеяли рожь, потом овес, так работали до 1922 года, в деревне Дьяково. Дети, несмотря на малый возраст, всегда помогали в сельскохозяйственных работах на огороде и в поле. Борис до пятилетнего возраста самоучкой научился за 1-й класс, находясь на уроках отца, полюбил литературу в раннем возрасте и много читал. В 1922 году мы переехали в Семенов, купив маленький домишко на Крестьянской улице. Теперь эта улица носит имя Бориса Корнилова».

115. «Юный пролетарий», 1935, № 10, с. 2. *Лакта* — приморский пригород Ленинграда.

116. «Литературный современник», 1935, № 11, с. 50.

117. «Молодая гвардия», 1935, № 7, с. 22.

118. «Юный пролетарий», 1935, № 17-18, с. 11.

119. «Юный пролетарий», 1935, № 16, с. 29; то же — «Новый мир», 1935, № 8, с. 69. Это стихотворение и два последующих связаны с путешествием Корнилова по Кавказу.

120. «Юный пролетарий», 1935, № 16, с. 29; то же — «Новый мир», 1935, № 8, с. 69.

121. «Юный пролетарий», 1935, № 16, с. 30; «Новый мир», 1935, № 8, с. 70, без заглавия.

122. «Смена», 1935, 7 ноября. Написано к 18-й годовщине Октябрьской революции. *Александровский централ* — одна из каторжных тюрем царской России, в 76 километрах от Иркутска. *Битва на Карпатах*. Имеются в виду эпизоды империалистической войны 1914 г. А. С. *Стаханов* (р. 1905) — шахтер, в 1935 г. на шахте «Центральная-Ирмино» в Донбассе установил рекорд, добыв за 5 ч. 45 м. 102 тонны угля, что соответствовало 14 нормам. Трудовой подвиг Стаханова нашел широкий отклик по всей стране, началось массовое движение за высокую производительность труда.

123. «Поэтический год, 1962», Горький, 1962, с. 115 (с искажениями); «Литературная Россия», 1963, № 37, под заглавием «Из поэмы „Геологи“». Печ. по рукописи. Эпиграф — из стих. О. Мандельштама «Только детские книги читать. . .»

124. «Огонек», 1936, № 15, с. 18.

125. «Новый мир», 1936, № 5, с. 48.

126. «Новый мир», 1936, № 5, с. 47.

127. «Юный пролетарий», 1936, № 7-8, с. 24. Под заглавием «Краснофлотская песня» (музыка И. О. Дунаевского) — в кинофильме «Путь корабля», Белгоскино, 1935 г.

128. «Новый мир», 1936, № 3, с. 17.

129. «Молодая гвардия», 1936, № 7, с. 79. Григорий Иванович *Котовский* (1881—1925) — выдающийся полководец времен гражданской войны, командир кавалерийского корпуса, в 1920 г. руководил борьбой против банд Махно.

130. «Литературный современник», 1936, № 9, с. 55.

131. «Звезда», 1936, № 11, с. 4.

132. «Литературный современник», 1936, № 11, с. 40.

133. «Литературный современник», 1936, № 1, с. 42.

134. «30 дней», 1936, № 6, с. 35. Печ. по журн. «Юность», 1962, № 1, с. 61.

135. «Огонек», 1936, № 29, с. 20; то же — «Молодая гвардия», 1964, № 12, с. 279. До Великой Отечественной войны 1 сентября отмечалось как праздник молодежи — Международный юношеский день (МЮД).

136. «Юный пролетарий», 1936, № 20, с. 38. Весь номер журнала был посвящен приближавшейся столетней годовщине со дня

гибели А. С. Пушкина. *Всадник топчет медную змею*. Имеется в виду памятник Петру I в Ленинграде («Медный всадник»). О. А. Кипренский (1782—1836) — знаменитый русский художник, написавший в 1827 г. портрет А. С. Пушкина. С. С. Уваров (1786—1855) — с 1834 г. министр народного просвещения, реакционер, злейший враг Пушкина. Романов Николай I (1796—1855) — русский император. *Аничков* — дворец в Петербурге, в котором устраивались придворные балы. *На Конюшенной сверну домой*. Корнилов жил в доме № 9 на канале Грибоедова, который одним крылом выходит на Малую Конюшенную улицу (ныне улица Софьи Перовской).

137. «Литературный современник», 1937, № 1, с. 57. Этим стихотворением открывался цикл стихов о Пушкине, который был написан, вероятно всего, осенью или в конце 1936 г. *Увозят Пушкина украдкой*. Тело Пушкина было увезено тайно, ночью, из Петербурга в Святогорский монастырь. *Третье отделение* — орган политического сыска и следствия в царской России, образованный Николаем I 3 июля 1826 г., после восстания декабристов.

138. «Литературный современник», 1937, № 1, с. 59.

139. «Литературный современник», 1937, № 1, с. 60. *Роняет молча пистолет* — строка из романа Пушкина «Евгений Онегин». *Два Александра* — Пушкин и Грибоедов. Иван Иванович *Пушкин* (1793—1859) — один из близких друзей Пушкина. В январе 1825 г. посетил ссыльного Пушкина в Михайловском.

140. «Литературный современник», 1937, № 1, с. 62.

141. «Литературный современник», 1937, № 1, с. 63. Публий *Овидий Назон* (I в.) — римский поэт, был сослан по приказу императора Августа в г. Томы, на берегу Черного моря.

142. «Звезда», 1937, № 1, с. 11. *Сын, убийца своего отца*. Александр I (1777—1825) принимал участие в заговоре против своего отца, императора Павла I, убитого 12 марта 1801 г. *О громадной Африке своей*. Имеется в виду строка из романа Пушкина «Евгений Онегин»: «Под небом Африки моей».

ПОЭМЫ

143. «Юный пролетарий», 1932, № 33, с. 10 — «Песня революционных казаков» (она же — самостоятельно — в сб. «Книга стихов»); «Рабочий и театр», 1932, № 35-36, с. 38 — отрывок (с кратким редакционным предисловием), со строки: «Всю войну я страдаю рыдая...» до строки: «И царствие небесное мамаше...». Полностью — в кн. «Стихи и поэмы», с. 117. Как сообщила ленинградская литературная газета «Наступление» от 28 марта 1932 г., Б. Корнилов в столовой Ленкублита (Ленинградская комиссия по улучшению быта литераторов) 17 марта в присутствии В. Стенича, Ю. Берзина, Н. Чуковского, В. Орлова, З. Штейнмана читал

«Соль», новые стихи и первый акт либретто «Улица трех коммунистов», 9 августа 1934 г. в «Вечерней Красной газете» была опубликована беседа с Корниловым. Он говорил: «Мне предстоит большая, серьезная работа над пьесой в стихах, которую я буду писать для театра Вс. Мейерхольда. Пьеса эта о зажиточной колхозной жизни, о классовой борьбе в деревне». Годом позже в газете «Литературный Ленинград» от 8 сентября 1935 г., в статье «Вс. Мейерхольд о путях своей работы» отмечалось: «Кроме того, для нас работают над пьесами ленинградский поэт Б. Корнилов (стихотворная пьеса на колхозном материале)...» Возможно, что «Улица трех коммунистов» и была той пьесой, которую Корнилов писал для театра Мейерхольда и первый акт которой читал еще 17 марта 1932 г. Мать поэта рассказывала, что Корнилов и Мейерхольд собирались в 1935 г. приехать в Семенов. Этот приезд мог быть связан с «Улицей трех коммунистов» — одна из улиц Семенова носит такое название в честь трех комсомольцев, погибших от руки кулацких бандитов. Комсомольцы были не только зверски убиты, но их тела были распилены пилой на части и брошены под вывороченный пенек. Только через несколько дней нашли их останки и похоронили в Семенове. Эта трагическая история, столкновение двух враждебных классовых сил, вполне могла быть завязкой пьесы. Возможно, что Корнилов и в дальнейшем продолжал работать над пьесой в стихах, но его архив погиб, и никаких следов этого произведения не осталось.

Постановку драматической поэмы «Соль» в камерном исполнении впервые осуществили студенты Ленинградского государственного института театра, музыки и кинематографии 28 февраля 1963 г., на вечере памяти Корнилова в ленинградском Доме писателей им. Маяковского.

144. «Смена», 1932, 7 ноября под заглавием «Наше поколение». Печ. по сб. «Книга стихов», с. 107. М. Ф. *Чумандрин* (1905—1940) — писатель, был одним из руководителей ЛАПП. *Оседлец* — в старину у украинцев длинный чуб на темени бритой головы. *Домушники, хипесницы* — из воровского арга. *Левшафан* (по имени огромного хищного животного в библейской мифологии) — нечто огромное, чудовищное. *Печально я гляжу* и т. д. — из стих. Лермонтова «Дума». *Антонов* — организатор эсеров-кулацкого восстания в Тамбовской губернии. *Виньон* (Вийон) Франсуа (род. ок. 1481 г.) — крупнейший французский поэт эпохи Средневековья.

145. «Звезда», 1933, № 7, с. 15, 3-я глава, под заглавием «Детство Сергея»; «Стихи и поэмы», с. 99, четыре главы (поэма осталась незаконченной). *Марсово поле* — в Ленинграде, на нем похоронены герои революции и гражданской войны.

146. «Смена», 1933, 5 октября, три главы: «Бог», «Банда Зеленого», «Допрос», с прозаическими авторскими вставками между главами и статьей Зел. Штейнмана (на той же полосе) о творчестве Корнилова — «Поэт большого поколения»; главы: «Допрос», «Банда Зеленого» — «Юный пролетарий», 1933, № 20, с. 14; глава «Второй Киевский» — «Литературный современник», 1933, № 10, с. 75; главы: «Коммунисты идут вперед» и «Конец Триполья» —

«Звезда», 1933, № 11, с. 34. Полностью — «Молодая гвардия», 1934, № 1, с. 4, с сокращениями и дополнениями. Первое отдельное издание — с датой выпуска: 1933 г. — в изд-ве «Молодая гвардия»; то же — сб. «Стихи и поэмы» (обе книги были подписаны к печати в декабре 1933 г.). В конце 1934 г. вышло 2-е издание поэмы, дополненное главой «Измена». Заключительная глава «Конец атамана Зеленого» впервые — «Красная звезда», 1934, 16 декабря, со значительными сокращениями. Полностью — «Звезда», 1935, № 1, с. 15. Печ. по гранкам «Избранное»; гл. «Измена» — по изд. 1934 г. Поэма посвящена одной из героических и трагических страниц истории гражданской войны. Летом 1919 г. войска генерала Деникина начали захватывать территорию Украины. На борьбу с бандами Деникина и его сподвижника, кулацкого атамана *Зеленого*, были мобилизованы украинские комсомольцы, вся киевская городская конференция комсомола. Созданный по решению конференции специальный комсомольский отряд влился в Киевский резервный коммунистический полк. Этот полк вместе с Шуляевским рабочим батальоном, которым командовал *Травиенко*, был направлен на разгром банды атамана Зеленого, которая после трехдневного боя была изгнана из местечка Триполье. Однако победа оказалась временной: командир красноармейского отряда, бывший офицер царской армии, переметнулся на сторону белых, и банда Зеленого внезапно напала на отдохавший после боев отряд. Силы были неравны, но коммунисты и комсомольцы во главе с *М. Шейниным* и *М. Ратманским* героически сражались до последних патронов, неоднократно бросаясь в штыковые атаки. Однако банде Зеленого удалось окружить отряд и прижать к Днепру. Зверски расправились бандиты с ранеными, только шесть человек из всего отряда спаслись вплавь через Днепр.

147. «Вечерняя Красная газета», 1934, 15 мая, отрывок, под заглавием «Роста в 1918 г.» (из поэмы «Моя Африка») — от строки: «Семнадцати — еще совсем зеленым...» до строки: «...красноармейца, спекулянта злого, того, другого, пятого, любого...», датировано: 1934 г. «Смена», 1935, 18 марта, три отрывка с авторскими прозаическими вступлениями: 1. «В моей новой поэме «Моя Африка» семнадцатилетний юноша художник, работающий в «Роста», Семен Добычин — основной герой. Так как действие разворачивается в Петрограде зимой 1918 г., то первые главы поэмы посвящены описанию холодного пустого города, окруженного войной, и носят чисто декоративный характер. Я пишу, как Добычин работает, голодает, чувствует приближение сыпного тифа и ночью идет к себе в комнату по пустому оснеженному Невскому и встречает негра, одетого в красноармейскую форму...» Далее идет отрывок от строки: «... скорее домой, но улица туманна...» до строк: «...его полуживого подобрали и сразу же в больницу увезли».

2. «Две недели Добычин лежит в госпитале. Потрясенный такой необычайной встречей, он в бреду не забывает о ней. То ему чудится Африка с ее золотыми песками, по которой идет караван негров, груженых тюками, и все негры одеты точно так же, как встреченный им на Невском, то ему чудится, что он сам негр, одет в бекешу, галифе, сапоги, папаху, вооружен, и за ним гонятся. Его

травят собаками, ловят, все это происходит где-то в Америке, его вешают, линчуют. И выздоравливая, Добычин решает нарисовать незабываемую картину появления воинственного негра на пустом и снежном Невском. Но у него ничего не выходит, он решает найти негра, разузнать все о нем. Он бросает все — работу, любовь. Описанию его любимой девушки и посвящена следующая глава». Далее — отрывок, от строки: «Шестнадцать лет...» до строки: «...и все-таки любимая была».

3. «Добычин уезжает на фронт в агитпоезде. Он ищет своего негра». Далее — заключительная часть поэмы от строки: «Страна летела, дикая, лесная...» до конца.

«Юный пролетарий», 1935, № 4, с. 7, отрывки, под заглавием «Рассказ конноармейца про командира своего полка»; «Юный пролетарий», 1935, № 13, с. 10—11, начало поэмы, под заглавием «Моя Африка».

Полностью — «Новый мир», 1935, № 3, с. 28. Печ. по гранкам «Избранное».

Ромен Роллан в статье «Европейский дух», опубликованной во французской газете «Нувель литерер» и перепечатанной в «Правде» 6 декабря 1935 г., писал: «Когда мы говорим о новом человечестве, которое создается в Советском Союзе, мы ни на минуту не думаем о том, чтобы определить это человечество как европейское. Оно не более европейское, чем азиатское или даже африканское (почему бы нет?). В прекрасной поэме молодого писателя Корнилова «Моя Африка» выведен негр, который борется и умирает во главе отрядов Красной Армии за «нашу Россию», за «нашу Советскую родину». А молодой русский, увлеченный этим примером, тоже стремится бороться и умереть за «свою Африку», за «нашу Африку»... Вот такой полный отказ от национальных предрассудков, унижающих великие человеческие расы, характерен для нового человека. Нелепому расизму узколобого унтер-офицера Гитлера новый человек противопоставляет свой всемирный гуманизм... без различия рас, без различия классов противопоставляет трудящихся всего мира». Эпиграф — строка из 1-й главы романа Пушкина «Евгений Онегин». *Зимний* — дворец в Ленинграде, бывшая царская резиденция. *Пулков* (правильно: Пулковое) — астрономическая обсерватория под Ленинградом. *Гвоздильный, Балтийский, Айваз, Путиловский, Трубочный, Парвайнен* — названия петроградских заводов. *Шкуро* — командовал конным корпусом в денкинской армии, известен своей исключительной жестокостью и грабежами. *Краснов* — генерал царской армии, в октябре 1917 г. наступал на Петроград, был разбит у Пулкова, бежал на Дон, где область Войска Донского объявил «независимым» от России государством; был разгромлен Красной Армией. *Хлысты* — религиозная секта, возникшая в России в середине XVII в. *Лассо* — петля, приспособление для поимки животных. «*Хижина дяди Тома*» — роман американской писательницы Бичер-Стоу (1811—1896). *Улагай* — белогвардейский генерал.

148. «Новый мир», 1935, № 12, с. 106. *Троицкий мост* — через Неву в Ленинграде (ныне — Кировский мост). *Площадь Жертв Революции*. После Великой Отечественной войны восстановлено

прежнее название — Марсово поле. *Гоголь про меня писал* и т. д. Имеется в виду, вероятно, «Вечер накануне Ивана Купала» Н. В. Гоголя. *Иванова ночь* — Иван Купало, древний земледельческий праздник, отмечавшийся летом. *Даже в Дантовом аду* и т. д. Данте Алигьери (1265—1321) — великий итальянский поэт, автор «Божественной комедии», состоящей из трех частей — «Ад», «Чистилище», «Рай». *Николаев* — человек, стрелявший в Кирова. *Через час заседание* — партийный актив. Киров должен был 1 декабря 1934 г. выступить на партийном активе Ленинграда, в Таврическом дворце. По коридору Смольного он шел в свой кабинет и был убит выстрелом в затылок. *До чертиков хочется жить* — перефразированные слова С. М. Кирова из его речи, произнесенной на XVII съезде ВКП(б) 31 января 1934 г. Киров говорил: «Черт его знает, если по-человечески сказать, так хочется жить и жить».

149. «Литературный Ленинград», 1935, 7 ноября, главы 2-я (со строки: «Живет на свете лиходеи...»), 3-я и 4-я. Полностью — «Юный пролетарий», № 21, с. 54. Печ. по журналу «Новый мир», 1936, № 1, с. 44. Последняя страница рукописи с авторской датой хранится в собрании М. П. Берновича.

150. «Смена», 1936, 30 июня. Печ. по журналу «Новый мир», 1936, № 7, с. 140.

НЕОКОНЧЕННОЕ

151. Печ. по рукописи, хранящейся у К. И. Поздняева.

152. Печ. по рукописи.

153. «Литературная Россия», 1964, № 48, с. 11.

154. Печ. по рукописи.

155. «День поэзии», 1965, с. 279.

156. Печ. по рукописи.

157. «Литературная Россия», 1964, № 48, с. 10.

158. «Литературная Россия», 1964, № 48, с. 10.

159. «Литературная Россия», 1964, № 48, с. 10.

160. Г. Цурикова. «Борис Корнилов», Л., 1963, с. 244.

161. «Литературная Россия», 1964, № 48, с. 10.

162. Печ. по рукописи.

163. «Литературная Россия», 1964, № 48, с. 11.

164. «Поэтический год, 1962», Горький, 1962, с. 114.

165. «Волга», 1966, № 1, с. 182.

166. «Смена», 1936, 24 сентября,

СТИХОТВОРЕНИЯ, НЕ ВОШЕДШИЕ В КНИГУ

1. На моря! — газета «Молодая рать», Нижний Новгород, 1925, 28 апреля, под псевдонимом Борис Вербин.
2. Года — «Молодая рать», 1925, 15 мая, под псевдонимом Борис Вербин.
3. Пастух — «Молодая рать», 1925, 29 мая, под псевдонимом Борис Вербин.
4. Строй! — «Молодая рать», 1925, 20 октября, подписано: Б. Корнилов (Вербин).
5. Семь — «Молодая рать», 1925, 30 октября, подписано: Б. Корнилов (Вербин).
6. Изба-читальня — «Молодая рать», 1925, 3 ноября, подписано: Б. Корнилов (Вербин).
7. Ржаной комсомолец — «Молодая рать», 1925, 27 ноября. С этого стихотворения автор отказался от псевдонима, все дальнейшие публикации подписаны: Борис Корнилов.
8. Радость — «Молодая рать», 1925, 15 декабря.
9. «Весь мир гудит, как море вспенен...» — журнал «Рабочекрестьянское творчество», Нижний Новгород, 1926, № 1.
10. В ночах — «Молодая рать», 1926, 5 февраля.
11. Вечер — «Смена», 1926, 14 февраля.
12. Дни раздумья — «Смена», 1926, 14 марта.
13. Не сберег — «Смена», 1926, 9 мая.
14. Штаны и сердце — «Юный пролетарий», 1926, № 5; журнал «Резец», 1927, № 12.
15. Старуха заплачет... — «Резец», 1927, № 29; сб. «Молодость», под заглавием «Мой ответ».
16. Два солнца — «Юный пролетарий», 1926, № 6.
17. Гармонь («Кто сказал, что старое...») — «Юный пролетарий», 1926, № 11.
18. «Разве нам в тишине заплесневет...» — «Юный пролетарий», 1926, № 14.
19. «Где полыхающее зарево...» — «Молодая рать», 1926, 1 октября; «Резец», 1927, № 12, под заглавием «Гармонь».
20. Старые письма — «Смена», 1927, 1 мая.
21. Памятник Ленину — «Красная панорама», 1928, № 3.

22. Май 1905 — Однодневная литературная газета, Ленинград, 1928, 5 мая.
23. Песенка — «Красная панорама», 1928, № 25.
24. Маникюрша — «Смена», 1928, 26 августа.
25. Конец войны («Вот и мы отшуруем угли...») — «Резец», 1929, № 8.
26. Глубокий рейд — «Первая книга».
27. За овладение техникой — «Первая книга».
28. Пионеры — сб. «Все мои приятели».
29. Франция — сб. «Все мои приятели».
30. Летчики — «Ленинград», 1931, № 8; «Первая книга».
31. Молодежная — «Юный пролетарий», 1931, № 15-16.
32. «Шагай пятилетки ударной бригадой...» — «Смена», 1932, 20 июня.
33. «Над нами наши песни...» — «Смена», 1932, 4 сентября.
34. Пограничная — «Юный пролетарий», 1932, № 26.
35. Памятник — «Юный пролетарий», 1933, № 2.
36. Центральному комитету Ленинского комсомола — «Смена», 1933, 29 октября.
37. Соревнование — «Смена», 1934, 29 апреля.
38. «Соленая тяжелая вода...» — там же.
39. Наши знамена — «Смена», 1935, 1 сентября.
40. Разговор на маневрах — сб. «Новое», 1935.
41. «Стрелка голубая, часовая...» — «Поэтический год, 1962».
42. Соколы — «Смена», 1936, 11 августа; то же — «Юный пролетарий», 1936, № 14.
43. Песня о шахтерской слободке — «Юный пролетарий», 1936, № 7-8; то же — «Новый мир», 1936, № 5-6.
44. Боевой конь — «Красная Звезда», 1936, 12 июля; то же — «Костер», 1965, № 7.
45. Наши крылья — «Смена», 1936, 18 августа.
46. Земля наша — «Известия», 1934, 1 сентября.
47. Матч — «Смена», 1936, 4 июля.
48. От Байкала до Дуная — «Смена», 1936, 24 октября.
49. Комсомолу — «Молодая гвардия», 1936, № 2.
50. Кирову — «Литературный современник», 1936, № 12.

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ПРОИЗВЕДЕНИЙ

- «А поезд качается дальше и дальше...» (Вагонный быт) 111
«А склон у горы...» (Красная Поляна) 259
«Айда, голубарь...» 64
Алеко («Пожалуй, неплохо...») 300
Англия («Бить наотмашь...») 115
Апшеронский полуостров (1—9) 108
- «Багрового солнца над нами шары...» (Пулеметчики) 118
Баку («Ты стоишь земли любимым сыном...») 111
Баллада об оккупанте Билл Окинсе («Где шатается Билл Окинс?...») 114
«Без тоски, без грусти, без оглядки...» 198
«Бессарабия, родина, мама...» (Котовский) 274
«Бить наотмашь...» (Англия) 115
«Большая весна наступает с полей...» 157
- В нашей волости («По ночам в нашей волости тихо...») 60
«В Нижнем Новгороде с откоса...» 195
В селе Михайловском («Зима огромна...») 296
Вагонный быт («А поезд качается дальше и дальше...») 111
«Вас когда-нибудь убаюкивали, мурлыкая?...» (Как от меда у медведя зубы начали болеть) 229
«Верно, пять часов утра...» (Разговор) 290
Весенние тезисы («И капель и оттепель...») 129
«Ветер загремел...» (Отплытие) 117
«Ветер ходит по соломе...» (Ночные рассуждения) 286
Вечер («Гуси-лебеди пролетели...») 223
Военная песня («Как на ворога, на гада...») 101
Воззвание («Ты пришла ко мне, как мама...») 487
Война («Я снова тебя беспокою, жена...») 100
«Ворча, машина вышла из ангара...» (Парашютист) 499
«Вот глаза закроешь...» (Командарм) 239
«Вот послушай меня, отцовская...» (Музей войны) 82
«Вот сумрак сер...» (Однажды ночью) 97
Вошь («Вошь ползет на потных лапах...») 171
«Всё уйдет...» 492
«Всё цело...» (Из летних стихов) 202
Вступление («Я думал, что чашки бараньего жира...») 108

- «Вы меня теперь не трогте...» 492
«Выпьем водки...» 490
«Выхожу на улицу...» (Рассказ моего товарища) 121
- «Где шатается Билл Окинс?...» (Баллада об оккупанте Билл Окинсе) 114
Глаза («День исчезает, догорев...») 81
Гроза («Пушистою пылью набитые бронхи...») 163
«Грудь слезами выпачкав...» (Ожидание) 66
«Гуси-лебеди пролетели...» (Вечер) 223
- «Два с половиной пополудни...» (Последняя дорога) 292
Девушке заставы («Не про такое разве...») 53
Дед («Что же в нем такого...») 104
«День исчезает, догорев...» (Глаза) 81
«Деревья кое-где еще стояли в ризах...» (Осень) 176
«Деревья, кустарника пропасть...» (Лес) 93
Дети («Припоминаю лес, кустарник...») 277
Дифирамб («Солнце, желтое словно дыня...») 173
«Дни-мальчишки...» (Лошадь) 48
«До дому ли, в бой ли...» (Сказание о двух товарищах) 145
«До земли опуская длани...» 103
«Довольно. Гремучие сосны летят...» (Начало зимы) 92
Дорога («Я в жизни не видывал таких круч...») 256
«Дымное, пылающее лето...» (Пушкин в Кишиневе) 302
- Елка («Рябины пламенные грозди...») 234
- «Жить по-старому Русь моя кончила...» (Тройка) 51
- «За кормюю вода густая...» (Качка на Каспийском море) 106
«За садовой глухой оградой...» (Чиж) 281
«Засыпает молча ива...» 61
«Зима огромна...» (В селе Михайловском) 296
«Зима пришла большая, завывая...» (Моя Африка) 420
«Знакомые дни отцвели...» (Ночь комбата) 65
«Знакомят молодых и незнакомых...» 216
Зоосад («Я его не из-за того ли...») 284
- «И воля, и волны...» (Корабли) 57
«И капёль и оттепель...» (Весенние тезисы) 129
Из автобиографии («Мне не выдумать вот такого...») 250
«Из Баку уезжая...» (Резюме) 116
Из летних стихов («Всё цвело...») 202
Из поэмы «Агент уголовного розыска» («Полуночь — мелькнувшая бросово...») 360
Изгнание («Чего еще? Плохая шутка...») 271
«Интересно говорить стихами...» 494
Интернациональная («Ребята, на ходу — как мы были в плену...») 168
«Искатель правды, наклонись над этой...» (Тезисы романа) 344
Испания («Я иду, меня послали...») 279
«Июлю месяцу не впервой...» (Лесной пожар) 95

«Как же так? ..» 494
 «Как змеи ползут приводные ремни...» (Старик) 193
 «Как значенье, вызов и победа...» (Физкульт-ура!) 154
 «Как лед, спрессован снег санями...» (Конобой) 86
 «Как медная туча, шипя и сгорая...» (Чаепитие) 98
 «Как на ворога, на гада...» (Военная песня) 101
 Как от меда у медведя зубы начали болеть («Вас когда-нибудь убаю-
 кивали, мурлыкая? ..») 229
 «Каурые, замызганные кони...» 489
 Качка на Каспийском море («За кормою вода густая...») 106
 Кирову («Ни шороха и ни стука...») 241
 Книга («Ползали сумерки у колен...») 55
 Командарм («Вот глаза закроешь...») 239
 Комсомольская краснофлотская («Ночь идет, ребята...») 170
 «Конец предисловью...» (Царица Тамара) 109
 Конобой («Как лед, спрессован снег санями...») 86
 Корабли («И воля, и волны...») 57
 Котовский («Бессарабия, родина, мама...») 274
 Красная Поляна («А склон у горы...») 259

Ленинградские стихи (1—5) 242
 Лес («Деревья, кустарника пропасть...») 93
 «Лес над нами огромным навесом...» 201
 Лесной дом («От резных ворот...») 63
 Лесной пожар («Июлю месяцу не впервой...») 95
 Лирические строки («Моя девчонка верная...») 70
 «Локти в стороны, боком, натужась...» (Письмо на тот свет) 133
 Лошадь («Дни-мальчишки...») 48
 «Луговина, овраг да горка...» (Ратник Иван Иванов) 206
 «Луны сиянье белое...» (Одиночество) 224
 Люся («Отходит поезд...») 495

Мама («Ну, одену я — одёжу...») 248
 «Медвежья дорога — поганая гать...» (Русалка) 90
 Мечта («Набитый тьмою, притаился омут...») 219
 «Мне дорожка в молодость...» (Открытое письмо моим приятелям)
 142
 «Мне не выдумать вот такого...» (Из автобиографии) 250
 «Мне про старое не говори...» (Окно в Европу) 49
 «Может быть, а может быть — не может...» (Смерть) 127
 «Мой герой поэмы этой, здравствуй!...» (Самсон) 474
 Молодой день («Потемневшей, студеной водою...») 287
 Моя Африка («Зима пришла большая, завывая...») 420
 «Моя девчонка верная...» (Лирические строки) 70
 Музей войны («Вот послушай меня, отцовская...») 82
 Музыка («Она ходила Волгою...») 73
 «Мы Громобая не порочим...» (Сказание о сыне товарища Громо-
 боя) 209
 «Мы идем...» (На Керженце) 70
 «Мы, маленькие, все-таки сумели...» 264
 «Мы с тобою в кино «Аврора»...» (Ленинградские стихи, 2) 243
 «Мы хлеб солили крупной солью...» 191

- На Керженце («Мы идем...») 70
 «На краю села большого...» (Прощание) 227
 «На ниве Украины...» 488
 «На покосе...» (Туес) 268
 «На санных путях...» (Последнее письмо) 76
 «Набитый тьмою, притаился омут...» (Мечта) 219
 «Нас утро встречает прохладой...» (Песня о встречном) 166
 Начало земли («Я часто думаю...») 466
 Начало зимы («Довольно. Гремучие сосны летят...») 92
 «Не лирике больше звенеть...» (Обвиняемый) 71
 «Не про такое разве...» (Девушке заставы) 53
 «Не стоит десятки годов спустя...» (Цыганки) 78
 «Ни шороха и ни стука...» (Кирову) 241
 Новый, 1933 год («Полночь молодая, посветуй...») 161
 Ночные рассуждения («Ветер ходит по соломе...») 286
 «Ночь идет, ребята...» (Комсомольская краснофлотская) 170
 Ночь комбата («Знакомые дни отцвели...») 65
 «Ночь, покрытая ярким лаком...» (Семейный совет) 181
 «Ночью с первого на второе...» (Ленинградские стихи, 4) 245
 «Ну, одену я — одёжу...» (Мама) 248
- «Об этой печали, о стареньком...» (Хозяин) 85
 Обвиняемый («Не лирике больше звенеть...») 71
 Одиночество («Луны сиянье белое...») 224
 Однажды ночью («Вот сумрак сер...») 97
 Ожидание («Грудь слезами выпачкав...») 66
 Оккупация Баку («Правительство временное...») 113
 Окно в Европу («Мне про старое не говори...») 49
 Октябрьская («Поднимайся в поднебесье, слава...») 150
 Оляха («Очень я люблю...») 62
 «Он дышит, камень, и звенит...» 493
 Она в Энском уезде («Пышные дни — повинная в этом...») 179
 «Она ходила Волгою...» (Музыка) 73
 «Опять земля открыта песням нашим...» (Поколение Октября) 260
 Осень («Деревья кое-где еще стояли в ризах...») 176
 «От ногтя до локтя длиною...» (Убийца) 184
 «От резных ворот...» (Лесной дом) 63
 Открытые лета («Часу в седьмом утра, зевая...») 217
 Открытое письмо моим приятелям («Мне дорожка в молодость...») 142
 Отплытие («Ветер загремел...») 117
 «Отходит поезд...» (Люся) 495
 Охота («Я, сказавший своими словами...») 192
 «Охотник, поэт, рыбовод...» (Эдуарду Багрицкому) 211
 «Очень я люблю...» (Оляха) 62
- Память («По улице Перовской...») 266
 Парашютист («Ворча, машина вышла из ангара...») 499
 Песня о встречном («Нас утро встречает прохладой...») 166
 Пирушка («Сегодня ты сызнова в Царском...») 294
 Письмо на тот свет («Локти в стороны, боком, натужась...») 133
 «По ночам в нашей волости тихо...» (В нашей волости) 60

- «По улице Перовской...» (Память) 266
«Под елью изнуренной и громоздкой...» 200
«Под равнодушный шепот...» 54
«Под утро подморозило немного...» 247
«Поднимайся в поднебесье, слава...» (Октябрьская) 150
Подруга («Я и вправо и влево кинусь...») 130
«Пожалуй, неплохо...» (Алеко) 300
Поколение Октября («Опять земля открыта песням нашим...») 260
«Покоя и скромности ради...» (Провинциалка) 79
«Ползали сумерки у колен...» (Книга) 55
«Полночь молодая, посоветуй...» (Новый, 1933 год) 161
«Полуночь — мелькнувшая бросово...» (Из поэмы «Агент уголовного розыска») 360
Последнее письмо («На санных путях...») 76
Последний день Кирова («Скоро девять, пожалуй...») 452
Последняя дорога («Два с половиной пополудни...») 292
«Потемневшей, студеной водою...» (Молодой день) 287
«Похваляясь любовью недолгой...» 89
«Правительство временное...» (Оккупация Баку) 113
Прадед («Сосны падают с бухты-барухты...») 237
«Припоминаю лес, кустарник...» (Дети) 277
«Про того Громобоя напасти...» (Сказание о герое гражданской войны товарище Громобое) 208
Провинциалка («Покоя и скромности ради...») 79
Продолжение жизни («Я нюхал казарму, я знаю устав...») 152
Прощание («На краю села большого...») 227
Пулеметчики («Багрового солнца над нами шары...») 118
«Пусть по земле летит гроза оваций...» (Спасение) 204
Путешествие в Эрзерум («Это в дым...») 298
Путь корабля («Хорошо запеть, влюбиться...») 270
«Пушистую пылью набитые бронхи...» (Гроза) 163
Пушкин в Кишиневе («Дымное, пылающее лето...») 302
«Пышные дни — повинная в этом...» (Она в Энском уезде) 179
«Пятый час...» (Триполье) 374
Пятьдесят поросят («Шли по улице в ряд...») 490
- Разговор («Верно, пять часов утра...») 290
Разговор с татарским поэтом («Ты не русский — тем не менее...») 235
Рассказ конноармейца («Смешная эта фабула...») 148
Рассказ моего товарища («Выхожу на улицу...») 121
Ратник Иван Иванов («Луговина, овраг да горка...») 206
«Ребята, на ходу — как мы были в плену...» (Интернациональная) 168
Резюме («Из Баку уезжая...») 116
Русалка («Медвежья дорога — поганая гать...») 90
«Рябины пламенные грозди...» (Елка) 234
- «С печалью глубокой...» (Скала «Пронеси, господи») 257
Самсон («Мой герой поэмы этой, здравствуй!...») 474
«Сегодня ты сызнова в Царском...» (Пирушка) 294
Семейный совет («Ночь, покрытая ярким лаком...») 181

- «Скажи, умиляясь, про них...» (Старина) 68
 Сказание о герое гражданской войны товарище Громобое («Про того Громобоя напасти...») 208
 Сказание о двух товарищах («До дому ли, в бой ли...») 145
 Сказание о сыне товарища Громобоя («Мы Громобоя не порочим...») 209
 Скала «Пронеси, господи» («С печалью глубокой...») 257
 «Скоро девять, пожалуй...» (Последний день Кирова) 452
 Слово по докладу Висс. Саянова о поэзии... («Теперь по докладу Саянова...») 137
 Смерть («Может быть, а может быть — не может...») 127
 «Смешная эта фабула...» (Рассказ конноармейца) 148
 «Снова звезды пылают и кружатся...» 125
 «Снова сговором ветра и стужи...» (Ленинградские стихи, 1) 242
 Со съезда писателей («Это рушится песен лава...») 221
 Собака («Я крадусь...») 265
 «Солнце, желтое словно дыня...» (Дифирамб) 173
 Соловья («У меня к тебе дела такого рода...») 214
 Соль (*Драматическая поэма*) 313
 «Сосны падают с бухты-барахты...» (Прадед) 237
 Спасение («Пусть по земле летит гроза оваций...») 204
 «Спичка отгорела и погасла...» 253
 Старик («Как змеи ползут приводные ремни...») 193
 Старина («Скажи, умиляясь, про них...») 68
 «Сто сорок человек...» 490
 Сын («Только голос вечером услышал...») 255
 Сыновья своего отца («Три желтых потертых собачьих клыка...») 159
 «Так хорошо и просто...» 50
 Тезисы романа («Искатель правды, наклонись над этой...») 344
 «Теперь по докладу Саянова...» (Слово по докладу Висс. Саянова о поэзии...) 137
 Терем («У девушки маленькая рука...») 52
 «Только голос вечером услышал...» (Сын) 255
 «Тосковать о прожитом излишне...» 158
 «Три желтых, потертых собачьих клыка...» (Сыновья своего отца) 159
 Триполье («Пятый час...») 374
 Тройка («Жить по-старому Русь моя кончила...») 51
 Туес («На покосе...») 268
 «Ты запомни, друг мой ситный...» (Фронтовики) 189
 «Ты как рыба выплываешь с этого...» 135
 «Ты не русский — тем не менее...» (Разговор с татарским поэтом) 235
 «Ты пришла ко мне, как мама...» (Воззвание) 487
 «Ты стоишь земли любимым сыном...» (Баку) 111
 «Ты шла ко мне пушистая, как вата...» 175
 «У девушки маленькая рука...» (Терем) 52
 У меня была невеста 254
 «У меня к тебе дела такого рода...» (Соловья) 214
 «У моей, у милой, у прелестной...» 491

- Убийца («От ногтя до локтя длиною...») 184
«Усталость тихая, вечерняя...» 47
- Физкульт-ура! («Как значенье, вызов и победа...») 154
Фронтовики («Ты запомни, друг мой ситный...») 189
- «Хлынул свет, темноту пугая...» (Ленинградские стихи, 3) 244
«Хмель в голову пошел, вьясь...» 491
Хозяин («Об этой печали, о стареньком...») 85
«Хорошо запеть, влюбиться...» (Путь корабля) 270
- Царица Тамара («Конец предисловью...») 109
Цыганки («Не стоит десятки годов спустя...») 78
- Чаепитие («Как медная туча, шипя и сгорая...») 98
«Часу в седьмом утра, зевая...» (Открытие лета) 217
«Чего еще? Плохая шутка...» (Изгнание) 271
Чиж («За садовой глухой оградой...») 281
«Что же в нем такого...» (Дед) 104
- «Шли по улице в ряд...» (Пятьдесят поросят) 490
- Эдуарду Багрицкому («Охотник, поэт, рыбовод...») 211
«Это в дым...» (Путешествие в Эрзерум) 298
«Это горести изобилие...» (Ленинградские стихи, 5) 246
«Это рушится песен лава...» (Со съезда писателей) 221
- «Я в жизни не видывал этаких круч...» (Дорога) 256
«Я думал, что чашки бараньего жиру...» (Вступление) 108
«Я его не из-за того ли...» (Зоосад) 284
«Я замолчу, в любви разуверюсь...» 190
«Я и вправо и влево кинусь...» (Подруга) 130
«Я иду, меня послали...» (Испания) 279
«Я из ряда вон выходящих...» (Ящик моего письменного стола) 197
«Я крадусь...» (Собака) 265
«Я нюхал казарму, я знаю устав...» (Продолжение жизни) 152
«Я приличий не нарушу...» 489
«Я, сказавший своими словами...» (Охота) 192
«Я снова тебя беспокою, жена...» (Война) 100
«Я часто думаю...» (Начало земли) 466
«Яхта шла молодая, косая...» 252
Ящик моего письменного стола («Я из ряда вон выходящих...») 197

К ИЛЛЮСТРАЦИЯМ

1. *Фронтиспис.* Б. Корнилов. Фотография 1928 года.
2. *Между стр. 32 и 33.* Корнилов — ученик Семеновской школы.
3. *На обороте.* Б. Корнилов. Фотография 1925 года.
4. *Между стр. 64 и 65.* Б. Корнилов. Фотография 1929 года.
5. *На обороте.* Б. Корнилов в кругу семьи. Конец двадцатых годов.
6. *Стр. 185.* Борис Корнилов — шарж Н. Радлова.
7. *Между стр. 224 и 225.* Б. Корнилов. Фотография начала 30-х годов.
8. *Между стр. 256 и 257.* Б. Корнилов. Фотография 1935 года.
9. *Стр. 347.* Борис Корнилов — шарж Б. Малаховского.
10. *Стр. 451.* «Моя Африка». Последняя страница рукописи.

СОДЕРЖАНИЕ

Борис Корнилов. *Вступительная статья Л. Аннинского* 5

СТИХОТВОРЕНИЯ

| | |
|--|-----|
| 1. «Усталость тихая, вечерняя...» | 47 |
| 2. Лошадь | 48 |
| 3. Окно в Европу | 49 |
| 4. «Так хорошо и просто...» | 50 |
| 5. Тройка | 51 |
| 6. Терем | 52 |
| 7. Девушке заставы | 53 |
| 8. «Под равнодушный шепот...» | 54 |
| 9. Книга | 55 |
| 10. Корабли | 57 |
| 11. В нашей волости | 60 |
| 12. «Засыпает молча ива...» | 61 |
| 13. Ольха | 62 |
| 14. Лесной дом | 63 |
| 15. «Айда, голубарь...» | 64 |
| 16. Ночь комбата | 65 |
| 17. Ожидание | 66 |
| 18. Старина | 68 |
| 19. На Керженце | 70 |
| 20. Лирические строки | 70 |
| 21. Обвиняемый | 71 |
| 22. Музыка | 73 |
| 23. Последнее письмо | 76 |
| 24. Цыганки | 78 |
| 25. Провинциалка | 79 |
| 26. Глаза | 81 |
| 27. Музей войны | 82 |
| 28. Хозяин | 85 |
| 29. Конобой | 86 |
| 30. «Похваляясь любовью недолгой...» | 89 |
| 31. Русалка | 90 |
| 32. Начало зимы | 92 |
| 33. Лес | 93 |
| 34. Лесной пожар | 95 |
| 35. Однажды ночью | 97 |
| 36. Чаепитие | 98 |
| 37. Война | 100 |
| 38. Военная песня | 101 |
| 39. «До земли опуская длани...» | 103 |
| 40. Дед | 104 |
| 41. Качка на Каспийском море | 106 |
| 42—50. Апшеронский полуостров (<i>Путевые стихи</i>) | |
| 1. Вступление | 108 |
| 2. Царица Тамара | 109 |
| 3. Вагонный быт | 111 |

| | |
|--|-----|
| 4. Баку | 111 |
| 5. Оккупация Баку | 113 |
| 6. Баллада об оккупанте Билл Окинсе | 114 |
| 7. Англия | 115 |
| 8. Резюме | 116 |
| 9. Отплытие | 117 |
| 51. Пулеметчики | 118 |
| 52. Рассказ моего товарища | 121 |
| 53. «Снова звезды пылают и кружатся...» | 125 |
| 54. Смерть | 127 |
| 55. Весенние тезисы | 129 |
| 56. Подруга | 130 |
| 57. Письмо на тот свет | 133 |
| 58. «Ты как рыба выплываешь с этого...» | 135 |
| 59. Слово по докладу Висс. Саянова о поэзии... | 137 |
| 60. Открытое письмо моим приятелям | 142 |
| 61. Сказание о двух товарищах | 145 |
| 62. Рассказ конноармейца | 148 |
| 63. Октябрьская | 150 |
| 64. Продолжение жизни | 152 |
| 65. Физкульт-ура! | 154 |
| 66. «Большая весна наступает с полей...» | 157 |
| 67. «Тосковать о прожитом излишне...» | 158 |
| 68. Сыновья своего отца | 159 |
| 69. Новый, 1933 год | 161 |
| 70. Гроза | 163 |
| 71. Песня о встречном | 166 |
| 72. Интернациональная | 168 |
| 73. Комсомольская краснофлотская | 170 |
| 74. Вошь | 171 |
| 75. Дифирамб | 173 |
| 76. «Ты шла ко мне пушистая, как вата...» | 175 |
| 77. Осень | 176 |
| 78. Она в Энском уезде | 179 |
| 79. Семейный совет | 181 |
| 80. Убийца | 184 |
| 81. Фронтовики | 189 |
| 82. «Я замолчу, в любви разуверюсь...» | 190 |
| 83. «Мы хлеб солили крупной солью...» | 191 |
| 84. Охота | 192 |
| 85. Старик | 193 |
| 86. «В Нижнем Новгороде с откоса...» | 195 |
| 87. Ящик моего письменного стола | 197 |
| 88. «Без тоски, без грусти, без оглядки...» | 198 |
| 89. «Под елью изнуренной и громоздкой...» | 200 |
| 90. «Лес над нами огромным навесом...» | 201 |
| 91. Из летних стихов | 202 |
| 92. Спасение | 204 |
| 93. Ратник Иван Иванов | 206 |
| 94. Сказание о герое гражданской войны товарище Громобое | 208 |
| 95. Сказание о сыне товарища Громобоя | 209 |
| 96. Эдуарду Багрицкому | 211 |

| | |
|---|-----|
| 97. Соловьяха | 214 |
| 98. «Знакомят молодых и незнакомых...» | 216 |
| 99. Открытие лета | 217 |
| 100. Мечта | 219 |
| 101. Со съезда писателей | 221 |
| 102. Вечер | 223 |
| 103. Одиночество | 224 |
| 104. Прощание | 227 |
| 105. Как от меда у медведя зубы начали болеть | 229 |
| 106. Елка | 234 |
| 107. Разговор с татарским поэтом | 235 |
| 108. Прадед | 237 |
| 109. Командарм | 239 |
| 110. Кирову | 241 |
| 111. Ленинградские стихи | |
| 1. «Снова сговором ветра и стужи...» | 242 |
| 2. «Мы с тобою в кино „Аврора“...» | 243 |
| 3. «Хлынул свет, темноту пугая...» | 244 |
| 4. «Ночью с первого на второе...» | 245 |
| 5. «Это горести изобилие...» | 246 |
| 112. «Под утро подморозило немного...» | 247 |
| 113. Мама | 248 |
| 114. Из автобиографии | 250 |
| 115. «Яхта шла молодая, косая...» | 252 |
| 116. «Спичка отгорела и погасла...» | 253 |
| 117. У меня была невеста | 254 |
| 118. Сын | 255 |
| 119. Дорога | 256 |
| 120. Скала «Пронеси, господи» | 257 |
| 121. Красная Поляна | 259 |
| 122. Поколение Октября | 260 |
| 123. «Мы, маленькие, все-таки сумели...» | 264 |
| 124. Собака | 265 |
| 125. Память | 266 |
| 126. Туес | 268 |
| 127. Путь корабля | 270 |
| 128. Изгнание (1930) | 271 |
| 129. Котовский (Из поэмы) | 274 |
| 130. Дети | 277 |
| 131. Испания | 279 |
| 132. Чиж | 281 |
| 133. Зоосад | 284 |
| 134. Ночные рассуждения | 286 |
| 135. Молодой день | 287 |
| 136. Разговор | 290 |
| 137. Последняя дорога | 292 |
| 138. Пирושка | 294 |
| 139. В селе Михайловском | 296 |
| 140. Путешествие в Эрзерум | 298 |
| 141. Алеко | 300 |
| 142. Пушкин в Кишиневе | 302 |

ПОЭМЫ

| | |
|--|-----|
| 143. Соль | 313 |
| 144. Тезисы романа | 344 |
| 145. Из поэмы «Агент уголовного розыска» | 360 |
| 146. Триполье | 374 |
| 147. Моя Африка | 420 |
| 148. Последний день Кирова | 452 |
| 149. Начало земли | 466 |
| 150. Самсон | 474 |

НЕОКОНЧЕННОЕ

| | |
|--|-----|
| 151. Воззвание | 487 |
| 152. «На ниве Украины...» | 488 |
| 153. «Кауры, замызганные кони...» | 489 |
| 154. «Я приличий не нарушу...» | 489 |
| 155. Пятьдесят поросят | 490 |
| 156. «Сто сорок человек...» | 490 |
| 157. «Выпьем водки...» | 490 |
| 158. «Хмель в голову пошел, виась...» | 491 |
| 159. «У моей, у милой, у прелестной...» | 491 |
| 160. «Вы меня теперь не трогте...» | 492 |
| 161. «Всё уйдет...» | 492 |
| 162. «Он дышит, камень, и звенит...» | 493 |
| 163. «Интересно говорить стихами...» | 494 |
| 164. «Как же так?...» | 494 |
| 165. Люся | 495 |
| 166. Парашютист (<i>Отрывок из поэмы «Люся»</i>) | 499 |

В а р и а н т ы 503

П р и м е ч а н и я 513

Стихотворения, не вошедшие в книгу 531

Алфавитный указатель произведений 533

К иллюстрациям 540

Корнилов Борис Петрович

СТИХОТВОРЕНИЯ И ПОЭМЫ

Л. О. изд-ва «Советский писатель», 1966, 544 стр. Тем. план вып. 1966 № 412.

Редактор *Г. М. Цурикова*

Художник *И. С. Серов*. Худож. редактор *А. Ф. Третьякова*
Техн. редактор *В. Г. Комм*. Корректор *Ф. Н. Аврунина*

Сдано в набор 23/VI 1966 г. Подписано в печать 23/VIII 1966 г. М 51045.
Вумага 84×108^{1/32}, № 2. Печ. л. 17+5 вкл. (29,08). Уч. изд. л. 28,09. Тираж
40 000 экз. Зак. № 1004. Цена 1 р. 62 к.

Издательство «Советский писатель». Ленинградское отделение.
Ленинград, Невский пр., 28

Ленинградская типография № 5 Главполиграфпрома Комитета по печати
при Совете Министров СССР. Красная ул., 1/3